

Наталья Барабаш

Фантазия против реальности
эссе, длиною в жизнь

Рассказы

Фантасмагория
повесть

Москва
2010
АКАДЕМИКА

УДК 882
ББК 84(2Рос—Рус)6-5
Б24

Дизайн обложки автора

ФАНТАЗИЯ
ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ
эссе, длиною в жизнь

ISBN 978-5-4225-0023-9

© Н.А. Барабаш, 2010

ИГРА КАК КОРОТКИЙ ПУТЬ К ФАНТАЗИИ

Вымысел и реальность. Жизнь и смерть. Все чаще думаю о ней. О смерти как таковой, в ее философском первоначальном значении. Она что: фантазия, вымысел или знание? Несомненно одно: есть некое представление о ней, превращение живого существа в неживое; уход, который совершается на наших глазах и с которым мы почти всегда ничего не можем поделать. Мы доподлинно знаем, что наступил конец чьей-то жизни, и боимся, и отодвигаем мысли о подобном же для себя. Однако понимание неизбежности конца избавляет от ненужных иллюзий. С одной стороны, мы знаем, что смертны, с другой — нам неизвестны сроки, когда и каким образом это случится, что позволяет пребывать в некоторой удаленности от истинного знания и значения смерти.

Мы живы, и это сподвигает нас (вопреки знанию о конечности существования) совершать поступки, надеяться, строить планы, жить, словом, так, будто и не предвидится никакого финала.

Фантазия рисует нам образ или образы, которые, складываясь в определенную картинку, создают ПОЛЕ, где происходят воображаемые вещи. События, ситуации, люди, их общение, слова, интонации. Фантазия опережает воображение, являясь главенствующей в процессе воображаемого и вымышленного.

Все ли люди способны фантазировать? Наверное, да. Только направленность фантазий, их характер являются совершенно разными, что и выдает в конечном счете собственно человека, его натуру. Каким образом это взаимосвязано, как взаимодействует, посредством чего отражается и что выявляет эту обусловленность? Как проявляются фантазии, и каков механизм их реализации?

Скажем, смерть не имеет опыта. Представление о ней строится только по виденному и воображаемому. Однако ничто так не занимает человеческий ум, как жизнь и смерть: поиски смысла жизни и возможность

(пусть и иллюзорная) избежать смерти. Фантазии проистекают не из опыта, а основываются на его отсутствии. Конечно, несколько странно: на отсутствии. И все же. Откуда мы можем знать про то, чего никогда не переживали, не испытывали? Однако боимся многих вещей по причине опять-таки собственных представлений и чьего-то опыта о том, что есть страшное. Фантазия рождается из способности человека наблюдать, собирать эмпирический материал, пестовать эти наблюдения, откладывая в дальний угол памяти и при необходимости извлекать их оттуда, трогая, словно рукой, какую-либо ассоциацию, прикасаясь к тем тайнам, где скрыто хранятся залежи накопленного.

Способность и стремление ассоциировать рождает фантазию, впоследствии способную создать что угодно: произведение искусства, пережить сам процесс творчества; сделать эксперимент, научное открытие и т.д. и т.д. Есть фантазии обыденные, повседневные что ли, не относящиеся к способности человека творить. Именно потому человек живет, созидая или разрушая, стремится к целостности мира, вещей или, напротив, провоцирует хаос, войны, конфликты.

Добро и зло, как жизнь и смерть, накрепко привязаны друг к другу и основываются одно на другом и провоцируют друг друга, словом, не расстаются. Так что же смерть, почему именно она наиболее всего побуждает человека размышлять над ее загадочностью и неотвратимостью? Быть может, в силу того хотя бы, что опыт ее для человека нереален, невозможен. Потому-то она выше всякого опыта и возможности отступить, не сделать ошибки и не попасть в ее сети. Она — наиболее показательный и трагический одновременно пример фантазии человека на эту тему.

Сколько угодно рассуждая о ней, человек не может ступить в нее и выйти, обогащенный страшным опытом. Именно невозможность опыта и невозможность ошибки побуждает сказать об отсутствии связи (прямой, по крайней мере), опыта, который основывался бы исключительно на фантазии. Тема смерти, такая

же главная, как и тема жизни, будит воспоминания, заставляя размышлять и вспоминать. И более всего — о детстве. В котором не было мыслей о смерти, жизнь казалась вечной, и ничто (или почти ничто) не омрачало действительности. Звучала, была ключом жизнь, внося разнообразные ощущения, насыщая память смыслом, образами, звуками.

ОРКЕСТР МОЕЙ ПАМЯТИ

Он звучит во мне, набравшись еще в детстве опыта звуков, любви к ним, которые в течение жизни овладели мной настолько, что и вправду слились в один мощный сильный звук, голос, колебания которого, интонация принадлежала всякий раз разным инструментам, разным источникам.

Иногда это был подлинный рояль у тети Симы, за который она садилась и играла. В комнате, которую он покрывал почти целиком, стояла еще старая скрипучая кровать, какая-то тумбочка, но все эти незначительные вещи были совсем неважными, так утопали они в лилового цвета инструменте. Тетя Сима умела играть, вышивать на самом разном материале и разными хитрыми способами — скатерти, платья, многочисленные салфетки — и снова играть. Где она выучилась этому, неизвестно, потому что работала она регистраторшей в районной поликлинике и была там совсем другая: на всех кричала, отчитывала, наверное, понимая, что самое главное ее место совсем не в регистратуре, а где-то на сцене, и в ее душе звучал, скорей всего, другой голос. Она возвращалась из своей поликлиники и тут же садилась за рояль. И можно было слышать и то, и другое, два разных голоса. Они сливались воедино, и это означало, что тетя Сима такая и есть и что любить ее можно именно такую, большую, красивую и властную — и когда она кричала, и когда трогала своими смуглыми руками инструмент и оттуда неслись звуки.

Этот первый запомнившийся звук, затем объемное внятное звучание было первой кладкой опыта, отло-

жившейся в уголке памяти; оно, это воспоминание, жило во мне, тревожа и волнуя своей загадочностью, чем-то большим и емким; а, может, всего-навсего кусочком, обрывком памяти, сотканном все же из звука, из того, что напоминало большую тетю Симу. Она жила с сыном, которым вряд ли и занималась. Он рос сам по себе, отца у него не было, и он не играл на рояле, но здорово умел считать. Когда наши мамы куда-то уходили, я садилась в их комнате у стола и спрашивала у Алика, что после всех цифр? Он отвечал, что они никогда не кончатся, что счет можно вести бесконечно, но я все же умудрялась переспрашивать, а что после триллиона, биллиона и еще дальше? Он терпеливо рассказывал.

Потом Алик с красным дипломом закончил Бауманское, а тетя Сима умерла. Сейчас я не задаюсь вопросом, как худенький мальчик из Ташкента, переболевший открытой формой туберкулеза, почти брошенный своей мамой, умудрился попасть в Москву и досчитать свой триллион. Не задаюсь. Для меня Алик — звук цифр, который в итоге привел к пониманию бесконечности всего, всей жизни, И, стало быть, звук, означавший Алика, скрестился с убеждением в том, что вселенная будет всегда, жизнь — тоже и смерти не будет точно. О ней просто не думалось. Она была ниже бесконечности, ниже звука Алькиного голоса, она была ни к чему.

Это спустя годы и годы стало осознаться, что именно она и есть бесконечность и что, не будь ее, люди бы ее создали. Примерно как Бога.

Так рояль тети Симы и триллион ее сына привели к одному открытию, отложенному до времени в дальний угол памяти: все есть, было и будет! И смерть ничего не меняет при этом.

Когда я сидела за этим большим столом у себя на даче и смотрела сквозь пламя на свечу (потому что света на всех дачных участках еще не было), писала свои воспоминания про тетю Симу и вообще про жизнь и смерть, послышался страшный грохот. Мне показав-

лось, я знаю, к чему может иметь отношение этот странный звук. Поднялась наверх: и вправду упала картина на втором этаже, которая висела у нас много лет и ничего себе, держалась. А я тут о вечности и бесконечности всего и вся. Так есть они или все это выдумки, фантазии?

Нет теперь явно одного — картины с ташкентскими маками. Вернее, из города Ташкента, под которым растут такие цветы. Нет, так нет. Ее, может, и нет, и повреждена вся, но я-то помню, где была куплена, как принесена домой, как цокнула в трамвае, и я еще тогда испугалась, что она повредится. Помню, как она понравилась маме, как она всплеснула руками и сказала: «Какая прелесть!» Картинка стоила 12 рублей 50 копеек и продавалась в ЦУМе. Тогда мы еще жили в Ташкенте и иногда ездили на маевки, где было полно таких красных маков. Мы их срывали, везли домой, но по дороге они почти всегда успевали завянуть. Однако до сих пор майский звук красных маков помнится и снится. А это был именно звук — так он был схож с тоненьким звуком свирели, ее было почти слышно, когда опадали один за другим алые атласные лепестки. Звучит он, этот звук. Значит, жив. И жива картинка.

А где тот рояль тети Симы и куда он делся после землетрясения 1966 года, я не знаю. Но ведь где-то он есть? Алик, как твой триллион? И что после него?

А рядом с Аликом жили другие соседи, и там была дорогая моя Любочка. Она очень хотела учиться музыке, но пианино все не покупали. Тогда мы склеили много-много больших листов, которые мама частенько приносила с работы, и нарисовали-таки пианино со всеми белыми и черными клавишами и даже с педалями. Оставалось одно: чтобы оно зазвучало И вот тут-то нам не было равных: мы включали свою фантазию, ставили пластинку Шопена, садились около «своего» инструмента и... играли. Мы, правда, слышали, знали, что это наша звучит музыка и играем, правда, мы.

Любочка не стала пианисткой, но навсегда сохрани-

ла любовь к классической музыке. Я — тоже, хотя с годами первые такты Первого концерта Шопена превратились в звук виолончели, только совсем особенный и не трагический, какой обычно бывает у нее.

Па-па-па-па, па-па-па-па-па-па-па, па-па-па-па...

Прошло? Забылось? Осталось?

Есть звук, есть голос виолончели и звучащие нарисованные клавиши.

Из другого запасника памяти слышится совсем другой звук, у которого своя природа. Это кошачьи «мяу» и их производные. Кошки были не просто любовью, они были страстью. Мне казалось, что когда гладишь их по шерстке, то нежность прикосновения напоминает внутреннюю сторону красного мака, такую же бархатистую и сыпучую.

В те далекие 60-е, насмотревшись, а, скорее, наслаившись про загадочного Микки Мауса, все подряд называли своих питомцев именно так, или дарили только часть этого имени. Вот и у нас жил по соседству Маус, а моего звали Микки. Микки ел все подряд, издавая при этом вполне эстетические звуки, похожие на звук гобоя: такой же низкий и отрывистый. Но больше всего Микки любил, когда мама точила нож. Это означало, что ему перепадет кусочек мяса, и он мчался со всех своих рыжих лап на терраску. Где бы он ни был, этот призывный звук становился для него позывным! Мы иногда обманывали его, когда не могли дозваться, и использовали звук ножа, чтобы вернуть кота в дом.

А убегать он был мастер. И ничто не могло сдерживать его вольнолюбивых порывов: он отрывался так, словно сидел взаперти месяцы, и бежал. Куда он устремлялся, зачем — оставалось неясным, но всегда вырuchала точилка: Микки был тут как тут.

Однажды он пропал. Ни звук его имени, ни нож — не помогало ничего. Кто-то сказал, что видел его на урючине, прилепившейся к общественной, в середине двора стоящей, уборной. Почему-то она проросла именно сквозь это заведение.

Действительно, кот был на дереве. Тогда пришла с инструментом мама и стала на манер заклинателя змей сзывать Микку со ствола. Он прислушивался, однако, был упрям и слезать не хотел. Пришлось соседу Вовчику применить свои лазательные способности и стащить кота с урючины.

Надо сказать, что на время всей операции туалетная жизнь во дворе как-то сошла на нет: никто не хотел при свидетелях закрываться на крючок: выжидали.

Кот был доставлен в дом, обласкан и уложен вместе с хозяйкой в белоснежную постель, чего делать прежде не позволялось категорически. Утром мама увидела лежащих поверх белого пододеяльника ручки дочери и лапки Микки и даже не рассердилась, и это было очень странно.

А летом возникало такое огромное содружество звуков, которые превращались в мелодию, то стройно звучащую, то ироническую и рваную. Это было связано с «живой изгородью» — так назывались густые высокие кусты, истинного названия которых я так и не знаю до сих пор и которые растут только в Средней Азии. Они то и ограждали садики, дома живущих во дворе граждан. У каждой такой семьи был свой садик. Не сад, не огород — садик. Заборов никто не строил, как-то не принято было, а вот изгороди было полно. И когда она разрасталась до такой степени, что к калитке было просто не подступиться, все брались за огромные ножницы, которые тоже, наверное, как-то иначе назывались, и принимались ровно стричь кусты. Жих-жих, жих-жих! Нужно было особенное проворство, чтобы достичь одинаковой высоты кустов и еще не надеть выемок по бокам.

Даже запах их, щемящий и терпкий, хранит моя память. И звук ножниц. Ведь выходили сразу несколько соседей, договариваясь еще накануне, что утром начнется стрижка изгороди. Это бывало очень весело. Во-первых, потому, что смеялись, если у кого-то случались проколы по части высоты и ровности; во-вторых...

а во-вторых, было просто весело оттого, что нас много, что проблем нет вовсе, что жизнь только начинается, а, может, и не кончится никогда.

В детстве и, правда, живешь не только ощущениями, какими-то важными делами и заботами, но еще звуками. Они становятся частью жизни, их ожидаешь, к ним привыкаешь, и они уже принадлежат только тебе. Звуки превращаются в такое таинство, которое ведомо и подвластно только тебе. Именно тебе известно о них все, они твои и поняты только тобой.

Конечно, есть, например, салют. Что уж тут не понять! Для всех он — только салют, с огнями, рассыпающимся высоко в небе. Но и в нем есть что-то, что принадлежит исключительно тебе, становясь твоей территорией понимания.

Звуки — это мечты и желания, фантазия и реальность. Сливаясь вместе, они побуждают к одному: наполнять жизнь смыслом. Или обманом. Или тем и другим вместе.

Прелестный звук бетховенских аккордов раздавался каждый вечер за стеной комнаты, в которой я спала. Там играла соседская Таня. Играла хорошо, но как-то больно. Да оно и понятно: вскоре она умерла от опухоли в мозге. Там же поселилась квартирантка, тоже Наташа, как и я. Она училась в консерватории и играла опять Бетховена. Слушать ее, лежа в своей кровати, было удовольствием. Это сейчас мне досаждают многие звуки, в особенности за стеной. Видно, насытилась ими в детстве. А тогда я ждала ночи, когда меня начнут укладывать и я смогу мечтать под знакомую музыку. Тогда, под эту сильную, трагическую мелодию мне казалось, я ничего не боюсь. И не буду бояться ничего никогда. Разве что пауков, которые каждый день можно было встретить в комнате, уж они-то пугали по-настоящему. Да, вот только они доставляли беспокойство, а так — ничего. Ну, совсем!

Детство было замечательное хотя бы потому, что было мало ограничений. Всего, чем переполнен мир

ребенка теперь, в таком избытке, что страшно, как он с таким изобилием справляется. Тогда же все было можно и очень мало нельзя.

Об ограничениях, которые существуют во взрослой жизни, мы узнали случайно от студентки консерватории, очередной квартирантки нашей соседки. Когда мы с Любочкой спросили ее, почему она не выучит наш любимый концерт Шопена, она ответила, что у них по программе его нет. А мы-то думали, что можно играть все, что захочешь. Нет, и взрослая жизнь подтвердила это: не все можно, что хочешь. Границы, рамки, территории — им нет числа.

А тогда — море звуков, мелодий, порой состоящих из глупостей и смеха. И все это называлось беззаботной порой, в которой начинали откладываться первые аккорды ассоциаций, мечтаний, то порой выплескиваясь наружу, то так и оставаясь в рифах детской памяти.

Может быть, еще всплывут, еще вынырнут из глубин и превратятся в нечто физическое, материализовавшись, например, в белый или красный коралл?

Еще был звук тишины, который можно было услышать, сидя вечерами на длинной-длинной лавке, которая стояла на самом дальнем конце двора. Мы, уже предвкушая его, садились рядом и начинали прислушиваться. Это случалось, когда нам разрешали поиграть чуть подольше, когда дворовая жизнь замирала, и вот тогда, этот звук падающего на землю покоя, достигал и нашего слуха, и мы понимали, что не одни только шумы и грохот могут радовать, что существует еще какой-то такой инструмент, названия которому мы не знали, который звучит, тем не менее, пронзительно и заставляет по-другому воспринимать жизнь.

Понятное дело, что мы играли. Даже вслушиваясь в тишину, мы составляли определенные правила этого процесса игры. Так завершался день, и мы готовились сначала к ночи, потом к следующему дню, чтобы снова окунуться в шум и грохот проснувшейся жизни.

ОБРАЗ МИРА В ИГРЕ

Старая-старая мысль, на которую указывал еще Хейзинга: «Если продумать до конца все, что мы знаем о человеческом поведении, оно покажется нам всего лишь игрою» (Й.Хейзинга. Человек играющий.С.13). Заметим, речь идет не только о детях и их играх, но о поведении ВСЕХ людей. Думающих, исследующих всевозможные явления, занимающихся любовными утехами, лгущих и раскаивающихся, — всех, кто так или иначе, но играет. Заслоняясь этой игрой от действительности, копируя ее, ей подражая, насмешничая над ней, опровергая, отчуждаясь от нее и ее страшась, осознаешь, что снова и снова во всех этих проявлениях проглядывает не что иное, как игра.

Именно поэтому она становится частью культуры, ибо все перечисленное имеет прямое отношение к созиданию и разрушению, стало быть, к культуре как таковой. «Реальность, именуемая Игрой, осязаемая каждым, простирается нераздельно и на животный мир, и на мир человеческий. Следовательно, она не может быть обоснована никакими рациональными связями, ибо укорененность в рассудке означала бы, что предел ее — мир человеческий» (Там же.С.17).

Как взаимодействуют игра и фантазия и на каком уровне и каким образом? Что предшествует игре: побуждение, намерение, ассоциация, потребность мгновенно кого-то скопировать? Скорей всего, и то, и другое, и третье, и еще, вероятно, много чего другого.

Ребенок одного года, еще не обремененный опытом, УЖЕ играет и УЖЕ применяет свои фантазии. В игре он освобождается от них, плодя и сотворяя все новые и новые. Умножая и делая все более прихотливыми свои фантазии, ребенок насыщает ими свое жизненное пространство. Так, например, строя из кубиков пирамиду, еще какое-нибудь сооружение, он ПРЕДСТАВЛЯЕТ, что это дом, автомобиль, железная дорога, корова, в конце концов, то есть, замещает обычные предметы на реально (для него) существующие объек-

ты конкретного живого мира. Он всецело верит, что это так и есть, и его весьма удивляет, как это взрослые не видят того, что ведомо ему; как из наслоений и нагромождений этих кубиков, выстраиваемых им, эти большие люди не рассмотрят, не догадаются, что за ними — вполне реальные предметы реального же мира. Просто он видит это, а взрослые — нет.

И наоборот. Он не догадывается в младенческом своем возрасте, что существуют совсем иные игры, в которые играют только взрослые и доступны которые тоже только взрослым. Но это совсем не значит, что фантазия взрослого человека богаче и изощреннее маленького. Напротив, она может быть и суше, и банальнее, и скучней, да и просто менее ЭНЕРГИЧНОЙ. Фантазия ребенка основывается, как правило, не на стереотипах, а на все умножающемся расширении и объемности представлений; взрослые зачастую довольствуются привычными схемами и стереотипами.

Стоп! Если же, конечно, речь не идет о творчестве и художественном созидании. Тогда меняется все: образ мира, представления о добре и зле, нормах и правилах. И главное о том, как легко и заманчиво попираются эти правила. Если взрослый человек опирается на ассоциации, мыслит аналогиями, то у ребенка стремление фантазировать и вследствие этого играть порождается устремленностью выйти за пределы отведенного ему круга запретов и разрешений. Он разрывает этот круг в своем стремлении обыграть реальность, противостоять ей, а иногда подражать ей. Устремленность души — вот одно из ненаучных определений фантазии, без которой человек обойтись не в состоянии.

Фантазирует бедный и богатый, здоровый и больной, интеллеktуал и — как ни странно значительно меньше и на более скучные темы, не выходя за пределы образов Наполеона и Раскольникова, — шизофреники, психически больные люди. Все фантазируют, все склонны подмешивать к реальности нечто такое, что по большей части скрасило бы существование. Дополнило бы его, развило, УЛУЧШИЛО.

Вот это очень важно: улучшило. В своем стремлении к улучшению действительности человек зачастую и вправду ПОДМЕНЯЕТ какие-то эстетические опоры, стерженьки, дабы опереться на пусть несуществующее, но могущее быть. Все по Станиславскому: представить иные предлагаемые обстоятельства, поверить в них и ... начать жить. Только с одной лишь разницей: не на сцене, а в реальной жизни.

Когда, к примеру, мы хотим подвергнуть сомнению чью-то (не свою) фантазию или вообще разумность и адекватную реакцию человека, мы обычно произносим: «Ну что за фантазии?!» Вроде того, что нечего дурью маяться. И еще подразумеваем под этим какую-то оторванность от реальной жизни. В подтексте: все это выдумки, неправда. Но порой (да-да, признаемся), что частенько завидуем тому, что кто-то так беззаботно и легко способен на отвлечение от правды, реальности, настоящей жизни.

А какая она, настоящая? И в тех картинках, что проступают и видятся нам днем, или напротив, только ночью и только во сне? Кто ж знает? Где она, подлинная абстракция, во сне или наяву? Или и там, и там? И где мы играем, только ли в дневной, в привычном смысле, настоящей жизни? А во сне? Разница есть, и она легко проверяется. Вымысел и правда и — главное — грань, что пролегает между ними, так, оказывается, просто объяснимы. В жизни мы можем смоделировать ситуацию, установить правила игры, раздать роли, выделить себе главную; а во сне — нет. Там невозможны не то что роли, угнаться или ноги оторвать от дивана невозможно: не поддаются, не слушаются. И никакие тут правила не напишешь, разве что сугубо медицинского характера. Во сне ничего не моделируется и правила не устанавливаются. Но!.. Не все так безнадежно: сны возможно трактовать и расшифровывать. Чем не роли?! Все, что населяет наши сны, поддается, оказывается, расшифровке и объяснению. Другое дело, насколько оно объективно и опирается ли на научную подоплеку? Вот в чем вопрос. Но как же увлекателен

этот путь постижения, пусть иллюзорной, пусть призрачной, но правды сна.

И тогда эти истолкования в свою очередь тоже становятся неким подобием игры; ведь правда, мы же играем в ту возможность, в которую хотим верить и которая расшифровывается так и не иначе. И вот она, снова игра, которую нельзя отрицать. Хейзинга говорит: «Можно отрицать почти любую абстракцию: право, красоту, истину, добро, дух. Бога. Можно отрицать серьезность. Игру — нельзя». (Там же.С.17).

ФАНТАЗИЯ И МЕЧТА

И там, и там присутствуют грезы о чем-то, устремленность души к чему-то. Однако в мечте есть большая конкретность, направленность на что-то определенное. Фантазия вмещает в себя мечту. На тему мечты можно сколько угодно фантазировать, варьировать свои фантазии, так или иначе направляя все же цель к свершению ЧЕГО-ТО. Вот эта направленность — весьма характерное свойство мечты.

Размышляя о мечте, человек все равно фантазирует. Он моделирует мечту, придавая ей те или иные свойства, снабжая ее таким могуществом, которое неминуемо должно исполниться, свершиться. Момент конечности, или — иначе — завершенности, реализованности — весьма трогательное качество в мечте и фантазии. Исполненность мечты как раз и зависит от точки финала, от завершения, от свершения ее. Человек нередко восклицает: «Как я хотел бы, чтобы исполнилась моя мечта!» или: «Вот, наконец, мечта моя исполнилась». С фантазией все иначе. Она длительнее, протяженнее, разветвленное, если хотите.

Что более характерно для фантазии: форма порядка или беспорядка? Скорее всего, в хаотической структуре образов и представлений ПОИСК упорядоченных форм и конструкций. И в этом усматривается принцип традиции фантазии, то есть, скорее всего ее развитие и поиски по строго регламентированным каналам

в русле опять-таки экспансии отказа от регламентаций и привязки к известному и знакомому.

Фантазия всегда проходит своим собственным путем, и приоритетным в этом смысле является индивид, его личностные особенности со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Следовательно, система порядка при всей кажущейся абсурдности такого заявления более присуща и характерна для путей и направленности фантазии. Это как у Станиславского: есть сверхзадача и сквозное действие, необходимое для достижения сверхзадачи. Так и в фантазии: мечта напоминает скольжение по линии сквозного действия для того, чтобы прийти к главному: собственному осуществлению и реализации фантазии.

Глубинные процессы, сопровождающие ПОЛЕТ фантазии, то движение души, которое трудно поддается материалистической аргументации и формулированию, тем не менее, связана с поисками: а) путей ее реализации; исполнения; б) структурированием мета-языка как интерпретации всех возможных языков и где собственно слово не значит почти ничего. Все совершается на подсознательном, отнюдь не материальном уровне, где варианты поиска связаны игровым отношением к искомому объекту.

СКРИПКА. ДЕТСТВО.

Игры детства так часто спотыкаются о непонимание взрослых. Более того, о их нежелание слышать, знать, участвовать в них. Действительно, обременительно. Вот оно, начало противоречия: одна возрастная группа против того, что нравится ребенку или что он готов делать и чем жить. Понятное дело, что подавляющее количество развивающих игр полезны детям, поддерживаются и поощряются взрослыми. Но...есть такие игры, которые непонятны вышедшим из детского возраста гражданам.

Родители хотят, чтобы малыш строил сначала из

кубиков некую форму, которую он мыслит так, как неведомо взрослому; чтобы играл на музыкальном инструменте, и не секрет, что огромной массе ребят эти игры глубоко чужды. Но вот ребенок выходит на улицу, и недоверие возрастает, взрослым не по душе все, что происходит там. Причина одна, и она проста: страх. Страх, что это может быть не то, что ожидает этот взрослый от своего чада, что оно (действие) превзойдет допустимые пределы и мало ли что получится. Но в основе все-таки лежит страх.

Так вот, игра на скрипке, как правило, не вызывает у взрослых протеста и неприятия. Скорее, напротив.

На заднем дворе всегда лежал футляр, где, собственно, было еще много всякой всячины: например, старая, совершенно проржавевшая труба, две голые целлулоидные куклы, все в дырках ватное одеяло и... шинель. На ней имелись все пуговицы, даже один погон, дыры не просматривались, и это чудо было их, детской, собственностью. Называлось место странно: не помойка, не склад, а барахолка. Тогда, после войны очень в ходу были и барахолки, и походы по дворам странных узбеков, кричавших нечто неразборчивое для русского уха. Но дети-то прекрасно понимали, что кричит он в странной, почти виртуозной музыкальной модуляции: «Вещи пакпаем», что означало «покупаем». И так нараспев и вместе с тем требовательно звучал зычный голос пожилого узбека, что жители, сами оставшиеся почти без всяких вещей, выбегали на этот призывный голос и хоть что-нибудь, да продавали сильному, рослому узбеку.

Просто это была такая игра: продавать никому не хотелось, но узбек настаивал и деваться вроде было некуда.

Ходил еще один, который был, не в пример первому, тоненький, хилый и жалкий. Он едва попискивал: «Бутильки пакпаем», что тоже означало «бутылки покупаем». Стоила его услуга дорого, на пять копеек меньше, чем в магазине, но люди, однако, шли и сдавали накопившиеся из-под пива, кваса, лимонада, водки

«бутильки». Маленькие чекушки из-под водки ценились еще ниже, но куда ж было деваться?!

А был и третий, продававший круглую кукурузу. Тут на защиту уже выбегали в основном бабушки, которые знали, чем заканчивается поедание круглых, слепленных неизвестной смесью пищевых мячиков и наперебой кричали, чтобы их Вовы и Наташи ни в коем случае не ели «эту гадость». Но что значит стадное чувство! Это прелесть! Даже если есть совсем не хотелось, а, скажем, Вовчик выносил огромных размеров кусок хлеба, посыпанный сахаром (пирожное!), то как тут было не поклянчить! Что уж говорить про круглые, бело-коричневые мячики, которые можно было грызть. Ну, а то, что после этого болели животы, — такая мелочь!

Мы ели их и представляли, что это некие космические существа, нечаянно залетевшие к нам на землю. В ту пору слово «космос» было большой редкостью, и мы, не употребляя его напрямую, думали, однако, именно о нем. По крайней мере, это было что-то, что нам казалось загадочным и совсем не земным. Так мы и представляли съедобные (малосъедобные бело-бурые шары), отождествляя их с прилетевшими откуда-то с неба едва ли не звездами.

Так вот, скрипка. Был у нас один мальчик, которого родители насильно обучали скрипичному ремеслу. В мастерство оно никогда бы не вылилось, поскольку мальчик больше любил мечтать, рассказывать о строении вселенной, читал об этом книжки (и где их он только брал?), но искусству пиликания на инструменте был злостно принуждаем последовательно и неукоснительно. Родители его называли «наш Шуман», хотя какое, казалось бы отношение имел Шуман к скрипке? Но ладно, Шуман, так Шуман. По крайней мере, все противоречило этому прозвищу, поскольку мальчик был тихий, послушный, даже робкий. Но все это, заметьте, до тех самых пор, пока речь не заходила о его любимом предмете страсти. В остальном же он был полностью исключен из детской жизни. Ни Вовкины

хлебулочные изделия, ни лапта, ни ночные вылазки за яблоками не волновали его совсем. Когда же вечерами вся детская команда собиралась на знаменитой лавке посреди двора, все поглядывало на Шумана и просили его что-нибудь рассказать. Он и рассказывал. Что-нибудь. Может, что и привирал, но только так красочно и так увлекательно, что заманчивой становилась неведомая небесная даль с ее таинственными поблескиваниями звезд, комет и еще чего-то такого, названия которому не знал никто.

Была еще одна странность в воспитании этого мальчика. В строго определенное время он должен был гулять. Но если лил дождь, бушевал ветер, падал град и случались прочие стихийные бедствия, его все же выпроваживали из дома, подстилали у порога фанерку и ставили так под зонтиком. И он отмеренные ему полчаса маялся на такой принудительной прогулке.

И все же фантазия! Как он был хорош, этот Шуман, когда увлеченно рассказывал про другие миры, заставляя нас считать до изнеможения, и мы каждый раз верили, что настанет день и мы дойдем, наконец, до самого конца чисел. Что будет в их бесконечном перечне поставлена точка. Однако он и тогда уверял нас, что такого просто не может быть. Мы все же не верили, как не верили тому, что вода из-под крана на улице, под струей которой мы купались, в то время, как злая тетка Катя орала на нас, как оглашенная, за то, что все происходит на ее территории, что струя эта не кончится никогда. Ведь пропадала же она, когда мы закрывали кран. Вот и все объяснение!

Однажды нам довелось увидеть, как в дождь наш Шуман мается на своей «прогулке». Он стоял не понуро опустив голову, нет. Вы не поверите, но он смотрел на небо и улыбался. Что он там мог рассмотреть, если ливень хлестал так, что самого неба-то почти не было видно!

Потом, много позже он сказал нам, что мечтал. «О чем?», — спросили мы. — «О звездах и о том еще, что я там когда-нибудь окажусь».

И что бы вы думали? Все так и случилось, он оказался на звездах, ну, или почти на них. Став знаменитым ученым, он всю жизнь разгадывал тайную, непостижимую природу звезд и других небесных светил.

Мы тоже были не промах. Мы МЕЧТАЛИ тоже. Но каждый — о своем. Вовчик, к примеру, о том, что изобретет такие лампочки, которые не то, что через день или час, но и через месяц не перегорят. И правда ведь, добился своего. Наташка стала балериной, как и хотела, ну, а Верочка... Верочка выучилась на кондитера, поскольку печь и стряпать самые замысловатые блюда умела всегда. Ей было нужно просто немного подучиться.

В своих мечтаниях о чем-то мы, дети, конечно же, нагромождали столько фантастического, почти несбыточного, что трудно даже сказать, где кончалась мечта и начиналось сверхъестественное.

Мечтал и Шуман, звали которого, к удивлению, не Марком, не Давидом, а — представьте себе — Василием. Что пытались закамouflировать родители, наделяя ребенка-Шумана таким именем? Но тогда было такое время, что поделаешь?! Рядом жили Вова и Алеша Ходжаевы, их мама, узбечка, даже не пыталась говорить на родном языке, а безупречно владела русским. Все человечество после войны прекрасно себя ощущало, даже нося чьи-то обмотки, донашивая мамино, сестрино и т.д. Все (представьте — все) мечтали. О светлом будущем, о только еще прорисовывающемся образе неведомого никому коммунизма; о куклах и — меньше о машинках, о мячиках и просто о главном: о чудесной, но другой, замечательной жизни. Хотя и в этой было не так уж плохо. Во всяком случае, поколение так себя ощущало. Не было комплексов по поводу стертой, залатанной одежды, отсутствия дорогой мебели, прочих аксессуаров. Люди были наделены мечтой сделать жизнь по-настоящему красивой. А для этого нужно было во-первых, хорошо учиться, а во-вторых, любить жизнь, Родину, свой двор.

Вот и собирались ребята со всего двора, чтобы помечтать. Они фантазировали невероятные вещи, но отчетливо понимали, что их мечты непременно сбудутся, нужно приложить максимум стараний и... еще больше мечтать.

Когда мы с подружкой ходили в театр Навои вместе с бабушкой, то сначала сидели в темном зале с закрытыми глазами и... ждали. Ждали, сбудется ли то, что мы себе там нафантазировали, нарисовали. Бабушка жала руку, это был знак, что занавес открылся, и мы обе обмирали от превосходства действительности над нашими ожиданиями. Ахали и наслаждались действием.

Стало быть, бывает и наоборот: что не мечты оказываются могущественнее и изощреннее фантазии, но сама реальность приумножает ожидаемое. Что, как не ожидание несбыточного есть фантазия? Что, как не вера в то, что когда-нибудь она воплотится и станет правдой?

Тот мальчик, Вася Шуман, который в одно и то же время гулял у себя на крыльце, стоя на картоночке под дождем, многого, как ни странно, достиг. Например, он изучил звездное небо, хотя законы небесных светил узнал много позже. Однако фантазия позволила ему не только справиться со знанием и поступающей информацией, но легко управлять ими. Фантазия помогла стать образованным человеком. В предположении того, что только возможно и могло бы быть, Вася обошел на шаг саму действительность. Еще до всех законов, фактов, формул, он ЗНАЛ, он точно знал, что так может или, наоборот, не может быть. Детские фантазии помогли ему стать ученым, который достаточно легко прорисовывал и музыкальные образы, и строил свои замечательные формулы. И на то, и на другое у него хватило фантазии.

Одних формул ему, уже во взрослой его жизни было мало, необходимо было, чтобы они зазвучали, превратившись в музыку, слившись с ней.

Однажды, много-много лет спустя, он рассказывал,

как варил кашу и при виде булькающих пузырьков, что-то и в нем самом такое воспламенилось, что он отбросил свою стряпню и бросился записывать формулу. Это был закон «пробулькивания». Может быть, в строго научной жизни он назывался как-то иначе, но фантазии при варке манной каши вполне хватило на то, чтобы напридумывать, насочинить нечто такое, что вошло впоследствии в научный обиход.

Был в нашем дворе еще один мечтатель. Не детского возраста, и звали его дядя Ефим. Говорили, что прибыл он откуда-то из Сибири, русский. Но тоже вот в имени была загадка: почему Ефим? Хотя, какая разница?! Просто такого имени мы еще не встречали. Любил дядя Ефим выпить, но так, не по-черному, а аккуратно. И требовался ему всякий раз при этом (ни много-ни мало) большой узбекский помидор. Вернее, самаркандский. Никакой другой закуски он не признавал. Пробовал сок томатный — не понравилось. Огурцы на дух не переносил. Соленью ему и вовсе не требовалось. Только помидор, и все тут.

И вот однажды мы спросили дядю Ефима, о чем он думает, когда выпьет. Потому что по обыкновению процесс всякий раз повторялся и был прост: он выпивал, затем закусывал своим огромным помидором, потом садился у стенки на лавку, той самой стенки, где мы играли в мяч-выбивалку. Садился, руку приставлял к щеке и молча так сидел. Думал. Вот и было интересно, о чем же. Он и говорит: «Я не думаю, я мечтаю. И мечтаю, надо сказать, об очень важном. О том, к примеру, что будет через сто или даже двести лет. Ну, как у Чехова». В ту пору ни о каком Чехове мы знать не знали, а уж про двести и сто лет — и подавно. Но он не погнушался, рассказал. И как артистом в далеком сибирском городе служил, и как Чехова играл, и еще о том, что всю жизнь (он так и подчеркнул — «всю жизнь») мечтал. О ролях, об успехе, о зрителях, о городе, где бы можно было снова вернуться на сцену.

Вот тогда у нас и родилась мысль сделать свой театр и чтобы им руководил, был в нем самым главным

дядя Ефим. Вот уж мы размечтались тогда! Но ничего, не в пустое все ушло, зажила идея, сделали мы свое дело. Даже Чехова прочитали и одного мальчишку потом даже и звали «двадцать два несчастья».

Так нам тогда обидно за свой город стало, что это не его, не Ефима удел, и потому и решили вернуть ему театр со всей готовой труппой. Труппой были мы. Но ничего, постепенно в нее стали стекаться и другие персонажи, постарше и поопытней. Например, мамаша Вовчика, чем не Аркадина была?! Тем более, они сами когда-то из Прибалтики приехали. Почти из-за границы. У нее и манеры, и все такое подходящее было. Здорово!

Решили не с пьесы начинать, а поставить сначала какой-нибудь рассказик или кусочек из пьесы. Так и сделали. Замахнулись не на что-нибудь попроще, а сразу на «Чайку», на то место, когда Аркадина бинтует голову раненому сыну, Треплеву, по случаю его неудавшейся попытки самоубийства. Тетя Эля, естественно, была Аркадиной, Вовчик — Треплевым, а вот самому дяде Ефиму места и не нашлось. Но ничего, все еще было впереди, а сначала он был режиссером и многое рассказывал нам и про Чехова, и про метод актерской работы. Как же это было увлекательно! Больше всего нам нравились «предлагаемые обстоятельства», когда можно было погружаться в то, что, казалось, мы и делали всю свою жизнь: мечтали и фантазировали. Причем здесь, как оказалось, это значительно интереснее и как-то побольше толку что ли. Ну, например, ты не просто про что-то там фантазируешь, но говоришь уже написанные слова и при этом становишься совершенно другим человеком. И этот другой что-то другое чувствует. Как-то по-другому реагирует, ведет себя. Да и наконец стреляется, когда сам ты не только не собирався этого делать, но более того, стремился жить долго и счастливо.

Так вот, перевязывает тетя Эля сыну голову, а сама все упрекает его, да поругивает и себя еще жалеет. И в этот момент Вовка возьми, да и перепутай текст. Вме-

сто слов автора Чехова он произносит: «Вот ты всегда так, ты никогда меня не любила и еще замуж за этого медведя вышла».

Боже мой, что тут поднялось! Дядя Ефим влетел на сцену, как сокол и как треснет Вовку по башке. А потом и говорит: «А если бы на сцене настоящего театра это было? Каково?» Ну и Вовка не промах был, отвечает: «А в настоящем вы бы меня по башке не треснули и на сцену не вскочили бы». Словом, режиссер с артистом поругались в дым. А тетя Эля еще и потому переживала, что действительно вышла замуж после войны за огромного мужика с фамилией Берг (ничего себе населенщице в нашем дворе было после войны!), и тот Вовку не влюбил. Вовка, конечно же, его тоже. А между ними — тетя Эля, вся из себя поэтическая натура. Да только не сладко пришлось ей со всем своим хозяйством после войны: многим во дворе стирала, готовила, пекла — Вовку своего тянула.

Повязка, которой бинтовала голову, выпала из рук, сама она села на стул и зарыдала. О себе, о непонятной своей любви, о несыгранной роли и о писателе Чехове, которого полюбила даже больше своего Берга.

После такого обвала «Чайку» все почему-то разлюбили и перебросились на «Вишневый сад». Вот эта вещь всем была по душе, потому что дядя Ефим замечательно играл в ней Лопухина. Он покупал сад, он был главным, и это его очень украшало. Потому, как была в нем самая та сибирская статья, та удаль, которая в те послевоенные годы так важна была и так ее хотелось видеть в русских наших (несмотря на узбекский город) мужиках.

И ходил себе перед приходом поезда Лопухин особенному, как-то так выбрасывая вперед одну ногу (уважал себя сильно, видать), и на Дуняшу поглядывал так уж свысока, что непонятно, как она, бедная, только и вытерпела, не взбунтовалась. Потому как Дуняшу играла самая главная наша артистка во дворе Ася, девочка с сильным характером. Она уже и в пять лет была артисткой. А уж к тринадцати и вовсе рас-

цвела как сам вишневый сад. И когда ей Лопухин намекал, что больно она нежная, да и барыне подражает, она, не моргнув глазом, только и делала, что лепетала как бы на французском что-то такое, что всех сводило с ума, и прежде всего, самого дядю Ефима. Все помирали со смеху, и режиссер негодовал, что мало что мы смыслим в жанре, что здесь не до смеха, а скорее, слезы лить надо. Тогда кто-то дотошный сказал, что пьеса-то называется комедией и что смеяться не грех. Стали ржать уже, не то что смеяться, и убедили-таки дядю Ефима в том, что раз комедия, должно быть смешно.

ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ КОМЕДИИ И КОМИЧЕСКОГО

Когда-то польский ученый Дземидок сказал, что комическому свойственно противопоставление и повторение. Потом подобное можно было прочесть у Ю.Борева, а задолго до него — у Цицерона, Пушкина, Белинского. Вот ведь какой разноплановый и разноречивый ряд!

Что до Цицерона, то, слава Богу, что не знал всех, введенных столетиями позже, министерских правил и предписаний по составлению методических пособий. Писал так, как мыслил и понимал предмет.

Пушкин ссылался на то, что комедия ближе к народу, стало быть, более понимаема и воспринимаема.

Белинский позиционировал себя еще и в качестве теоретика комического. Столько горького наделал этот наш великий демократ от пера, что диву даешься, как он смог удержаться на грани правильного и четкого понимания основ комического! И даже свойственной ему дидактики не так много!

И — тем не менее — все вышеперечисленные умы сходились на одной простой вещи, такой, как противоречие (противопоставление) и повторение. Речь, понятное дело, идет о художественном произведении, а не о житейских ситуациях. Хотя, что и говорить, имен-

но там, в реальности (или здесь?) оно, комическое, проявляет себя особенно ярко. Но воображение (а у писателя, художника — тем более) такая хрупкая и трепетная субстанция, что способно проявлять себя лишь в условиях свободы. (Что бы было, если бы я здесь не сослалась на Жака Дерриду, который блестяще заметил, что «воображение — это свобода, которая показывает себя лишь в своих произведениях. Последние находятся не в природе, но они и не обитатели какого-то ИНОГО, отличного от нашего мира». (Деррида. Письмо и различие. С.15). Итак, творчество и жизнь художественная.

Висит у меня репродукция НАИВНОГО (направление, не что иное) художницы Е.И. Медведевой «Счастливый день художника» — 1981г. и изображен на ней сам счастливый человек и... те образы, которые, быть может, создают, пусть и опосредованно, ему особое настроение, плодят фантазии, воспоминания. По крайней мере, много чего в картине прямо указывает на это. Например, руки. Сильные и нежные одновременно. Сложенные так, будто одна поддерживает другую. И над ними — нимб. Наверное, самое главное условие причастности к счастью. А над нимбом птичка, в одной стороне — то ли луна, то ли солнце; в другой — образ женщины, но не какой-нибудь, а с выступающими крыльшками. Тона — синий, глубокий, сочный, красный, белый, все оттенки перечисленных. А то, что перед нами художник, читается очень просто: у него поблизости, аккуратно у левой руки — краски. Сам он с бородой, нос у него огромный, глаза синие и большие. Вообще он предстает не в каком-нибудь сложном поиске и неврастеническом постижении мира, но действительно в счастливом осознании действительности. Господи, какая же это редкость!

Что же подсказало художнице такой образ? Ее собственное наивное представление о жизни, ее смысле? Собственная судьба или что-то еще? Никто и ничто не ответит на эти вопросы, ибо смысл творчества, его тайные, неисповедимые пути и тропы не поддаются

реалистическому, жесткому анализу. Вернее, объективному.

Мечта, страсть к воображению, наивная (ибо речь идет о наивном художнике, представляющем наивное искусство) потребность запечатлеть сложные ассоциативные ряды, линии в конкретных образах, снова и снова не поддаются конкретному анализу. Можно лишь тоже ФАНТАЗИРОВАТЬ на тему: что хотел, что думал передать живописец, на что направлены были его помыслы?

И получается удивительная вещь: подсказки реализуют себя исключительно в множащихся образах. Они, эти образы, роятся, составляют в итоге лавину, которая требует ската, свержения, катастрофы, ВЫХОДА. И он свершается. Иногда (у кого-то) наивно, у кого-то иронично, у других трагически или — напротив, комически.

Комически запечатлеть действительность? Как это? Только попасть в жанр? А если тот, который наивный (а художник и должен быть таковым), и слыхом не слыхал о подобном? Это только мы, критики и аналитики творцов, придумали разные термины и дефиниции, которые якобы помогают что-то классифицировать и раскладывать по полочкам правильного понимания жизни и искусства. Или только искусства. А, может, одной лишь жизни. Но вот хитрость: возможна ли она без искусства. То-то!

Странно, глава называется «О комическом», но вдруг появляется тема наивности. Но в том-то и дело, что и то, и другое подчас оказываются где-то рядом. Например, та же художница, изображая свадьбу Пушкина и так и называя свою картину, использует все тот же наивный, но имеющий прямое отношение к комическому повтор: он проявляет себя в настроении картины прежде всего. В совершеннейшем спокойствии, вычитываемом сразу и сполна; в той предельной искренности и озабоченности судьбой изображаемых. И становится немного грустно: надо же так любить поэта,

живопись, самую жизнь, наконец, чтобы так чувствовать и думать!

А повтор — он очевиден и в частом использовании имени поэта, в ТЕМЕ ПОЭТА; в особенностях преподнесения его фигуры, в той доверчивости, с которой художница раскрывает смысл существования жизни и судьбы Пушкина. Даже называя одну из картин «Кот ученый», она не может отрешиться от знаковой фигуры и черт лица поэта: и кота награждает локонами и носом Пушкина.

Комизм — в непреодолимой тяге к использованию все тех же (повторяемых) деталей, пристрастия к сиреневатому тону; к наивному взгляду своих персонажей. В этом обилии повторов и — противоречивости того, кого она рисует с манерой подачи и способом рисования — путь к комическому в живописном изображении пушкинской темы.

Называя одну из картин просто «Пушкин», Медведева сохраняет приверженность простоте и — одновременно — ясной строгости в понимании классика. Полотно поделено на равные части: красную — день и черную — ночь. На их фоне — сам поэт в голубоватого цвета накидке, словно спиной ощущающий и ночь с ее звездами, и день, где красному отдано предпочтение.

Оценивая не одну картину, а анализируя все творчество художницы, приходишь к выводу о явном комическом начале, хотя, ясное дело, такой цели у Медведевой не было.

Привычно, когда комическое применяется к динамичным, пространственно-временным видам искусства: здесь все понятно. Что же касается статичных видов, таких, как живопись и архитектура, то такое присоединение весьма сложно и отчасти условно. В самом деле, в тексте пьесы, а тем более, подкрепленной театральной интерпретацией, намного легче отыскивать и устанавливать подобные связи и привязанности. Сколько уж говорено про сложные, неоднозначно звучащие подзаголовки чеховских, к примеру, пьес.

Что, в самом деле, за тайна такая в них? И почему не просто драма, скажем, а все же комедия?

Наверное, тысячу раз прав был автор, когда настаивал именно на таком прочтении своих произведений: и жизнь его персонажей становилась понятней и... грустней, и режиссерам было за что побороться в своих исканиях жанровой правоты.

ФАНТАЗИЯ КАК СОН, ИЛИ ФАНТАЗИЯ И СНОВИДЕНИЕ

Похожи ли наши фантазии на сны? И в чем разница? И где правда: сам сон есть реальность и всамделишная жизнь или фантазия, замешанная на сне и им продиктованная, рожденная из сна, им обусловленная?

Столько гениальных работ на эту тему! (Фрейд — прежде всего). Но никто и никогда, разве что в ТВ-передачах не отождествлял сон с реальностью, более того, не отдавал ей приоритетное место.

В каких категориях — речевых, образных, мы фантазируем? И фантазируем во сне? Понятное дело, углядеть во сне, как именно воссоздается, совершается, ДВИЖЕТСЯ фантазия — почти невозможно, разве что при помощи специальных методов исследования сна как такового.

Но замечали ли вы, как вы мечтаете, фантазируете, видя сон, вещей, обычный, имеющий отношение к реальности, или нет? Чаще всего это образы, говорящие редко, но представленные в виде фигур, персонажей и... чисел. Очень часто мы видим какое-нибудь число, которое впоследствии оказывается сбывающимся на свой лад: что-то важное или неожиданное происходит; реализуется давно запланированное событие или число может также выступать в виде некоего образа, предваряющего реальность или вовсе не имеющего к ней никакого отношения.

Тот локальный, маленький апокалипсис, совершающийся во сне, часто проецирует саму реальность на свершение, ожидание, либо на ассоциативность смыс-

лов, которые вычитываются, вычлняются из самого сна. Сон может отождествляться впоследствии с реальностью; противоречить ей, никак не объяснять ее и — более того — исключать саму возможность подобного повторения в действительной жизни того, что довелось увидеть во сне.

Снятся людям сны или нет, большой разницы нет. Наверное, все же снятся всем, только одни их запоминают, трактуют на все лады, другие относятся равнодушно и даже индифферентно, а иные и вовсе предпочитают не видеть в них никакого смысла.

Однако он есть, этот смысл. И доказательств тому множество. Не стану повторять про всем известный случай с Менделеевым, скажу только, что у всех творческих людей время от времени случаются провидческие сны, помогающие творить. Композитор (Бородин, например) может слышать в нем продолжение музыкальной темы; художник — лик, образ, пластическое, композиционное решение; актер — поворот в роли, находку-подсказку, способную повлиять на создание характера героя. Писатель и вовсе вооружен: для него сны словно метафорическое продолжение жизненных событий, действий, ситуаций, перипетий с героями.

Во сне — самое главное — не то, чтобы напрямую совершались откровения, но в них и через них приоткрываются двери к ним, к находкам, к тем образам (музыкальным, словесным, линейным), которые впоследствии способны реализовываться. Так, в декабре месяце, а точнее, 19 декабря, в День Николая Угодника, накануне мне снится сон, в котором я летаю, разбрасываю листочки, изрисованные и исписанные мною же. К тому времени никакой писчей, а уж тем более рисовательной работы у меня не предвиделось, что было еще более странным. А именно: на другой день, в означенный День Николая Угодника, под вечер я сажусь и внезапно, под влиянием то ли сна, то ли еще чего начинаю писать стихи (сразу семь) и рисовать. Причем, тоже семь рисунков. К слову, рисовать я ни

когда не умела, но делать ковер или картину, сочетать цвета из наслоений разных красок — вот что стало получаться.

Что же до писания, то уже остановиться не получалось: вышло много книг прозы, поэзии, пьес. Именно во сне я частенько сталкивалась с числами, в обычной реальной жизни с которыми, прямо скажу, не дружу. А тут цифры, то имеющие характер конкретных дат, то так или иначе связанные с тем или иным событием. То достаточно отвлеченных, но также впоследствии оказывающихся не простыми сложениями произвольных чисел. А относящихся опять-таки к событию, дате. Еще был сон, самый, быть может, особенный, запоминающийся. Я лежала в больнице Святителя Алексия, при которой есть церковь. Несколько раз я бывала в ней. И мне очень, просто необходимо было как можно скорей поправиться. И молилась, и лечилась. Но вот под Пасху я вижу сон, что сидит у меня на руке птица, весьма напоминающая нашего голубя, которых много в Москве.

Иду утром в церковь, молюсь, стою, слушаю — все, как обычно. И вдруг захожу с другой стороны, с которой никогда не проходила и... останавливаюсь: на руке Святого Трифона сидит та самая птица, да еще в позе, что была ночью на моей руке. Я встала как вкопанная, не могла не шевельнуться, не двинуться. Потрясение было огромное.

И — счастье — я стала выздоравливать.

Вещие сны — сны, в которых наши желания, мечты сходятся и даруют подчас непредвиденный результат.

Однако не менее часто бывает совершенно обратная картина: то, чего мы ждем так настойчиво и долго, не только не приходит в снах в виде решения, подсказки. Но все дальше уводит нас от ожидаемого. И в этом также видится определенный ответ. Насильственное, вынужденное программирование и жажда получения ответа, выхода словно закрывают некий канал, который оказывается попросту замураванным. И мы горю-

ем, что выхода нет, что путь закрыт. Полезно не только в реальной жизни порой ОТПУСТИТЬ проблему, в крайнем случае вывесить ее за окно, но и во сне постараться УПРАВЛЯТЬ если не снами, то хотя бы своими эмоциями. Вполне возможно настроиться на волну сна: не какого-то определенного образа, числа, человека, ситуации, но на конкретную эмоцию: покоя ли, уравновешенности, веры или, напротив, ревности и ожидания возмездия. То есть, попросту говоря, собой и своими снами можно управлять. Не проводить адскую работу по настройке органов чувств, собственных ощущений, но по контролю за эмоциями — да, вполне реально.

Во сне мы не только отдыхаем, это известно, но и что-то строим, чего-то ожидаем, куда-то спешим. Недаром врач сразу насторожится, а вы — еще до похода к нему — если регулярно начинают сниться кошмары, преследует один и тот же сон. Тогда требуется поиск выхода, поиск успокоения и в реальной жизни РЕШЕНИЕ каких-то проблем. На пустом месте страшные сны не преследуют. Они — либо предостережение, либо — следствие напряженной, отягощенной проблемами жизни, либо — как ни странно — освобождение от груза проблем. Словом, всякий сон требует осмысления, если он не проходной, но тревожащий и не оставляющий в покое. Человек должен отдыхать, попросту спать, и, если этого не происходит, нужно бить тревогу, принимать меры.

Сон — не только отведенные для отдыха восемь часов, но и продолжение реальности, только на другом уровне, уровне подсказок, предостережений, необходимости что-то глубоко проанализировать и понять. Тогда и придет освобождение, только тогда оно и возможно. Сон — есть реальный показатель здоровья человека. Все мы об этом вроде бы знаем, но мало отводим времени и внимания подготовительным мерам и собственно анализу.

ЧТО «ВЫТЕСНЯЕТ» ФАНТАЗИЯ?

В статье о «Вытеснении» Фрейд говорит: «Вытеснение работает КРАЙНЕ ИНДИВИДУАЛЬНО». (Там же.С.337). Фрейд не переставал верить и искать различные коды универсальности, устойчивости сновидений. «Бессознательный опыт, еще до сновидения, следующего старым проложенным путям, — говорит Деррида (Там же.С.337), — ничего не заимствует, производит свои собственные означающие, не создавая, конечно, их собственный материал, но производя их значения». (Там же.С.337).

«Новизна моей теории заключается в том, что, согласно ее главному утверждению, память не просто существует как бы раз и навсегда, но она повторяет саму себя, будучи закрепленной в различных видах знаков...» (Там же.С 335). Фрейд настаивает на количестве кодов, он предполагает, что их три. Однако Ференци (Там же.С.338) идет дальше, утверждая, что у каждого языка свой язык сновидений. По общему правилу сон непереводим на другие языки... (Там же. С. 338).

Действительно, разве можем мы в точности повторить СЛОВА, которые приснились? Мы, скорее, помним ОБРАЗ слова, но не его смысловое значение. Другое дело с вербальной стороной. Она и вправду помнится значительно дольше и четче.

И все же сны — это некий метафорический язык, который нуждается в истолковании и ЗАМЕНЕ СМЫСЛОВ. Часто увиденное вовсе не означает, что приснившаяся рыба непременно обеспечит встречу утром с живой (жареной, вареной) рыбой. Трактовка сна — самое уязвимое и потому самое притягательное занятие. К снам следует относиться как к продолжению реальной жизни, стало быть, серьезно и избирательно.

В самом деле, не встретишь похожих снов у разных людей. Однако один и тот же, повторяющийся у одного и того же человека, — вполне распространенное явление. И язык снов, разнообразие и неповторимость

их кодов переводит их в еще более сложно постигаемый пласт человеческого существования. Очень часто фантазии и мечты реальной жизни ВЫТЕСНЯЮТСЯ снами, во сне. Это отчасти облегчает психологическое существование человека, ибо нерешаемая проблема порой находит легкое и безболезненное разрешение во сне. Таким образом происходит высвобождение и освобождение от груза: прошлого, настоящего, того, что только являет себя в предощущениях.

Знакомая девочка не могла долгое время справиться с проблемой: ее родители никак не соглашались взять ее вместе с собой отдохнуть за границу. Она и просила, и «хорошо себя вела», как просила мама, и всячески старалась угодить и даже предупредить любое желание родителей. Но они все не соглашались, и девочка страдала. И вот однажды ей приснился сон, в котором она не только прилетела в загадочную страну вместе с папой и мамой, но и пробыла там долгое время, увидела живого верблюда, покаталась на нем и даже прихватила оттуда с собой сувениры.

Сон был настолько живым и реальным, насыщенным такими подробностями, о которых девочка знать не могла в реальной своей жизни, что оставалось загадкой, как такое вообще могло случиться, что фантазия, мечта отождествилась с реально существующим местом на земле.

Более того, вскоре родители действительно согласились взять ребенка с собой в поездку, а там девочка ко всеобщему удивлению на некоторые вещи говорила, что они ей давно знакомы, что-то она уже «видела», а при появлении верблюда она несколько не испугалась, а совершенно самостоятельно забралась на него, приговаривая, что она уже ездила на нем и знает, как это делается.

Так и осталось неразгаданным, что произошло в действительности: то ли необыкновенно сильное желание, закрепленное во сне и высвобожденное в нем же, сыграло роль, то ли фантазия ОПЕРЕДИЛА действительность, столь страстной и искренней она была. Во

всяком случае, желание девочки свершилось и все закончилось благополучно. Сон в данном случае не только сублимировал реальность, но во многом сыграл спасительную роль, ибо спас ребенка от все возрастающего психического напряжения и моральной травмы.

Моя собственная дочь, будучи в 4-ом классе, так горячо ожидала, чем завершится отборочный конкурс для поездки в Америку, хотя критериев отбора, настоящих соревнований хоть в какой-то области не было и не предвиделось, а были настойчивые разговоры учителей о прилежном поведении, успеваемости, которые и являлись якобы проходными оценками для поездки. Дети нервничали, начался настоящий ажиотаж ожидания.

И в одну (отнюдь не прекрасную ночь) дочка поднялась с постели, ВО СНЕ подошла ко мне (она никогда не была, к счастью, лунатиком) и сказала, что надо уже собираться, чтобы уезжать. Я, естественно, не стала развивать диалога, не расспрашивала, куда и зачем, а уложила дочку спать, и утром она ничего не помнила.

Но самое обидное для детей заключалось в том, что сама идефикс так ничем и не завершилась, ибо и была с самого начала придуманной, ложной, но детей здорово сумели завести и даже покалечить. Многие плакали, поскольку возлагали на поездку грандиозные планы, надежды и, конечно, мечты. Это было время 80-х, когда такое далекое путешествие было редкостью. Именно поэтому обещание так возбудило детей и взбудоражило еще больше, когда стало ясно, что все от начала до конца было блефом.

Весьма печальная ситуация, которую во взрослой дальнейшей жизни я старалась никогда не повторять, то есть не обнадеживать, не зная наверняка, что событие реально и возможно.

ДЕТСКОЕ ДЕРЕВО МЕЧТЫ

В доме под номером 65 на улице Карла Маркса в городе Ташкенте был большой двор, ворота, подъезд-

ная дорожка, по обе стороны тротуара — два арыка, затем зеленые кусты и только потом дорога или мостовая. Перед самыми воротами, где-то сбоку от подъездной дорожки росло не просто большое, но оромное дерево, напоминающее баобаб. И по обхвату, и по той таинственности, которую оно источало, по необъятным ветвям и — прежде всего — по отсутствию истинного названия и принадлежности к какому-то роду. То есть мы попросту не знали, как оно называлось. Дерево — клумба, дерево-скамеечка, вернее, дерево со многими скамеечками, где запросто размещались человек шесть-семь детей. Это было излюбленное место нашего пребывания и... наших детских мечтаний. Посиделки, рассказы, выдумки, фантазии, — оно вмещало все. И мечтали, естественно, все дети. Про разное, но каждый — про свое. Мечты, как и сны — у всех разные. Нет единого кода мечты и фантазии, как нет единого на всех кода сна. Хотя Фрейд и предложил три возможных ЗНАКА восприятия, но позднее сам же себе противоречил, подтверждая простую мысль о неперечисляемости всех возможных вариантов, делений, вариаций. Словом, системы сновидений. Ее, скорее всего, нет, этой системы.

Удивительное дело, но сила мечты и изощренность фантазии оказывали самое что ни на есть реальное влияние на воплощение задуманного в жизни. Если, конечно, это не касалось каких-то уж слишком сказочных моделей. И чем неистовее была мечта, тем реальность более подтверждала или ее жизнеспособность, или иную, но столь же сильную фантазию. Способность мысли к воплощению срабатывала совершенно. Пусть Ася не стала в действительности балериной, но ее страстное желание быть на сцене все же осуществилось. Актриса, педагог, режиссер, ведущая — несколько ипостасей сошлись в жизни, и все они проистекали от реальной мечты, той самой детской фантазии, что возможно все: нарисовать клавиши и играть на пианино, напевая себе; танцевать (ну пусть хотя бы в детском самодеятельном театре, но! — танцевать)... Движение

танца сублимировалось в активность движения вообще, движения, динамического развития и восприятия жизни как таковой.

Потребность Лильки постоянно влюбляться и наряжать воих возлюбленных в невиданные одежды (она не играла, как все мы, в куклы-девочки; она играла в куклы-мальчики, наряжая игрушки именно по-мальчишески) воплотилась в реальной жизни в бесконечную череду влюбленностей, браков, где определяющим для Лильки был внешний вид избранника. Если он ее не устраивал, она легко устраняла этот изъян: перешивала все. Словом, опять-таки наряжала.

Но случались у дерева и более глубокие, более насыщенные события. Мечтали все, это несомненно, но вот чтобы рассказать об идее, которая спустя десятилетия воплотится в жизни и станет реальной потребностью ученого, — это было редкостью. И такой мальчик среди нас был. Мы, несмышленная малышня, дразнили его, он был внуком той самой зловредной бабы Кати, которая так истошно прогоняла нас со всех возможных мест нашего двора: из-под крана, с середины площадки, где мы играли в мяч, в вышибалочку, в прятки; со снежных горок зимой — ей было все равно, откуда, главное — выгнать и проораться. Но вот Юрка, ее Альбибия, Альтатая (как мы его дразнили), он не походил ни на нее, ни на свою мать, тетю Иру, дворовую парикмахершу, приходившую к каждому на терраску или в садик делать маникюр или завивку. Точно никто не знал, откуда они: сбежавшие немцы (а они точно были немцами) или просто немцы, которых в соседнем Казахстане было полным-полно. Не знали. Но вели они себя совершенно особенно, и это всех во дворе раздражало и их заставляло держаться обособленно.

Однако Юрка, их сын, был таким необычным мальчиком. Он не дружил ни с кем, был замкнут, существовал сам по себе и его мало заботили, какие прозвища ему давались. В том-то и дело, что он постоянно

был во власти какой-то мечты, думы, если к юному существу вообще применимо это слово.

Из носа у Юрки постоянно текли сопли, ухаживали за ним мало, плохо, но и это нисколько не смущало его, напротив, он знал, что в нем есть нечто такое, что отталкивает ребят от него, и это давало ему определенную свободу опять-таки в своих мыслях, действиях, поведении. То, что он обособлен, было ему на руку. Он в какой-то мере даже был горд этим обстоятельством: так было проще. Он чувствовал себя свободнее и непринужденней.

И вот этот самый Юрка спустя много-много лет изобрел какой-то необыкновенный аппарат, который тут же перекупили, перехитрив его, японцы, и он стал известным.

Одна встреча и разговор с Юркой-Альбибиной мне запомнились. В его юном возрасте он размышлял о судьбах мироздания и сказал такую вещь: «Время — это не то, что показывают часы. Оно — повсюду и далеко за пределами Земли. Но, может, его и нет вовсе. Ну, совсем нет. Только кажется, что оно есть и что оно движется». — «А что же есть и что же движется?» — с изумлением спросила я. — «А движется пространство».

Это было полнейшей загадкой, тем более мы только-только научились точно понимать, как это оно движется, время: раньше-то мама спрашивала, где большая и где маленькая стрелочки, и, складывая то и другое, определяла, который час. Но с некоторых пор мы и сами стали разбираться в вопросах времени, стали понимать, который теперь был час. Получалось очень просто, а тут новая сложность: оказывается, его нет вообще? Чудеса да и только.

«Юрка, — спрашивала я, — может тебе почудилось или приснилось? Ну, как же его нет, когда вот оно, двигается вместе со стрелочками!» Но Юрка пророчески отвечал, что все это наши придумки, нас, людей, и на самом деле все обстоит по-другому. Но как — этого он в точности объяснить не мог, не умел. И только став взрослым, все же ответил на этот и на многие другие

вопросы. Он был аналитиком— ученым, и нам, детям, было многое непонятно из того, что он говорил, хотя и занимало очень.

Да, в то время, во время нашего детства он был просто мальчишкой, стремившимся по-взрослому ответить на многие совсем недетские вопросы. А потом и, правда, стал ученым.

Но мы не понимали, как это нет времени. Такого, по нашему мнению, быть просто не могло, и мы его очень даже считали. Как и наши родители, впрочем. Это они звали нас к положенному часу, они кричали из окон, что пришло время и пора домой. А потом время совершало свои чудеса, превращая день в вечер, а его — в ночь. И так — бесконечно. Только мы не все еще понимали. Как и теперь понимаем не все. Что, например, такая чередка, сменяемость времен года, цикличность жизни создают равновесие и покой. Что именно размеренная поступательность времени и предсказуемость его во многом гармонизируют отношения человека с миром и сам этот мир.

Нет, многое было непонятно, а многое — наоборот, казалось совершенно ясным и естественным, и завиральные Юркины идеи казались нам чудесной сказкой, не более того. Именно то время формировало нас, оно, неуклонно двигающееся вперед, становилось мерилом многих ценностей, что стало проявлять себя много позже. А тогда мы были просто детьми, со своими сказками про правду и вымысел, про чудеса природы и про самую настоящую жизнь. Например, мы были точно уверены, что дерево, на котором мы всегда сидели и которое было настоящим нашим пристанищем, живое и слышит нас и даже иногда разговаривает. Но что слышит — это уж точно. Это мы замечали по многим приметам. Когда кто-то из нас начинал громко разговаривать, с кем-то ссориться, спорить, дерево — так нам казалось — начинало тоже проявлять возмущение: качаться, излишне громко шелестеть своими ветвями, а однажды вообще завалило нас грудой листьев, хотя

был всего лишь сентябрь и для Ташкента это была совсем не осень. Просто свалились рядом две ветки и накрыли нас с головами.

АКТЕР: ГДЕ Я И ГДЕ ОН?

Актерская фантазия — наверное, самая действенная и непредсказуемая. Она предсказуема в плане конкретного текста, который произносится артистом, однако, во всем остальном — это импровизация, сплетение причудливых знаков, символов в нечто законченное и целостное.

Знает ли актер, как бы техничен он ни был, что последует в каждый последующий момент, что таит это мгновение и как обернется относительно всей постройки, всей роли? И как разделить собственное Я на то, что рядом, что находится внутри и возможно к реализации, и то, что совсем не свойственно актеру, что даже краешком не касалось его природы? Не только как разделить, но и как соединить эти два начала? Многие роли одного и того же артиста, настолько исключают одна другую, что остается загадкой, как, каким образом актер умудряется сопрягать в себе, едином, столь противоречивые возможности? Тот ЗАЗОР, что остается между собственно личностью актера и тем человеком, которого предстоит сыграть, заполняется ФАНТАЗИЕЙ артиста. Это потом уже она обретает разветвленную вариативность, становясь то находками вымысла, то конкретно и обдуманно найденными приемами, чертами, которыми актер насыщает свой персонаж. Это позже насытят образ придумками и избытком (или недостатком) всевозможных профессиональных атрибутов; пока же актер остается один на один с фантазией, прежде всего — с ней.

Моя мама рассказывала, например, что отец, репетируя роль Сталина, никогда его не видевший, играл прежде всего его скрытность и непредсказуемость, хитрость и кажущуюся доступность. Мой отец, актер Александр Ильич Рубан работал в Ташкенте, был замеча-

тельным артистом и воплотил образ вождя тоже по своему неповторимо, запечатлев именно те черты, которые много позднее оказались под силу и другим именитым актерам. Но в ту пору, в конце войны, такой подход и такие краски были слишком смелыми и непривычными. Сталин — вождь, верховный главнокомандующий, какая уж тут непредсказуемость! И все же. Отец три года был на войне, многое видел, пережил и силой собственной фантазии, реального понимания этого человека сумел воплотить необычный образ думающего стратега, едва ли не мудреца.

Понятное дело, что в самом названии главы заключена некая метафора. Она захватывает одновременно и проблему психического, психологического воссоединения артисто-роли и проблему психологической разъединенности и определенной дистанции. Дистанцируясь от того, кого приходится воплощать, сам артист сохраняет большую убедительность и профессионализм. Связанность этих двух проблем делает и нас, и самого артиста более внимательными к тому, что метафора не так уж далеко и отстоит от истины, а является ее продолжением и смысловым, и эмоциональным. Продолжением и развитием.

И прежде всего сознания и памяти. Память как бы вбирает в себя и воображение, и фантазию, и способность к реализации того и другого. Сознание и память отстоят друг от друга. Хотя в них обоих есть явно выраженное смысловое, рациональное начало. Вне сознания творить невозможно, как и невозможно реанимировать фантазию, переход к чувству.

Творит ли артист бессознательно, или сознание ведет его по дороге восприятия и впечатлений? Обоюдность и противоречие одновременно этого процесса не кажется неразрешимой проблемой. Чтобы прийти к фантазии, начать фантазировать, совсем необязательно опираться лишь на сознание или на опыт, или на память. Порой одна только ассоциация, летучесть ее, неопределенность смысла рождает мощную фантазию

и закрепляют ее в слове, пластике, в самой игре артиста, в том образе, в конце концов, который он создает.

Сознание и память — два взаимосогласованных аспекта: и в сознании присутствует память, так и в памяти — сознание. Но оба аспекта согласуются с фантазией таким образом, что она — где-то посередине между тем и другим. И в то же время она — их производное и их предтеча. Словом, в фантазии сосредоточена такая разнообразная палитра всего и многого, что различные аспекты соединяются, расходятся и соединяются вновь, составляя единый нераздельный пласт. Ведь если сознание есть нечто, существующее само по себе, и его нельзя «ввести» предположением, как говорит Мераб Мамардашвили; его нельзя предварительно допустить. Оно как любовь — либо есть, либо...нет, все равно есть. Другое дело, какое, какого качества и еще много всяких оговорок. Сознание противоречит фантазии? Да ничему оно не противоречит, даже если и пребывает в некотором несогласии, если устанавливается дистанция между ним и той же фантазией. Ибо она, фантазия, опять-таки — и следствие его, и предтеча.

Актер находится где-то посередине между Я и Он. Он — это тот персонаж, которого он должен воплотить. Сыграть, одним словом. Так почему (изъеденный до дыр вопрос) актер не душит, вернее, не умерщвляет Дездемону? Что, не верит в предлагаемые обстоятельства, так фантастично, так легко и безупречно предложенные Станиславским в качестве его метода? Именно потому, что верит, и не душит. Он сохраняет свое Я, действительно будучи погруженным в образ, но не настолько, чтобы окончательно и всецело слиться с ним. Он сохраняет в своем сознании, в ощущениях, в восприятии мира некий зазор, дистанцию, позволяющую не скатиться до натурализма.

И в этом — сложность, и в этом — суть. Он не душит до самого последнего вздоха, он только обозначает акт расправы, но делает это так виртуозно и с верой, что у зрителя не остается никакого другого выхода, как только верить. И он верит. Актер заставляет поверить. Он

проводит зрителя такими нехоженными тропами своих чувств, переживаний, такого накала страстей и такого осознания невозможности другого конца и другого выхода, что зритель полностью на стороне актера. Не в том смысле, конечно, что ему не жалко Дездемону, а в том, что Отелло все делает согласно своей воле, пониманию происходящего и в полном сознании. Это «в сознании» и страшит, и убеждает совершенно. Зритель сам попадает словно в двойную зависимость: понимает, что он в ТЕАТРЕ, а, стало быть, вовлечен в процесс ИГРЫ, и в то же время сопереживает так искренне и так полно, что не остается никаких сомнений: именно в театре должно быть только так и не иначе. Вера творит чудеса. Она и в жизни-то творит чудеса, а тут само место словно говорит само за себя: вот оно, искушение неправдой, поверьте ему.

Много раз приходилось наблюдать, как актер либо не доходит до последней, едва уловимой грани, которая удерживает его от натуралистического шага: и он не душит, не стреляет взаправду, не насилует по-настоящему, не убивает и еще много чего не делает, или напротив, делает; либо так перебарщивает, что мы остаемся в полном неудовлетворении от фальши нажима, театральности, излишнего педалирования. Словом, плюсов, которые так отчетливо прочитываются в театральном ремесле и которые есть знак актерской несвободы, его неуверенности и непрофессионализма. Он либо не дотягивает, либо плюсует. И то, и другое плохо. Как быть? А все очень просто. На то и существует профессия, и чуткость актера, и мера взвешенности и гармонии, чтобы остановиться и понять, где кончается ложь и начинается мастерство, а, значит, правда.

Фридрих Ницше пишет о древних греках, что они были равнодушны к красноречию, и даже «от сценической страсти требовали они красноречивости и охотно сносили неестественность драматических стихов — ведь в природе страсть столь скупа на слова! Столь нема и стеснена! ... И вот все мы, благодаря грекам, привыкли к этой искусственности на сцене...» (Ниц-

ше. Веселая наука. С.126). «Это стало, — продолжает мыслитель, — нашей потребностью... слушать, как складно и обстоятельно говорят люди в труднейших положениях; нас восхищает теперь, когда трагический герой находит еще слова, доводы, красноречивые жесты и в целом ясность ума там, где жизнь приближается к бездне и где действительный человек чаще всего теряет голову и уж во всяком случае красноречие» (Там же. С.126). Ницше называет это ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ ПРИРОДЫ. «Этот род отклонения от природы является, быть может, приятнейшим лакомством для гордости человека; из-за него-то и любит он вообще искусство, как выражение высокой, героической неестественности и конвенции» (Там же. С.127).

Как замечательно, что даже такой ум приметил несообразие сценического слова с мерой истинной правды и страсти! Однако человек (так уж он устроен) жаждет чуда, а, значит, неправды.

В потребности к неправде, к сотворению чего-то такого нового из СЕБЯ, в самой этой склонности можно заподозрить много разного: и собственное несовершенство, и инстинктивное понимание этого; и закомплексованность и желание освободиться от нее; и потребность сказать такое новое слово, которое в обычной, не сценической жизни, попросту невозможно. И человек ищет. Он идет от себя и торжествует победу, находя в занятии перевоплощения, лицедейства высший смысл и высшее удовольствие.

Приходилось много раз слышать, как большинство людей и вовсе бы не ходили бы на работу, будь на то их воля и возможность прожить без заработка. Но только не эти одержимые, не актеры. Они-то и трудятся в свое удовольствие, ибо по-другому просто не могут. Не могут обойтись без работы, без освобождения от своего истинного Я, о котором к концу жизни частенько забывают. Вот ведь парадокс: человек, изо дня в день меняющий свое Я, это же Я утрачивает, напрочь забывая, какое оно в действительности. Даже близкие люди с трудом могут докопаться до истины (если таковая

имеется) и найти, вспомнить, каким же был тот, с кем они познакомились сколько-то лет назад.

Человек, много лет подряд, ежедневно и ежечасно формирующий сплав многих Я, действительно утрачивает какую-то сущностную свою основу, более того, она ему и не кажется важной и вообще нужной, он вполне обходится без нее. Он волен и способен руководствоваться той данностью, что предлагает ему новая, все поступающая и развивающаяся жизнь. Без этого самообновления он чахнет и в действительности частенько заболевает, а порой и погибает. Актер (как правило) готов к действию перевоплощения. Он жаждет его, сознавая, интуитивно чувствуя, что без него жизнь сморщивается и теряет смысл. И потому он твердо знает, что суть всех смыслов — в каждодневном тренинге своего Я, в его изнашивании, в самообновлении и погружении снова и снова в несуществующее Я, которое лишь кажется, грезится и которое только могло бы быть. Вот за этим непознанным и отправляется актер прежде всего. Он презирает боль, недомогание, ему до всего этого нет дела: поскорее бы погрузиться в то, что само по себе способно и врачевать, и излечивать.

Недаром многие актеры заявляют, что на сцене вполне отчетливо осознают, что боль, если она и была, отступает, проходит, что сцена подобна великому лекарю, и человек с радостью погружается в это пространство исцеления от жизни, самого себя, напастей и многого из того, что составляет отнюдь не самый радужный слой существования.

Отделяет ли актер свое Я от того образа, который воплощает? И насколько? Что это за зазор между двумя персонажами: живым, существующим и выписанным на бумаге? Говорит актер Сергей Шакуров: «Я не испытываю никаких сомнений перед ролью, просто приступаю к работе и все. Начинаю искать всякие детали, фантазировать...» (из интервью актера Каналу «Культура» 21 апреля 2008г. Передача «Ночной полет» с А.Максимовым). Такая уверенность отнюдь не сродни самоуверенности и гордыне, нет, это самое что ни

на есть профессиональное качество человека, владеющего ремеслом. Шакуров убедительно сыграл в театре Сирано в пьесе «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, не приклеивая никакого длинного носа и был совершенно достоверен. Он и нас убеждал, слушателей того интервью, в том же.

Это сродни тому, как глухой композитор слышит музыку глубоко в себе, воплощает ее и совершенно неважно, слышит он ее сам или нет, есть у него недуг или нет. Главное, что он действительно ее воспроизводит. Так и с ролью. С методом вживания, который, конечно же, у всех свой и разный потому. Это несмотря на общую школу, которую заканчивают актеры, школу Станиславского. Учатся по одной методике, но воплощают свои персонажи глубоко индивидуально, пользуясь собственной манерой, системой правил, даже отступлений от норм и догм. Но — не наобум, если говорить действительно о профессионалах. У каждого есть владение своим ключиком, своим инструментом, который хранится совсем не на виду.

В дистанции от образа заключено все: и самое главное — стремление, извечное стремление человека к игре. К переиначиванию действительности; к обнаружению неких свойств, непознанных и непонятых в себе самом; попытка ответа на самый животрепещущий вопрос вообще человеческой жизни: кто я и каков я? Человеку лишь кажется, что он знает, что такое мышление, фантазия. Он способен действительно сравнить свое какое-нибудь состояние с иными, знакомыми уже состояниями, опираясь на опыт и знание. Но опыт, как он неубедителен и бесполезен, он только сковывает своим наличием возможные проявления человеческой самости, не более того. Прав Шопенгауэр, говоря, что он вряд ли чему-нибудь учит. В актерском ремесле — да, возможно, набору правил, технических совершенств инструментария, но чувство здесь остается нетронутым, оно не имеет к опыту никакого отношения. И тогда кажущаяся достоверность и известность разбиваются

об интуицию, наличие чего-то такого, что не прописано ни в опыте, ни в сознании.

Человек постигает мир, играя. Теперь это кажется очевидной истиной. Однако до 1938 года, до того, как об этом внятно и убедительно сказал Й. Хейзинга, мы лишь догадывались о влечении человека, о его непреодолимой тяге к игре. Именно в ней проявляет он себя обезоруживающе легко и вместе с тем полно. А уж об актере и говорить нечего.

Рассуждения о том, что же именно помогает актеру, порой надуманны и беспочвенны. Может оказаться действительной слабая ассоциация, намек, полутона, запах, чей-то взгляд. Но, естественно, это все дополнительные стимулы, побуждающие к созданию образа; сам же он творится по тому закону, который, словно закон о чистом небе над головой Канта, таится в каждом актере.

Актеры — дети, большие, маленькие, но именно всегда и во всем дети. И потому привязаны к каким-то своим смысловым и просто знаковым отмычкам. Например, известно, что зачастую актер не может выйти на сцену, не дотронувшись рукой до какого-нибудь заветного места. Что это, энергетический символ, некое зашифрованное напутствие? Скорей всего, и то, и другое. Но несвобода от такого рода привязок внутренне стимулирует артиста, хотя вряд ли раскрепощает и обеспечивает успех.

Человек хочет неправды, чуда и получает его в виде самых разнообразных вещей. Для актера чудо — его работа, привязанность к профессии и надежда потому на избавление от многого и многого. «Не сотвори себе кумира», — это не про него. Для него кумир — его сцена, его роль, погружение в нее, а главное — стремление через нее познать себя и мир, в котором он обретается.

Своеобразное суеверие, которое сродни продолжению игры — эти энергетические метки на сценах и за кулисами, подсказки мысли, где кончается правда и начинается выдумка. Актер же и вовсе готов пожертвовать многим для того, чтобы совсем не покидать за-

зеркалье вымысла и чуда. Он готов ради них жертвовать своей свободой, регулярно окунаясь в ее изнанку; постигать смысл загадочных превращений, связанных с искусством слова; и согласно логике философов о том, что мышление — есть действие, сопровождают свои действия сценического, да, впрочем, и вполне жизненного свойства, известной истиной, согласно которой до чуда можно добраться, либо совсем ничего не делая, либо получая его как награду.

Чувство, которое побуждает увидеть, дожидаться, ощутить чудо, сродни получению удовольствия. Именно поэтому в потребности играть как можно больше, все больше и больше постигая закрытый смысл собственных возможностей, лежит принцип УДОВОЛЬСТВИЯ. Он, в сущности, побеждает препятствия, и в этом одновременно присутствует наивное (скорее всего так) убеждение, что к удовольствию побуждает воля, интеллект, еще что-то. Быть может, стремление познать сокрытое, то, что стоит за какой-то преградой, раскрыть которую можно посредством игры. В данном случае, игры актерской.

Человек-артист множество раз за свою жизнь, претерпевая сложности непонимания другого характера, все же пытается пробиться сквозь неясности и преграды и, если уж не постичь другой характер вполне, то хотя бы приблизиться к нему. А самое главное — испытать себя, попробовать, оценить свои возможности, узнать, что еще сокрыто в запасниках.

Так и движется артист в этой своей потребности раскрыть тайну по пути к чуду. И инструментом в этом ему служит игра, ее прихоти превращения и непочатый край возможностей.

Человек-артист втайне мечтает о полной власти над ролью, отождествляет которую с победой. Ум, воля, интеллект — все это, разумеется, присутствует, но основным побудителем все же является ХОТЕНИЕ, как говорит Ницше (Так говорил Заратустра. С. 647). Мотивация — желание чуда и надежда на встречу с ним. А дальше...дальше — полет. Полет мечты, фантазии,

подчинения и...властвования. Этот процесс погружения в себя через и с помощью ДРУГОГО — самый завораживающий и увлекательный.

«В каком диковинном опрощении и фальши живет человек! Невозможно вдосталь надивиться, если когда-нибудь откроются глаза, на это чудо! Каким светлым, и свободным, и легким, и простым сделали мы все вокруг себя! Как сумели мы дать своим чувствам свободный доступ ко всему поверхностному, своему мышлению — божественную страсть к резвым скачкам и ложным заключениям! — Как ухитрились мы с самого начала сохранить свое неведение. Чтобы наслаждаться едва постижимой свободой, несомненностью, неосторожностью, неустрашимостью, веселостью жизни, чтобы наслаждаться жизнью! И только уже на этом прочном гранитном фундаменте неведения могла до сих пор возвышаться наука, воля к знанию, на фундаменте гораздо более сильной воли, воли к незнанию, к неверному, к ЛОЖНОМУ! (выделено мной, — Н.Б. Там же.С.651).

Что тут добавишь?! Ницше говорит о «складно подделанном мире» (с.652), а добавить можно осмелиться еще следующее: подделанном, но в который так неистово верится!

СКРИПИЧНОЕ СОЛО: ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ

Всякая система (если речь, конечно, идет не о государственной системе, не о социально-историческом обустройстве общества и прочих социальных символах, так или иначе сконструированных в виде системы, ложной ли, претендующей на истину), всякая система, как и определение, если оно касается анализа и композиции художественного толка, всегда проигрывают, ибо усечены, имеют границы, а, значит, обречены на провал. Почти все. Потому — долой системы и определения, будем мечтать и играть на скрипке далекий вальс воспоминаний, связанных с детством. А это всегда — о

чем-то несбывшемся, нереализованном, но всегда о том, что могло бы быть.

Речь об игре, но не актерской, а об игре ВООБРАЖЕНИЯ. Все мы попадали так или иначе в этот капкан. Как же сладостно в нем было находиться! Попробуем вспомнить.

Голоса наши, детские голоса, как бы ни были они похожи, все же различались тембром, каким-то особенным ритмом, темпом и более всего — принадлежностью к каким-либо инструментам. Да, каждый голос так или иначе напоминал какой-нибудь инструмент. Вместе-то они и создавали оркестр. Звучащий в разные времена и периоды жизни по-разному, каждый на свой лад, порой напоминая какие-то фрагменты произведений, но всегда являясь звуком отдельного инструмента.

Например, голос Вовчика очень напоминал виолончель, с ее густым, едва ли не скорбным звуком. Конечно, Вовке до настоящей скорби было далеко, он был слишком мал для страданий, но все же уже и в том возрасте начинали прорываться одному ему присущие звуки, то низкочастотные, то густые. Словно вымазанные каким-то вязким варевом. Действительно, Вовчик так и разговаривал, очень похоже на страдания виолончели. И позже, во взрослой своей жизни, он все больше использовал этот свой дар, все глубже осознавая предназначение своего голоса. Он не говорил. Он пел, и при этом низы, бархатистые и смакующие, заставляли прислушиваться даже к глупости, им изреченной, так убедительно было голосовое сообщение.

Любочкин же голос, как, впрочем, и вся ее манера поведения, манера держать себя, пластика, очень напоминала флейту, нежную и загадочную. Была в ней какая-то недоговоренность, недосказанность. То она запросто открывалась и с излишней даже откровенностью рассказывала о своих воздыхателях, о подробностях с ними отношений, то была наглухо застенута, и становилось понятно, что в свой таинственный мир она не пустит никого. Она могла, например, рассказать, что

когда ее Юсуп вернулся на побывку из армии, то они, еще учась в школе, провели с ним ночь. И она очень переживала, что, кажется, так и не была девственницей. Но, естественно, это ей так показалось и скорее всего от незнания вопроса. Однако следы той ночи остались на всем теле, ко всему прочему она еще простудилась и вызвали на дом врача. Доктор, увидя странные пятна, спросила, что это такое, на что Любочка простодушно ответила, что муж из армии приехал.

Потом Юсуп уехал снова, снова возвращался, как и она ездила к нему сначала в Иваново, где работала продавщицей, потом в Одессу, в те места, где он служил, ну а потом они поженились, и Любочка рассказывала, что счастлива была очень недолго, может быть, даже те несколько ночей, когда он впервые приехал на побывку в Ташкент. Но она все равно не испытывала неудовольствия — ни от жизни, ни от присутствия странного мужа, побывавшего ее впоследствии и оравшего, что вот выучит ее (имелся в виду институт, где Любочка училась) и выгонит. В итоге они все равно расстались, даже и родив сына Костика, которого отец по узбекской своей привычке властвовать и управлять всем и вся, взял к себе. Однако Костя вырос и стал помогать матери, заботиться о ней, даже отправил на лечение в Чехию.

А Юсуп женился вопреки своим обещаниям никогда не приближаться к русским женщинам на девушке Наташе и тоже кого-то родил.

Так вот, Любочка, имея таинственную и загадочную душу, много мечтала. И, как водится, мечтания эти касались не одного только Юсупа или замужества. С раннего детства она мечтала о музыке, о том, что станет музыкантшей. Но пианино было в ту пору чрезвычайной редкостью, которая была не по зубам и ее папе, несмотря на его службу поваром в известном ресторане. Не покупали они Любочке инструмента, так именовали пианино в те годы. И мы старательно рисовали ноты. Любочка прекрасно пела, обладала совершен-

ным слухом, поэтому нарисованные ноты никого не смущали, мелодия все равно получалась правильной.

Когда детьми мы ночами лазали за яблоками и она храбро вызывалась стоять на стреме, то даже и в голове ее сквозила эта самая флейтовая мелодичность: тоненькая и скрытная. Возвращаясь на заветное место, где предполагалось, что нас караулит верный наш друг, и друга вдруг не оказывалось, все мы хотя и были крайне растеряны, но присутствия духа не теряли, и в душе понимали, что так оно всегда и будет: Любочка будет вызываться стоять на атасе, но, не выдержав, все равно сбежит. Так уж повелось, и все к этому привыкли. Это, в конце концов, тоже было частью игры, в которую играли дети. Мы — так вот, таким образом. Но странное дело, в своей взрослой жизни Любочка умела терпеть, не вредничать, идти до конца в своих отношениях и с Юсупом, и его семейством, и потом, когда вышла замуж за русского пьющего мужика, директора завода. Она терпела его каждодневные прикладывания к бутылке, что в итоге привело его к страшному заболеванию. Она и потом выстояла все, схоронила его и продолжала светло и радостно жить. Как ей это удавалось, трудно сказать, но она никогда не была подвержена депрессиям, скуке, разным там скорбям и тоске. Она всегда взирала на мир с радостным удивлением и ... мечтая. О чем? Может быть, о музыке, о лучшей, но уже непоправимой участи, о своей любви, подлинной, настоящей, которая случилась в молодости и объект этой любви жил с нами в нашем же дворе, правда, снимая с мамой квартиру. Витька, музыкант из консерватории, был ее мукой и наградой, ее долгожданной любовью и просто жизнью. Мы, повзрослевшие уже дети, его не любили. Был он пришлым, чужим, да и вел себя соответственно: чурался нас, не шел на сближение. Он хотел видеть и видел только одно существо: свою Любу.

Поскольку стены наших квартир соединялись, было слышно, как Витька играет. Играл он, как Бог. Просто, ясно и непостижимо. В такие минуты становилось

понятно, почему Любочка выбрала именно его. Кто же еще мог захватить ее воображение!

Вот та особенность, о которой все время хотелось сказать: дети не только хором пели, играли в театр, вышивали, купались под краном, но мечтали. Постоянно, без передыха. Об окончании школы, о лете, чтоб поехать куда-нибудь, о любви, о записочках, о дворецовом театре, когда можно было бы нарядиться и воплотить свои мечты в слово, танец, в оркестр.

Была еще одна девочка, которая жила на другом конце двора, чья бабушка так благосклонно отозвалась о моих сочинениях, не поверив даже, переспросив, сама ли я их пишу. Девочку звали Ниной, и она мечтала, чтоб родилась у нее сестренка и чтобы скорей она стала физиком, как папа. А папа был знаменитым ученым, и все дети были страшно удивлены, что в его семье действительно родилась Аня. Было непонятно, как это могло быть, как позволил себе такое известный физик. Дети этого уразуметь никак не хотели. И слава Богу, потому что законами природы управляют не должности и звания, а что-то глубоко скрытое, как Любочкины тайны, как ее музыка и как танцы Аси.

Голос у Аси был разный: она могла спеть арию Кармен, потом «тоненького» «Соловья» Алябьева и потом всю жизнь еще удивлять своих учителей тем, что их знание не только о голосе разбивалось об Асину непредсказуемость. Такой она была во всем, не только в звучании своего голоса. В танцах, в готовности танцевать всегда и под любую музыку, в ее поступках в течение и детства, и всей жизни, наконец.

Ася никому не подражала и именно поэтому тоже была особенной.

И потому и мечты ее тоже были особенные. Хотя нет, впрочем, чего уж там, какие особенные? Такие же, как у всех: быть знаменитой, чтобы все знали, что есть такая Ася, чтобы мама не ругала за отметки, чтобы подольше можно было поиграть на улице и вообще... К этому «вообще» относилось многое и многое: чтобы никто не болел, чтобы в Первомай тетушки сшили бы

непрерывно новое платье, как и заведено было все-все годы, и чтобы они с Любочкой и Вовчиком пошли в парк Горького и катались на летящих лодках. И еще ловили на призы рыбок в крошечном бассейне, но так никогда и не выигрывали, а им очень этого хотелось.

Но при всем при этом жила в ней самая главная мечта, и она оживала ближе к ночи, когда Асю укладывали спать и за стеной начинала играть на своем инструменте Таня, соседка. А потом и другие постояльцы, уже после Тани. Они играли даже лучше, и ожидание сна было таким приятным временем, не то, что в последующей, уже взрослой жизни, когда сна приходилось ожидать аж до четырех утра. Но это потом, может быть, даже не из Асиной жизни, а из придуманной кем-то, наверное, злым волшебником, который невзлюбил Асю и так коварно мстил ей за ее чудесные детские ночи, за их ожидание, за прекрасный детский сон.

В своих ночных замираниях в ожидании сна Ася больше всего хотела стать настоящей балериной. А то, что у нее получится, не вызывало никаких сомнений, она твердо знала, была совершенно уверена, что мечта ее когда-нибудь, да сбудется, и она выйдет на сцену театра имени Алишера Навои, и кто-то другой, может быть, такая же маленькая девочка, как и она сейчас, замрет от радости ожидания танца, открытия занавеса, от того, чем так таинственно напоен театр. В эту мечту, связанную с театром, Ася и хотела проникнуть. Ее не пугало, что шло время, она выросла, в училище были определенные сроки для поступающих, но она всегда знала, что призвана танцевать, что это ее не только заветная мечта, но что она это может делать лучше всех, почти, как Уланова.

Ася во взрослой своей жизни после университета действительно закончила театральный вуз по двум отделениям, да еще с красным дипломом и оказалась в театре. Сыграла там много ролей, хотя одновременно была оставлена на кафедре актерского мастерства. И так и совмещала и то, и другое. Но театр постепен-

но стал отходить, уступая место работе с ребятами, с пьесами, с их изумительным разбором, который нравился Асе больше всего. И она так и осталась: в душе артисткой, а по жизни в течение почти сорока лет преподавателем. Стала профессором, но продолжала таинство театра переносить на дом, рассказывая домашним разные отрывки и играя роли сразу нескольких персонажей.

Она была разная. Могла измениться в течение какого-нибудь часа. То пела и танцевала, то начинала грустить и становилась взрослой-взрослой, совсем не маленькой девочкой с чудесными белыми косами и огромными бантами. В этих переменах она мечтала и мечтала по-настоящему, переходя из одного состояния в другое, меняя обличья и наряды, до которых всю жизнь была охотница, и разговаривая на разные голоса, мешая высокий тон с низким, используя речитатив и пение, разговорную речь и смех.

Во дворе Асю любили. Не то, чтобы она была уж слишком большой заводилой, но в ней было другое: инициатива, импровизация. Никто не мог так быстро придумать новую игру, план вечера, праздник, который совсем не обязательно совпадал с календарным. Девочка-праздник, так ее звали взрослые. И как же она во взрослой уже жизни поплатилась за свою бесшабашную, расчудесную юность и детство. Несчастья и горести сыпались на нее в виде отнюдь не золотого дождя. Она их принимала, преодолевала обстоятельства и снова начинала жить. Верить, обманываться, снова верить и любить.

Если Ася любила, то выкладывалась не просто наизнанку, но до самых потрохов, до глубины души, до самого нутра. Кто-то это ценил, кто-то этим бросался, и так Ася жила, не очень надеясь на справедливое распределение наград в жизни. Просто иначе жить она не могла. И в этом было ее счастье. Особенное. Потому что она продолжала мечтать. И даже в вечерних разговорах с мужем, усаживаясь на диване или зазывая

его из кухни, она говорила, что пришло время помечтать. И делала это со страстью и вдохновенно.

Ах, Господи, сколько же сделано было ошибок на пути к воплощению этой своей мечты. Или многих и многих из них! Чего стоило желание уехать, освободиться от опеки мамы и стать самостоятельной во всех отношениях! Для этого, как минимум, требовалось одно: выписаться из города и переехать куда-нибудь в другое место. Подальше от дома. Господи, чего стоила эта затея!

Подальше от дома не было ровным счетом никого. Нашлась только незнакомая бабушка в городе Саратове, жившая всю жизнь одна и на дух не переносившая никого, так, по крайней мере, о ней говорили. Была она свекровью дорогой тети Нины, актрисой, живущей и по сей день в Доме ветеранов сцены в Санкт-Петербурге. Туда и решено было отправить меня (да, да, Асю). Вернее, уступить настойчивым моим просьбам и умолениям. Я так хотела пожить подальше от мамы. Ужасно ее любила, но всю жизнь испытывала необъяснимый страх перед нею. Боялась и ждала, в каком настроении она придет с работы; что мне достанется за тройку в школе; за опоздание с улицы и т.д. и т.д. Иногда мне казалось, что мама не спит и ее больше нет, что она не проснется, и страшный, ползучий, почти и правда,двигающийся по телу ужас шевелился на мне, включая волосы и вообще все внутренности. Но я лежала молча и только смотрела, правда ли мама спит или... В этом «или» было столько страшного и притягательного одновременно. Вряд ли кто из взрослых признается в детских своих мечтах и страхах, связанных как с ужасом и правда потерять мать и с искушением увидеть, что это такое. Но не насовсем, а потом все вернуть назад, как в волшебной сказке.

Да, страшно, страшно, что такие мысли вообще посещали, но что же делать, так устроена детская психика, которая жаждет не только и не столько даже страхов, а испытаний на прочность и на чудеса. Страсть к чудесному обескураживает и завораживает, она непре-

одолима. Ведь не смерти же в конце концов желал ребенок своей маме, а только попытки проникнуть за пределы чего-то такого, что было неизвестно. Да, а потом снова вернуть все на свои места, потому что перемены вообще страшны, к ним трудно привыкнуть. Они больно бьют.

Так оказалось, когда Асе было пять лет, что папа, любимый, замечательный папа, вдруг перестал появляться дома. И все вопросы гасились сначала о неопределенные ответы мамы, его сестер, знакомых. Потом отсутствие дорогого человека стало беспокоить и мучить, и только спустя много-много времени пришло понимание, что теперь так и будет, что он, папа, уже не вернется домой, что его НЕТ. Вот это постепенное осознание страшного больно хлестало по неокрепшей психике девочки, по ее уверенности, убежденности, что папа и мама будут всегда. Что этот мир, где есть они оба, стоять будет незыблемо и вечно. И тут что-то хрустнуло, и непогрешимая твердость и незыблемость стали рушиться.

А потом настало другое время, в котором осталась только мама, твердая и сильная, ставшая еще более сильной за папу и за его отсутствие. Мама много работала, больше, чем надо, наверное, и это сказало и на характере, и на отношении к девочке, требовательном и бескомпромиссном.

И все-таки мама была очень хорошая. Главное — любимая и самая, самая родная. Это стало пониматься еще позже, совсем, наверное, поздно, когда ее не стало. И началось трудное, больное время. Действительно больное, открытое всем болезням, каких никогда в помине не было. Но самым печальным было все более укрепляющееся осознание того, что уже ничего никогда не вернуть и что это и есть настоящая жизнь теперь с ее утратами. И с главной ее утратой: уходом мамы. Она так мучительно болела и была такой мужественной. Вот где пригодилась ее мужественность и стойкость, умение переносить боль, тяготы и многие сложности.

Когда-нибудь об этом можно будет написать и подробнее, и бесстрашней. Наверное. Но не теперь. Сейчас все еще больно. Мама была всем. И как же можно было не понимать, когда она укоряла, говоря, что вот потом будешь мучиться из-за своей неправоты, но будет поздно. Так и вышло: и осознание собственной неправоты, и понимание ошибок, грубости, невнимания. Но правда ведь: поздно. Уже ничего не вернуть. Ничем, никакими усилиями! Так все теперь и будет, жизнь без мамы, без возможности в 9 утра позвонить, выпросить обо всем и все-все рассказать свое. Не будет. Осталась могила за городом, куда можно ездить и только там успокаиваться, разговаривая и рассказывая о последних событиях. Как это страшно все-таки, эти потери: муж, потом мама. До этого, далеко-далеко, в детстве — папа. И так следом: бабушка, близкие друзья мамы, старые, но все же друзья. Ничего нет страшнее ухода человека — банальная эта вещь ранит более всего.

А все же временами все еще хочется петь. Сильно, во весь голос. И вспоминать голоса подружек, Вовчика, всех тех, кто так или иначе, но умещался на дереве, кто купался во дворе под струей воды и катался на воротах; кто так или иначе остался неизгладимой светлой мелодией на многие голоса, мелодией детства.

К счастью, многие состоялись и стали прекрасными людьми, вернее, развились в прекрасных людей. Любочка, Нинка, Вовчик. Девочки из школы, Рита и Лена. Но как они теперь все далеко. И нет возможности встретиться, повидаться, просто прилететь и поговорить. Теперь это нереально по многим причинам, одна из которых все тот же страх перед расстояниями, перелетами, переменой мест, отрывом от дома. Нежеланием и ленью что-то менять в своей жизни. Так эта инерция захватывает все больше, плотнее, выставляя свои права, окутывая паутиной лени и пониманием того, что только так теперь и будет: без друзей детства, с одними воспоминаниями о нем и о них.

ПО ТУ СТОРОНУ

«Каждый избранный человек инстинктивно стремится к своему замку и тайному убежищу, где он ИЗБАВЛЯЕТСЯ от толпы, от многих, от большинства, где он может забыть правило «человек» как его исключение, за исключением одного случая, когда еще более сильный инстинкт наталкивает его на это правило, как познающего в обширном и исключительном смысле». (Ницше. «По ту сторону добра и зла» — с. 653).

Тайное убежище — вот в чем дело. Замок — еще лучше. Но как, каким образом? Как добраться до них? Заслужить? А можно в любых условиях, без явного намека на замок, но — отстраненно, тем не менее. И свободно от толпы и БОЛЬШИНСТВА. Как же это удручает, «большинство».

Мечтает ли большинство или только кажется, что все происходит в жизни, как у всех? Мечтают все или только избранные? Наверное, все, только тематика отступлений от реальности разная. В этом, пожалуй, все дело. И прав снова Ницше, говоря, что независимость — удел немногих: это преимущество сильных? Это он, Ницше, ставит знак вопроса. Сомневается? Но ведь так и есть: удел именно сильных. А их и в самом деле немного.

Но это так, привязка. Речь ведь не о сильных, а о мечтателях. Тех, кто живет по одну сторону того же добра, и других: у них своя сторона.

Люди творчества далеко не всегда сильные и независимые. Некоторую независимость дает им их творчество, произведения, которые они создают, тот процесс времени, в котором это происходит. Вот тогда они по-настоящему свободны. Заканчивается этот процесс, уходит то особое состояние, которое одолевает человека-творца в момент созидания, и он снова, как и любой другой, становится подвержен слабостям, самодействию, мнительности. А эти качества весьма далеки от силы и подлинной независимости.

Сочиняя музыку, многие композиторы признаются,

что ощущение реальности словно покидает их и они погружаются в некую иную реальность, трудно называемую атмосферу фантазии, вымысла и еще чего-то такого, чему не найдено определения. Ведь ясно, что художник творит по каким-то иным законам, не подвластным пока выверенным расчетам и обозначениям. Как тот актер, который сознает, что он не Отелло и именно поэтому не душит Дездемону и всячески дает понять, что душит женщину, находясь на сцене. Совмещение реального и половинчатого от него, вымысла, помноженного на игру воображения и фантазию, дает в сумме необычный результат. И дело не в том, чтобы найти и закрепить это название, скорее в том, чтобы точно понять, что это за процесс и чем он инициируется. Как воплощается, реализуется?

Зло и добро являются той разделительной линией, которая отсылает к той, иной стороне, где нет абсолютного добра и зла, но есть лишь то, что отстоит от них. Черта, что составляет ее, где она начинается и для чего вообще-то служит? Почему опять-таки в разделении или отделении можно наметить черты и свойства истинного? Разве само смешение не приносит подлинного, реального результата? Что за чертой, за этой разделительной линией, само назначение которой и противоречиво и сомнительно? Ибо только в смешении и порой в неразберихе способно вышестоваться нечто оригинальное и не стоящее в очередь по ранжиру?

Разве возможно измерить циркулем, линейкой все превращения человеческого духа, естества, физического состояния тела при совершении творческого акта, будь то написание картины или актерская игра, но где так или иначе присутствует вымысел и не учтенная реальность? Ну, разве что пульс, биение сердца, давление, да и то — это весьма приблизительные показатели, не вмещающиеся в четкую структуру. Не они — показатель. А лишь сам результат деятельности, сам процесс и оказывается тем, что можно отнести НА ДРУГУЮ СТОРОНУ. Он не поддается сложению и

дроблению, он весь — парадокс, неправда, отступление от правил, он весь — нарушение канона и истины.

Воображая себя королевой и указывая детским пальчиком на красивую женщину со словами «Это я!», ребенок невольно проецирует себя на изображение, отталкиваясь не только от красоты объекта, но и придавая ему вымышленные, мгновенно проступающие в детском воображении черты, качества. Наделяя объект всеми совершенными данными, ребенок осуществляет акт двойного порядка: а) переоценки собственной личности, полагая априори, что она и впрямь несовершенна, коль есть лучше и прекраснее; и б) позиционирует себя как раскрепощенная личность, готовая и способная к ИГРЕ, а, стало быть, к перевоплощению. Ибо в игре всегда присутствует, вольно или нет, именно оно, перевоплощение.

Играя в догонялки и поддавки, дети сразу же присваивают себе роли, распределяя их самым выразительным образом: слабый убегает, сильный настигает. И даже в подобной игре уже заключен, присутствует конфликт: кто кого? Кто победит, или иначе, кто окажется сиднее?

В переходе «НА ТУ СТОРОНУ» решающим условием становится наличие игры с очерченными, прописанными правилами или теми, которые только подразумеваются, но известны каждому.

Например, влюбленные. Они движутся к своей цели (а цель всегда одна: завоевание другого), по своим тропинкам и дорогам, но несколько незыблемых правил сопутствуют и им в их играх, обойти которые не удавалось никому. Это, прежде всего, процесс самого завоевания. Он всегда разный и всегда сопровождается сомнениями, неуверенностью, теми атрибутами психологической неустойчивости, которые к моменту покорения почти всегда устраняются. Покоряется ли женщина (классическая линия), завоевывается ли мужчина, но общим является процесс прохождения сумятицы, сомнений, неверия, стремления ускорить процесс, ведущий к победе. Вторым очевидным моментом яв-

ляется сама потребность в испытании, неосознаваемая человеком. Некоторые препятствия, большие и малые, становятся поводом к укреплению взаимосвязи двух людей. И третий момент связан с подменой ролевых начал, когда линия первенства или приоритета одного над многими, над ВСЕМИ переходит попеременно от одного к другому. Когда меняются местами не сами мужчина и женщина, но их ключевые потребности: игра в догонялки, или грубее — кто кого — становится решающей в достижении этой вершины. Пирамида, складывающаяся из трех уровней, все равно покоряется, даже если происходит полнейший разрыв связей; люди же, тем не менее, успевают пройти все этапы, означающие ПРОЦЕСС. Другое дело, что результат не всегда удовлетворяет, он не всегда заканчивается свадьбой, люди расстаются, но обойти этапы процесса не удается никому.

Отношения, сопровождающиеся самыми глубокими и искренними чувствами, так или иначе освещены ИГРОЙ, ее правилами и установками. Перетягивание каната и в этом случае имеет место. Влюбленные далеко не всегда довольствуются ролями покорно идущих к своей цели людей. Бунт, конфликт, как непреложное условие взаимодействия всякой пары, вовсе не является чем-то противоречащим нормальным отношениям; он — лишь условие существования и развития отношений, без него люди останавливаются и топчутся на месте. Именно его стертость, желание избежать его во что бы то ни стало, зачастую и становится тем условием, которое разрушает отношения. Ни обойти, ни спрятаться от законов как природы, так и психологических особенностей взаимодействия людей, невозможно. Никогда положительный результат не будет достигнут. Стало быть, бояться конфликтов не только не стоит, но напротив, стоит их желать.

Как мастерски выписывает подобный конфликт Антон Павлович Чехов, то сближая в «Чайке» Аркадину и писателя Тригорина, то наделяя ее властью и не-

жностью, то разводя их по разные стороны, где в итоге Тригорин одерживает формальную победу (не теперь, в будущем пространстве происходящего): он не остается с Аркадиной, предпочтя ей молодую Нину Заречную. Но в том периоде времени, когда два человека находятся в любовной связи, то одному, то другому удается стать ведущим в паре. Сдается Тригорин, подчиняясь женщине и готовясь покинуть ее, уехать. То она, расставляя силки своих сетей, вновь отказывается от скоропалительного отъезда, нарочно провоцируя мужчину противоречить ей. И так — во всей отведенной Чеховым партитуре ролей: усиливается один голос, слабеет другой и — наоборот. Но и тот, и другой вознамерились все же победить, причем, любой ценой: здоровьем сына, писательским затворничеством — неважно, главное условие взаимодействия в этом союзе — не уступить ни пяди из собственных завоеваний психологического, тактического порядка. А если они и случаются, то оказываются ложными, вымышленными, насквозь построенными лишь на иллюзии любви и верности.

ИГРА В ПРОСТРАНСТВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Взаимосвязь и взаимозависимость цепи смыслов и бессмыслиц обуславливают наличие фантазии. Фантазия не бывает запоздалой, ее нельзя отменить. В самом деле, разве всегда ход нашей фантазии строго последователен и регламентирован? Напротив, характерная их черта — это отсутствие строгой последовательности, наличие хаотических образов, где часто присутствует один, доминирующий. Он-то и может перекрывать все остальные. Что-то похожее на сверхзадачу, где все другие, очередные — звенья этой процессии — подчинены именно одной, главной.

Так и в фантазии: есть главенствующая, а есть очередные, располагающиеся отнюдь не в очередной последовательности, а вразброс, наплывая одна на другую,

наслаиваясь, множась, распространяясь и таким образом вытесняя все реальные смыслы.

Фантазия и жиждется на вымысле и отступлении от действительности. Просто фантазия предполагает ПРЕДВИДЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВУ, в которых ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ связывается с желанием себя предусмотреть.

Порой при работе над ролью у актеров возникает вопрос (часто у начинающих артистов, еще чаще — у студентов театральных вузов) : так что впереди, мысль, идея или эмоция? И как установить очередность?

И впрямь трудно. Ибо достигается эта очередность подчас при весьма странных обстоятельствах, которые и являются определяющими, как-то: ассоциация, аналогия с чем-то и кем-то; отождествление себя с образом, который предстоит воплощать и т.д. и т.д. Именно цепь весьма незначительных, случайных, ассоциативных начал приводят к началу творческого процесса, где фантазии отведена первостепенная роль.

Игра что по эту, что по ту сторону сопровождает нашу жизнь. Дети ли, актеры, игры во дворе, или любовные — все они содержат одну общую особенность: непроизвольно игра настраивает на раскрепощение и освобождение, в ней содержится некая сублимация любви к себе и настроения на позитив. Сознательно или нет, добровольно и не отдавая себе в этом отчета, но игра непременно выводит на иной уровень свободы, предлагая другие ее степени. Играя конкретную роль в театре, актер тренирует свое ЭГО, вытесняя сковывающие его комплексы и надежды, желания и потребности. Причем самого разного свойства. Эмоционально закомплексованные и несдержанные и, наоборот, раздраженные и запахнутые на массу пуговиц, — их всех излечивает театр (любой другой вид искусства), предлагая взгляд на себя со стороны и предлагая также решение неразрешимых проблем. Через что и посредством чего? Через игру, через свод правил, которые столь же зыбки и только называются системой, также легко опровергая саму систему и всякие прави-

ла. Но они есть в каждой театральной школе — почти написанные с чистого листа и только роль главного дирижера всего и вся способна истолковывать замысел, что сподвигает к игре, неся свободу и завораживая жаждой освобождения. Прежде всего — от себя, своих страхов и противоречий, раскогласования с жизнью и неуверенностью перед нею.

Команда в одиннадцать человек, неистово носящаяся по полю с мячом у ног, только вводит в заблуждение якобы свободой построения и отсутствием четких правил. Они есть, и каждый игрок на футбольном поле исполняет свою роль. Всякое отступление от нее чревато голом, потерями, даже травмами. Внутри ролей и мизансцен — свободная импровизация. Почти как на сцене. Четкий текст, но весьма приветствуется импровизация, то есть самостоятельное, выражено индивидуально истолкование как самих мизансцен, так и главным образом текста, его смыслов, его действенной линии, его сверхзадачи и внутренних линий.

Однако в плане и роли лежит все же представление о том, как и что должно быть. И лишь потом — импровизация и свободное парение в заданных рамках. ПРОСТРАНСТВО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ о чем-либо может быть сколько угодно обширным и лишенным на первый взгляд границ. И тем не менее в нем, в представлении кроется самый важный, самый сокровенный импульс, отсчет того, с чего начинается исполнение и реализация. И потому представление является весьма уникальным локальным актом. В нем сосредоточено уединение. И только акт искусства способен нарушить это уединение. То есть тогда, когда внутреннее, глубоко индивидуальное представление начинает реализовываться, становясь актом видимым и покидающим свое уединение. В пространстве представлений скрыто много метафор, ибо не склонен человек думать и предствлять длинными речевыми периодами, он мыслит метафорами. В «ДУМАТЬ» больше сосредоточено действия, нежели в представлении, где решаю-

щами становятся оговорки, поспешание за воображением, осуществление фантазии.

Человек реализует свои представления как в конкретных актах искусства (картине, фильме, спектакле и т.д.), так и в том, что представляется уже другому, третьему лицу. Человек так и пребывает в завораживающем заблуждении: он лишь мнит, что так должно быть, что так, как рисует предмет его фантазия, и скрыта реальность. Но от представления о чем-либо до реального очертания и объективно существующего объекта — огромная дистанция. Напоенная вымыслом и воображением, реальность весьма отличается от первоначально заданного образа, сотворяемого в фантазии, существующей лишь в воображении.

Представление реализует себя с разных сторон и может рассматриваться с трех различных точек зрения. Все они так или иначе связаны с РАСХОЖДЕНИЕМ. Первая — с расхождением между образом, порождаемым фантазией, и самим объектом в реальности; вторая — между словесным его описанием и снова с тем, что являет собой реальность; третья — между видимым образом и опять-таки реально существующим.

Примеры, наиболее наглядно демонстрирующие эти расхождения, главным образом представлены в области искусства. В изобразительном — это автопортреты, где собственное представление живописца о себе самом становится отправной точкой в объемном представлении о нем лично, о его методе, взгляде на действительность. Так, «Автопортрет» Дюрера (как говорят современники художника) во многом отличается от реального человека. Однако художник намеренно укрупняет, акцентирует некоторые черты во внешности, дабы усилить общее представление о себе как о характере волевом и бескомпромиссном. Однако следует другой вопрос: быть может, он запечатлел именно то, что известно только ему и что скрыто от других глаз? В написанном Рембрандтом полотне с Саскией много сходства (опять-таки по утверждениям очевидцев) с женой художника, но реальный образ самого

мужчины весьма далек от реального. Таков ли он в его представлении или это результат воображения? Совпадает ли полностью изображаемый предмет с его реальным прототипом? Не наступает ли в таком случае, когда вымышленный образ весьма далек от его обладателя, саморазрушения? И реальна ли такая угроза? А, может быть, напротив, происходит укрепление собственных представлений о собственной же личности и становится более отчетливой и внятной сама реальность именно при попытке запечатлеть правильный или неправильный, но свой образ?

Это имеет отношение не только к собственным запечатлениям, но и к фиксации любых жизненных процессов, переведенных в плоскость искусства. Любой артакт так или иначе прежде всего представляет самого человека; его представление о мире и собственной индивидуальности. Благодаря такой совокупности представлений, реальность выступает в наиболее компактном и целостном виде. Ведь трансцендентное сознание отчасти заменяется, а отчасти вытесняется конкретной жизненной формой. Потенциалом выступает та самая разделительная линия, которая обозначает если не впрямую конфликт, но противоречие, свидетельствующее о разнице представлений индивида о себе самом, о действительности, и появляется возможность отнести такое противоречие как раз по другую сторону. Неважно, добра или зла, но именно по другую. И все же синтез, который рождает сознание, становится явной его заслугой. И тогда емкость, в основе которой хотя и лежит противоречие, наиболее полно демонстрирует унифицированный образ действительности.

ВЫМЫШЛЕННОЕ Я И РЕАЛЬНОЕ

Изложенное выше позволяет поставить вопрос о том, насколько вообще продуктивно ставить вопрос о реальности собственного Я, его функционировании и связи с действительностью. Так ли на самом деле важно, что мнит, думает, мыслит о себе человек, переводя свой

образ (посредством автопортрета или любого другого авторского арт-проявления) во вне? Важным при этом будет не только и даже не столько собственное суждение или оценка, но этот акт представления, когда мнение, интерпретация, роль другого зрителя, слушателя станет определяющим. Когда вариации на тему «что есть этот арт-объект, как он мыслится, что несет, о чем свидетельствует», станет приоритетным. Постулирование себя посредством отчуждения от собственного Я явится квинтэссенцией человеческого самовыражения.

Понятное дело, что мы намеренно сужаем круг рассматриваемого: речь идет более всего об искусстве, литературе, где подобное приложение человеческого Я наиболее наглядно и показательно. Однако примеры из обыденной жизни лишь расширяют палитру рассматриваемой темы. Все мы были детьми, все играли, представляя себя и другого в той или иной роли, ипостаси, все наделяли себя и другого рядом качеств, которыми не обладали, все пытались идентифицировать себя с тем, кто особенно казался привлекательным, и все, хотели того или нет, овладевали ролями, написанными собственноручно, а точнее, собственномысленно. Так, как подсказывала фантазия и где было задействовано представление, которое рождало затем следующий этап того же представления, но уже трансформированного, перевоплощенного. Рождался спектакль, создавалась выставка, писался чей-то портрет, звучала сочиненная мелодия и т.д. и т.д.

Воплощение себя в чем-то имеет древние корни и прямо восходит к Аристотелю с его мимесисом. Подражание, замещение, повтор чего-то, но в преображенном виде издревле занимало умы мыслителей. И в XX веке западные философы особенно подробно исследовали сущее и бытие, а также все, что так или иначе связано с внутренним Я человека.

Гадамер, например, говорит, что «действительность всегда предстает на фоне будущего, где находятся желанные ..., но в любом случае неопределившиеся возможности....В тех случаях, когда действительность по-

нимается как игра, на первый план выступает действительность игры, которую мы обозначаем как игру искусства. Бытие всяческой игры — это всегда искупление, чистое выполнение, «энергия», цель которой заключена в ней самой. Мир произведения искусства, в котором игра... на деле представляет целиком и полностью преображенный мир, по отношению к которому всякий может узнать, «как на самом деле». (Х.-Г. Гадамер. Истина и метод. С.159).

Представление — а оно и является ничем иным, как игрою, — становится законченным, абсолютным «событием» искусства. Другое дело, что сотворяют его «пришельцы», те с изрядной долей сумасшедшинки люди, для которых погружение в процесс сочинительства, помещение себя в мир фантазии — дело естественное и органичное. Такой естественный процесс, как сотворение искусства, подчинен многим законам, часть которых — вне нашего понимания и рационалистического объяснения. Однако есть все же нечто такое, что способно приоткрыть завесу над тайнами создания произведений. Это — так называемые колебания, которые сооставляют суть поэтического, музыкального творчества. Это те ритмы, амплитуды движения, соотношение и соразмерность частей целого, которые обуславливают гармонию. Совершенное стихотворение всегда гармонично, оно имеет тот ритм, размер, ту частоту колебаний, которые совпадают с фазами колебаний самого мира, его движений, амплитуд. Гении всегда слышат космос, слышат этот раскачивающийся мир, умеют настраиваться на «земной» камертон, помогающий «считывать» космическую информацию.

Условные эти обозначения всего лишь способ, попытка проникнуть за грань, где совершается то самое действие, которое впоследствии мы и назовем произведением искусства. Эти ритмы стихий, бушующие повсюду, слышны только отдельным людям, чья способность улавливать их относит их далеко от обычно слышащих граждан. Музыкальный размер великих классических произведений (Моцарта, Баха, Бетхове-

на) имеет общую гармонию с гармонией Солнечной системы, с гармонией биологических ритмов, с общими математическими закономерностями и физическими постоянными, которые руководят развитием Вселенной. Таких, как константа тонкой структуры, константа Великого объединения, постоянной Планка. Физические закономерности, те, что движут миром, во многом определяют закономерности, причинно-следственные связи в создании ритмически организованных произведений.

Так, даже театральная постановка, сознает это режиссер или нет, тоже подчинен внутренней гармоничной, циклической природе. Сбой одного ритма тут же приводит к смещениям в других местах постановки. Движение в театральном пространстве утрачивает связь частей, создаются незаполненные пустоты, ритм становится рваным, и прекращается та стройность и выверенность повествования сценического, которыми отмечены выдающиеся постановки, такие, к примеру, как «Соло для часов с боем» во МХАТе, «Юнона» и «Авось» в Ленком, «Старомодная комедия» на Малой Бронной, «Синяя птица» в раннем МХАТе. Таких спектаклей много. Не задумываясь специально, конечно, о всяких там космических ритмах, талантливые режиссеры создают такое поле взаимодействия своего пространства, где все части — актеры, зрители и то, третье, что существует в виде атмосферы, ауры спектакля, — непременно проступают, прочитываются и воспринимаются. Это такие драгоценные россыпи опыта, который дает плоды и остается в памяти потомков долгое-долгое время. Но то, что режиссер непременно способен слышать нечто такое, что одного его и сподвигает на результат, — непременно. То ли это действительно информация космического порядка, помноженная на верный расчет, то ли то и другое вместе, но ясно одно: далеко не каждому открывается тайна, способная приоткрыть занавес и увидеть почти космическое зрелище. И неважно, Гоголь ли это в Ленком или он же, но другого режиссера в театре им. Ермоловой, Или Та-

ганка 60-70-х с Высоцким, которые слышали колеблющийся мир социума, взяли и перенесли его на подмостки, — это тайна, разгадать которую очень хочется, она манит и подтверждает простую и естественную мысль о том, что есть великие провидцы, такие, как Лермонтов, Бетховен, Чайковский, способные слышать свое из почти что пустоты. Слышать и закреплять эти звуки, символы, ритмы.

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ...

Как часто наши рассказы начинаются именно с этих слов «представьте себе». Мы словно смычком, дирижерской или просто волшебной палочкой стремимся создать в воображении человека то, о чем только вознамерились рассказать. Мы говорим, быть может, самые простые, незамысловатые вещи, но в сознании, в фантазии человека возникают ОБРАЗЫ, которые-то и сотворяют впоследствии свое нужное дело. Мы можем этой палочкой заставить вообразить себя кем-то и даже чем-то, перенестись в какое угодно время, которое нам совершенно неизвестно; можем предстать себя другим человеком, животным, даже вещью — это совсем неважно; важно то, как, каким образом действует этот механизм перевоплощения себя в кого-то или во что-то другое. Процесс замещения своего настоящего Я сопровождается всегда движением фантазии, работой воображения, нетривиальным подходом к воображаемому образу.

Наиболее полное и законченное воплощение процесс перевоплощения получил в трудах К.С. Станиславского, в частности, в «Работе актера над собой». Это спустя десятилетия после написания книги многие ее положения, выводы, сам метод оказался востребованным не только в актерской профессии, но и в психологии, в НЛП-практиках, в других ответвлениях психологии и психиатрии. Человеку предлагается прежде всего отойти от себя самого, представив кого-то другого. С другим набором черт характера, свойств личности; с ины-

ми манерами, способом общения и т.д. и т. п. И испытуемый идет на эксперимент. Если это рабочая программа по мастерству актера — это один принцип и механизм подхода; в медицинской практике — несколько отличный, но неизменным остается одно — это «представьте себе». В таком послыле — и освобождение от многих связывающих тягот, пут, просто бремени проблем; в нем — призыв не просто воплотиться в кого-то другого на время, но призыв более важный: увидеть, обнаружить тот потенциал, который до поры-до времени оказывался скрыт для человека. Потенциал собственных возможностей, умений, талантов. Потенциал оздоровления, наконец.

Призыв «представьте себе» содержит мощный оптимизирующий заряд: человеку только кажется, что он все о себе знает, что сам себе он хорошо известен. И он в какой-то мере не ошибается: он наперед знает свои возможные (весьма условно и приблизительно, однако) реакции, свой ответ на какой-то раздражитель. Но стоит человеку предложить отвлечься от самого себя, определив другое лицо, как то известное, что казалось устоявшимся и неизменным, отходит на задний план и человек начинает думать и реагировать более освобожденно и раскованно. Он отступает от власти стереотипов, охотно принимая правила игры, главное в которой — не бояться и сделать шаг пока еще в неведомое, в неизвестное.

Это вовсе не означает, что озвученная команда действительно освобождает человека от своих прежних комплексов, что принимает он обличье другого органично и безукоризненно. Совсем нет. Но попытка совершить этот акт, пробравшись в неведомое, — самое увлекательное в этой игре-поиске, игре-постижении чего-то нового в себе самом. Это и поиск нового, и возможность освободиться от многих комплексов самым простым путем: желанием увидеть их как бы со стороны. А роль другого позволяет сделать это.

Посмотрите, как охотно идут на подобный эксперимент дети. Стоит раскрыть книгу про королей и прин-

цесс, как они тут же выбирают себе понравившийся образ, говоря при этом: «Это я!» И как заманчиво поэтому для них театр: они-то и вести начинают себя в соответствии с тем представлением, которое рождается при вхождении в образ, и говорить, меняется ритм их походки, манера держать себя и проч. Если у взрослых этот процесс обусловлен хотя бы опытом и памятью о виденном, прочитанном, то у детей механизм вхождения иной: они не читали, естественно, ничего про королей; что-то, может, отдаленно слышали из сказок взрослых, но умение представлять и у них оказывается способно создать определенный образ. Образ, который они наделяют теми чертами, которые им кажутся наиболее достоверными, правдивыми. Более приближенными к тому, с какими они хотят слиться, какой образ исполнить.

Дети действительно любят играть, а в театр — тем более. В этом непроизвольном акте ухода от действительности, от себя, известного, для них содержится увлекательное путешествие в неведомое. Более того, среди них всегда найдется режиссер, который еще и распределит по ролям то, что нужно сыграть. Это доставляет особую радость: дети любят руководить.

Вот характерный пример на эту тему.

Во дворе дома несколько девочек и один мальчик. Главная, Юля, руководит всей командой. «Ты будешь одной сестрой, ты — другой. А ты — мамой их. Золушкой буду я, — говорит Юля, твердо зная о предстоящем впереди перевоплощении. Но одна девочка возражает: «Нет, я тоже хочу быть Золушкой, я тоже хочу надеть красивое платье и поехать на бал». — «Да поедешь, ты же сестра ее, а они все едут вместе с мамой». Но девочка недовольна, где-то в глубине души осознавая, чувствуя, что с сестрой что-то не так, недобрая она, а Золушка хорошая. И всем хочется быть хорошими — вот что важно. Только однажды за многие годы практической работы с детьми мне пришлось наблюдать необычный случай. Тогда девочка, когда шли репетиции «Короля Лира», сказала, что хочет быть ведь-

мой, что ей нравится все страшное, и она даже может научить этому страшному: как петь, как двигаться и даже как смотреть. Было что-то такое в ее характере, что требовало выхода, что с неистовой силою рвалось наружу, вот она и выбрала этих ведьм и их встречу ночью.

Многие дети хотят страшного: рассказов, сказок, всяческих историй. Но вот воплощаться в страшных, злых существ не хочет почти никто. Это весьма показательный пример, говорящий об очень простом: каждый человек, маленький в особенности, хочет быть причастным к совершенному, к идеальному образу.

Механизм ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ известен и подробно описан Станиславским в его работах. Главным является представить себя в предлагаемых (по Станиславскому — в предполагаемых) обстоятельствах. Этот образ другого можно увидеть целиком и полностью сразу, не дробя его, и тогда метод больше будет иметь отношение к системе Михаила Чехова, а можно (что, кстати, и распространено в современных практиках НЛП значительно объемнее) именно по Станиславскому: путем постепенного, последовательного погружения в обстоятельства, окружающие человека, в его жизнь, в его предисторию, характер, связи, знакомства и т.д. и т. д.

Этюды — главный метод, инструмент работы в актерских школах, построены главным образом на этом принципе, принципе погружения человека в новые, не СВОИ обстоятельства жизни. И задача его в том, чтобы представить себя в этих новых, необычных (или знакомых) обстоятельствах. На этом держится, выстраивается весь путь к роли у профессиональных актеров. На этом же выстраивается тропинка к знакомству с собой другим, не похожим на себя известного. Помощник один — предлагаемые обстоятельства и умение, и желание представить себя в них.

Однажды на актерском отделении произошел показательный случай. Дано было задание: девушка, попавшая в тюрьму, и охранник. Ей необходимо выбрать-

ся, ему — не отпустить. Понятное дело, что оба никогда не бывали в подобной ситуации. Предлагалось представить, вообразить ее и действовать согласно этому: уйти во что бы то ни стало из застенка. Задача была определена, но это была сверхзадача. А были еще очередные. Порой прямо противоположные, опровергающие основную стратегию замысла: можно было пойти на попятную, попросту обмануть охранника. Пообещать что-то, посулить, можно было многое придумать. Но исполнительница нашла неожиданный ход: она постепенно влюблялась в сторожившего ее парня, заражая и его своим чувством. Он тоже проходил целый ряд этапов: не слышал, не откликался, отвергал предложенное. Затем начинал проявлять интерес, вслушиваться в ее слова, рассматривать ее, проникаться ее проблемой, а впоследствии и... Девушка действовала так убедительно, так настойчиво и так искусно, что постепенно чувства охранника стали тоже меняться и он в какой-то момент дрогнул. На это потребовалось время, но длиннот в их исполнении не было, была динамика разворачивающегося поединка, экспрессия и следование главной задаче: любым путем выйти из заключения.

И девушка оказалась сильнее: изощреннее, терпеливее. Она меняла тактику, и это было самое убедительное в поединке. В итоге случилось то, чего никто, даже и исполнители, не ожидали от себя: они обнялись, девушка расплакалась, и они оба ушли из злополучного заключения.

Сила веры в предлагаемые обстоятельства оказалась так сильна, умение представить себя в них оказалось таким настойчивым и выразительным, что импровизационный ход, использованный ими, был более, чем убедителен.

В медицинской практике не раз описывались случаи, когда человек, используя метод погружения в предлагаемые обстоятельства и представления себя другим, избавлялся от какой-нибудь болезни или же использовал такой опыт для познания скрытых своих возмож-

ностей. Тот самый потенциал, который неизвестен человеку и порой бывает самым неожиданным, выявляется именно при таком методе. Любой вид творческой деятельности, в большей мере, конечно, акт искусства, приближает человека к этому порогу высоты, ее завоевания и постижения смысла: самим процессом творчества человек познает не только действительность, но прежде всего самого себя, свои возможности, резервы, скрытые стороны.

Произведение, создаваемое художником, порой начинает существовать словно раздельно от его творца, развиваясь уже по законам, которые установил сам художник. И тогда, например, у Гоголя случается приступ печеночной колики в момент работы над «Мертвыми душами», Пушкин восклицает: «Ай, да Пушкин, ай, да сукин сын!», словно поражаясь тому, как это все выстроилось в его «Евгении Онегине», как все образовалось. И Толстой тоже вторит им, говоря, что Наташа Ростова — это и есть он. Таких примеров множество, и они лишь подтверждают простую мысль о том, что представление о чем-либо ведет и человека, и творца, художника вглубь по своим тропам и дорогам, высвобождая неведанное ему самому, выворачивая его наизнанку, освобождаясь при этом от многого и многого, познавая себя и раскрывая в себе неизвестные черты, свойства.

Представление играет в нашей жизни огромную роль. И это не преувеличение. Дело в том, что оно, представление, не зависит ни от уровня образования, ни от социальной принадлежности человека, ни от его культурных навыков, интеллигентности и проч. Представлять может каждый и каждый — по-своему. В зависимости от приоритетов профессиональных, жизненных ориентиров и всего вышеперечисленного. Но непременным является сама возможность обладать этим свойством. Оно — как возбудитель нашей активности, как материал, из которого в конечном итоге складывается жизнь, преобразованная представлением или нет.

Корни того, что же есть преобразование и как оно связано с фантазией — заключены, как говорит Ортега-и-Гассет, — в требованиях от жизни отчета, от существования — смысла. (Ортега-и-Гассет. Камень и небо с.63). Человек счастлив ровно с той самой минуты, когда понимает, что все его жизненное существование строится не просто параллельно мечтам и планам, воображению и представлению о чем-либо, но реально калькируется с жизнью, совпадает. Это **СОВПАДЕНИЕ** — существенная часть того, что называется результативностью фантазий. Если просто блуждать в дымном облаке иллюзий, никогда не попадая в реальность, не совпадая с ней, не деля с ней результаты, наступает тоска, и печаль охватывает человека. Возникает даже болезнь. Человек не может жить в постоянном чувстве неудовлетворения и неудовольствия собой, ему требуется выход. И тогда он идет в творчество, которое зачастую и спасает.

Человек ощущает всегдашнюю свою причастность к той области, в которой властвует он один и куда никто не может вторгнуться. Это в полном смысле его абсолютное царство. Дела, поступки, обещания — все может быть на виду. Все может обнаружиться, кроме одного: фантазий, того, что истинно принадлежит человеку. Он — единственный хозяин этого богатства и распоряжается им по своему усмотрению. Если бы мир потускнел и человек стал совершенно несчастен, единственное, за что бы он держался, так это, наверное, за возможность фантазировать, представлять, воображать. За тот скрытый тайный мир, вход в который закрыт для всех.

В каком-то смысле жить и представлять свою жизнь — две вещи несовместные. В первом случае частенько человек становится не только участником, но и зрителем своей судьбы, во втором — его единственным исполнителем, режиссером, где его многостороннее Я раскрывается полно и разнообразно.

Фантазия — составляющая нашей личности, без которой эта личность выглядела бы неполной. Но, к сча-

стью, воображение, а, значит, фантазия, способность к представлению есть у всех. Простое наблюдение над нашими психическими проявлениями говорит о том, что движения души, наши рефлексии в момент их осуществления нами не осознаются. И лишь фантазиям подвластно все, хотим мы того или нет. Проще говоря, она сопровождает всю нашу жизнь, претворяя наши желания, стопоря их, сужая или, напротив, расширяя поле нашей деятельности.

И еще. Ошибочно считать реализованную нашу жизнь истинной. Та, скрывая, имеет более глубокие корни и ставит судьбу в зависимость от своих скрытых фантазий.

Эти соображения напрямую связаны с идеей счастья. Ибо осуществление желаний или нереализация их — это путь к пониманию счастья. Адекватность счастья, как бы прозрачны и неотчетливы ни были его очертания, тем не менее имеет явную и очевидную зависимость от свершения желаний и осуществления фантазий.

К сожалению, громадность и мифическая бесконечность таких емких понятий, как Счастье, Любовь, Доброта, Справедливость не всегда соизмеримы с их конкретным наполнением. Это что-то такое и впрямь мифически недостижимое, что позволяет обращаться с этими понятиями на Вы. Действительно, как к ним подступиться, и не знаешь. Однако в каждом из них есть конкретное содержание, определение, и потому они и перестают напоминать высоких кукол на ходулях. Нет, они вполне реальны. И именно с ними наша фантазия чаще всего имеет дело. Не всегда продуктивно, правда. Не всякий раз дело оканчивается победой той же фантазии, но использует она эти конструкции чаще всего. Ибо именно они составляют основу человеческих пристрастий в этом мире. На них держится управление человека миром и мира — человеком. В рассмотрении их — большая трудность, но и увлекательное путешествие одновременно.

Именно в детстве закладываются, формируются эти

понятия, определяя стратегические и каждодневные смыслы. По ним строится наша жизнь. Они — в начале пути. К середине жизни, скорей всего, они претерпевают изменения, но так или иначе, ориентиры их не поддаются существенным переменам, поскольку совершенно очевидно, что добро лучше, что оно должно в итоге победить зло и т.д. Словом, все по сказке. Другое дело, что в жизни так, как в сказке не бывает, и человек терпит фиаско оттого, что пытается калькировать под нее свою жизнь, все так же опираясь на извечные ценности о добре и любви, справедливости и честности. Но ведь опирается, вот что важно!

Только наша близорукость и неспособность видеть перспективу не позволяет дистанцироваться от сказочного развития сюжетных линий жизни и прочерчивать трудные, запутанные пути ее. Но, однако, от жизни никуда не деться и приходится и распутывать сложности, и взаимодействовать с обстоятельствами.

Девочка из нашего детства однажды решила, что непременно будет балериной. Вопреки многим обстоятельствам, даже и объективным. Ну, например, таким, что росла она в крае, где вряд ли русскую танцовщицу продвигали бы так, как национальную; во-вторых, ее некрепкое, к сожалению, здоровье, тоже было бы подвергнуто сильному испытанию. Ну, и в-третьих, сами физические данные ребенка не были совершенными. Но была такая сила веры в удачу и правильность выбора, такая сила духа, что, скорей всего, она, и правда, могла бы стать замечательной балериной. Потому что любила танец, танцевать и любила фантазировать к тому же.

Она не стала балериной, но ее мечты, каким-то прихотливым образом преобразовавшись, воплотились в другой жизни, вернее, в другом виде. Она все так же продолжала мечтать всю свою жизнь и парить на сцене, над сценой. Это парение придавало сил, укрепляло дух, понимание своих возможностей, потенциала. Артистизм природы, основанный и укрепленный постоянными детскими фантазиями о разных — каких угодно

— воплощениях — помогал и во взрослой жизни пересоздавать действительность, находя такие решения обыденных вещей и такие выходы в реальность, что самые простые и, может быть, даже скучные вещи становились одушевленными и одухотворенными одной всепобеждающей идеей о неистребимой силе фантазии. Часто она спорила с действительностью, подтверждая золотое правило мировой художественной драматургии, вообще литературы о том, что всякий конфликт (ну, или почти всякий) основан на противостоянии мечты и действительности, скрытой ли, выраженной, но пламенеющей в произведении и составляющей его суть. Что, разве не конфликт мечты и реальной жизни, эти вечные качели любви, страсти даже и скучной будничности, присутствует в произведениях Чехова, до него — у Лермонтова, Пушкина, Тургенева? И даже у Островского. Это только пресловутое азбучное, набившее аскомину толкование «Евгения Онегина» говорит о «лишнем» человеке. На самом же деле, какой он лишний, если роман не о лишнем, а о человеке, наконец полюбившем?! Пусть поздно, пусть из эгоистических побуждений (можно подумать, что любовь не бывает эгоистической!), но роман-то о любви! Именно! И эти качели мечты и ее неосуществления присутствуют, сильно раскачивая действие в этом романе.

Поэтому так заманчиво, так замечательно отходить от стереотипов и заново открывать давно известное. Именно тогда приоткрывается истина и начинаешь понимать, что все глубже, нежели твердили в школе, и люди любят, а не только талдычат об энциклопедии русской жизни 19 века. О любви — в этом все дело! Но эта правда открывается только для тех, кто и сам способен мечтать.

Когда девочка Ася делала свои вращения и прыжки в знаменитом зале хореографического училища, разве могла она представить, что целых двадцать лет потом ее будет сопровождать обман: две взрослые женщины ,ее мама и тетя Люся, договорились о том, что не надо, не стоит поступать девочке в училище и

становиться балериной. А она-то думала, что ее мама и любимая тетя никогда не обманывают. И так и заявила директору хореографического: «Вас подговорили!» На самом деле так оно и было: его действительно подговорили. Сила веры Аси в то, что она сможет, что она должна быть танцовщицей была столь сильна, что не допускалась даже мысль о неверии в нее и уж об отсутствии каких-то данных у нее — тем более. Она истово верила, что может!

Взрослые в погоне за лучшим для своего чада не догадываются порой, как рушат мечту, как засыпают зерна неверия в души своих любимцев. Они действительно хотят, как лучше. А делают — как плохо, как безвозвратно плохо. И боль эта отзывается уже не только в детском возрасте, но и во взрослой жизни человека надломом, воспоминанием, не дающим жить в полную мощь своих сил и способностей.

КАК ПИШУТ ПИСАТЕЛИ СВОИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Четверть века назад известный русский драматург Алексей Николаевич Арбузов в многочисленных встречах с автором этих строк рассказывал о том, как он сочиняет. О позе, о месте, где работал писатель, уже приходилось писать, а вот что он говорил о самом процессе сочинительства, о том, что помогает ему сочинять. Он ссылаясь не на четкий и весьма продуманный план, но на ниточку деталей, символов, которые начинают «работать» именно в процессе создания пьесы. Более того, он признавался, что часто садится «как обезьяна (его слово), поджав ноги, в кресло и так, свернувшись, пишет. Но не в позе дело, а в том, как приходят мысли и фантазии. Для него, к примеру, большим подспорьем являлась тишина и обстановка дома, настроение дома. Он и жил в последние годы на шестом, последнем этаже, и дом его действительно чем-то напоминал некую сказочную постройку: с коньком на крыше, с тем самым знаменитым сужением на крыше,

которое было в ходу в начале XX столетия, но не в наше время уж точно. И сам дом издалека смотрелся (и смотрится) замечательно. Его видно отовсюду: и со стороны Смоленки, МИДа, и с самой Плющихи, на которой он расположен. Стоит он в стороне от шумной улицы, во дворе, и в то же время открыт для обозрения сам. Доступность и закрытость были свойственны и самому Алексею Николаевичу. Вот и дом подобрался весьма похожий на характер хозяина.

Осенью 1982 года в доме у Алексея Николаевича собрались несколько человек. Среди них была женщина по имени Алена, как впоследствии оказалось, известный театральный критик Дангулова. Сидели в гостиной и рассматривали фотографии, афиши. В тот год Алексей Николаевич много поездил и делился своими впечатлениями. Рассказывал о французской актрисе, которой было за семьдесят, но она играла молодую героиню. Поразила его также японская пожилая актриса, сыгравшая в его «Старомодной комедии», превосходно владеющая голосом. И возраст в обоих случаях никак отрицательно не проявлял себя.

Вечер был замечательный, Арбузов казался слегка возбужденным, все его с удовольствием слушали, потом перешли на кухню пить чай, а уже совсем поздно в его маленьком кабинете на Плющихе я осталась одна и не только внимала каждому его слову, но многое записывала, а потом, уже в самолете, когда летела домой в Ташкент, приводила в порядок записи.

Надо отметить, что Алексей Николаевич вообще был довольно скуп на всякие там рассказы о собственном методе, посещающем его вдохновении. Ничего такого не было. А были отдельные высказывания, совсем не пространные, из которых становилось очевидно, что процесс сочинительства для него подобен какой-то игре. Он садится в свое кресло, занимает любимое положение, забираясь на него с ногами, достает свои записи. Которых было огромное количество (те подсказки, наблюдения, акварельные зарисовки, которые он собирал для будущих своих работ) и пи-

сал. Писал даже иной раз карандашом и сокрушался, что много лет разбиравшая его «каракули», как он сам выражался, пожилая дама, только одна и могла понять абсолютно все, что он изображал на бумаге. Почерк, и правда, у него был не простой и ясный (у меня имеются два его письма того периода, когда я готовила диссертацию по его творчеству), а с какими-то перепадами, слова отстояли друг от друга, что помогало, конечно, понять, что написано. Но некоторые слова приходилось разбирать, и прочитывались они не сразу.

«Я вижу, идет женщина, мне нравится ее походка и я ее беру!» Он имел в виду, естественно, походку. И то, что «брал» эту походку себе на заметку. Как и прическу, как чью-то манеру поведения. Скажете, все писатели работают подобным образом. Но для Арбузова эти жизненные «ссылки» становились методом, условием работы. Например, героиню своей пьесы «Победительница» Майю он наделил совсем неожиданными чертами. Она ничем не напоминала его давних героинь, Таню, Лику. Здесь была сильная, независимая, волекая женщина. Такого в его палитре до этого опыта не было. Само название уже о многом говорит: она проходит по жизни именно с осознанием своей силы, где черты наступательной женственности проглядывают, конечно, но вся партитура роли, все оттенки поведения героини свидетельствуют о том, что автор очень многое видит и отбирает из окружающей его жизни. Он сначала отбирает материал, как сказали бы на защите диссертации, использует эмпирические данные, а потом все это синтезирует, преобразует и... вступает в полемику с героиней. По малым штрихам и деталям становится понятно, что она — не самый близкий ему персонаж. Но, как отмечали все, кто так или иначе соприкасался с его творчеством, он умал «слышать» время, наблюдать жизнь, он знал ее — так писала о нем Наталья Крымова. И это его знание жизни трансформировалось в такие образы, которые всегда были современны. В свое время — «Таня», позже — «Мой бед-

ный Марат» с трогательной, какой-то по-ангельски скроенной Ликой. Была в его героинях всегда некая воздушность, даже прозрачность. И несмотря на то, что Майя — совсем из другой жизни и другого времени, понимаешь, как точно выписан образ, как подмечены все современные черточки поведения, общения, произносимого текста, реплик! И тогда его фраза, что «вижу и беру» не кажется чем-то отвлеченный, а в точности соответствует самому духу его письма. Он сочиняет, опираясь на реальный опыт встреч, на подсказки своей памяти, обращая внимание и на прически, и на туалеты, на умение (или неумение) подать себя.

Например, он всегда отмечал, в чем я пришла, как одета, что это модно или нет. И не было, конечно, странного высказывания, но и реплика его дорогого стоила. Например, на его юбилей я прилетела к красочном, расшитом платье, напомиющим павлиний хвост. Утром зашла к ним. Сначала Маргарита Ульяновна вышла и сказала, что непременно позовет Арбузова (именно так и сказала — Арбузова), а когда вышел он, то театральным жестом прикрыл рукой глаза, повернул голову и произнес: «Вы меня сразили. Дотянем ли до вечера?»

Он мог одной фразой охарактеризовать пришедшего, и потом уже, много времени спустя, когда я научилась понимать и язык его устных высказываний, и пластику жеста, ухода неожиданного из комнаты, скажем, когда все знаки его невербального поведения стали прочитываться легко и свободно, это приносило удивительные плоды: в тексты его я попадала уже совсем с иным отношением, зная природу намеков, недосказанностей.

«Я пишу мало. Работаю, но недоволен», — говорил Алексей Николаевич в какие-то моменты, но ты четко понимал, что он лукавит и что именно сегодня был один из удачных дней. И это потом подтверждалось тем, что он неожиданно начинал писать что-то для «Современной драматургии» и опять говорил, что недоволен, но вникая в этот его текст, становилась понятна причи-

на такого неудовольствия. Он был чрезвычайно озабочен тем, о чем приходилось писать — театром, его состоянием. Для него был так важен театр, что утрата каких-то ценностей в нем, начинавшая происходить исподволь, постепенно, не могла не быть замеченной им. Он был по-настоящему взволнован теми переменами, что стали происходить на театре, мерой дозволенности, стертостью границ, в которых прежде внятно существовал жанр, способы актерской игры, метод перевоплощения, а главное — тот психологизм русской актерской школы, которую он высоко ценил.

Бывая во многих странах, изучая свои постановки там, он имел возможность сравнивать, как дома и как, скажем, во Франции, где была поставлена его пьеса «Воспоминание». В ней изменили имя герою, он назывался в Париже не Денисом, а Виктором, и это нисколько не смутило Алексея Николаевича, напротив, он был доволен, что там его пьесу поняли и тоньше, и точнее. И даже некоторая перестановка каких-то сцен тоже не покорила его. Он бывал раздосадован совсем по другому поводу. Если не вчитывались в его тексты, если авторское слово не становилось доминирующим в оценке происходящего и в понимании идеи, постижении образов. Вот тогда он был непримирим. И я наблюдала, как он может быть разгневан. Так было с интерпретацией его пьесу «Воспоминание», некоторых этапов работы. Закончилось все, по счастью, благополучно и сыграна была премьера, и та же замечательная Наталья Крымова помогла мне проникнуть к ней, а на другой день делала разбор моего научного исследования.

Как-то на кухне (а это было прелестное место, и я до той поры таких удивительных кухонь, с таким изяществом созданных, просто не видела) пили чай, он просил немного вина, и Маргарита Ульяновна (с которой я продружила многие годы, сначала приезжая из Ташкента, очень часто звоня ей, потом уже будучи в Москве) не очень охотно согласилась, чтобы он принес какое-то странное вино зеленого цвета. А было отчего

беспокоиться: Арбузову недавно делали операцию, и жена, естественно, волновалась. Однако немного выпить позволила, и Алексей Николаевич радовался, как ребенок. Не собственно тому, конечно, что пригубил вино, но самому процессу этой игры-выпрашивания. И я спросила его, что он думает по поводу фантазий. Он сказал, что всю жизнь только этим и занимается и даже велел вспомнить «Фантазии Фарятьева», пьесе, в которой об этом вопросе все сказано ясно и понятно.

И еще однажды зашел разговор на эту тему. Я стала хвалить их дом и даже буквально то место, где он стоит, как расположен. Сказала, что и в этом даже есть что-то сказочное. А раз он сказочник (так его называли в некоторых статьях), то и место очень даже под стать. Он внимательно слушал, а потом сказал неожиданно, что больше всего не любил дом на Новом Арбате, где сказкой и не пахло. «А здесь да, ничего себе, можно. Вы запомните, что говорили сейчас. Вот будет юбилей, там это и скажете».

Но ничего подобного говорить не пришлось, поскольку праздники по случаю юбилея был лишен речей и всего искусственного. Было так весело, так замечательно все хохотали, что пересмеявшись, наверное, у меня поднялось давление и так и стояло вздыбленным два дня. А в том довольно молодом возрасте я еще не понимала причину недомогания, и только приехавшая «скорая» зафиксировала нехорошие цифры.

— А в какой пьесе больше от жизни, от ваших наблюдений, а где — больше всего придуманного, нафантазированного?

— От жизни, пожалуй, все, как иначе?! А фантазии, что ж, пожалуй, это «Сказки старого Арбата», еще, может быть, «Счастливые дни несчастливого человека».

— Как? Там же все так реалистично.

— Это только кажется. Многое пришло в виде картинок, вроде сна.

— А что сами любите больше остального?

— Все! Все они — ну, что скажешь? — все они про-

шли через это кресло (указывает на свое рабочее место) и сквозь это (дотрагивается до сердца).

— А в вашей жизни бывали подобные ситуации? Ну, схожие с теми, что вы описываете?

— А как же! Даже если и не бывали, то иногда мне казалось, что точно будут или что они могли бы быть.

— Как вы сами считаете, вам удаются больше женщины или мужчины?

— Не знаю, наверное, женщины.

— А почему?

— Я сам — нереализованная...

— Что?

— Да нет, я — это много женщин, самых разных и много мужчин. Я не знаю, кого из них во мне больше. Иногда их так много, что и сам путаюсь. Вот у Маргариты лучше спросите, она все знает.

Действительно, идем к Маргарите Ульяновне, но ничего не спрашиваем, а слушаем, что она выговаривает (иронично так, поблескивая своим изумительным прищуром светлых глаз, откидывая рыжеватые кудрявые волосы): «Из американской академии второй месяц просят твою автобиографию, а ты все тянешь. Наташе вот письмо написал, а о себе в Америку не можешь!»

Я в ужасе: как, в Америку не послал бумаги со своей биографией? Просто кошмар! Но Алексей Николаевич легко и беспечно уклоняется: «Ничего, я все сделаю. Ждали же они столько!»

И когда настали совсем страшные, больные дни, когда посреди большой гостиной стояла странной формы медицинская какая-то кровать и он лежал на ней, здесь же была сиделка, на кухне курила и все время что-то готовила Маргарита Ульяновна, вот в те дни он принимался несколько раз говорить о своей молодости и даже сказал удивительную для меня вещь. Она очень личная, может, всего и не решусь теперь сказать, это касается только меня, но потом он перешел (опять-таки обрывочными кусочками, а не какой-нибудь кантиленной речью — он плохо себя чувствовал) на

излюбленную тему, тему сотворения чего-то, что становится вполне отчетливым, материальным прямо из ничего. Он так и сказал:

«Пьесы, все они — как воздух. Вроде есть, а из чего? Так, сию себе, дышу. Вот и надышал».

Это были суровые и вместе с тем пронзительные какие-то дни. Я приходила тем летом каждый день и понемногу говорила с ним. Помогала Маргарите Ульяновне с готовкой, магазином, но более всего ждала момента, когда сяду возле кровати и он станет говорить. Иногда — фантазировать. И делать это, как всегда, изящно и с присущей ему театральностью. Даже в таком положении почти беспомощного человека, который не может надеть свой зеленый бархатный пиджак и отправиться в театр. Неважно, на репетицию, спектакль, или просто в театральное здание, где будет пахнуть сказкой, фантазией и чем-то еще таким, чему не придумано название, но что есть, непременно есть и манит, и манит... Как манит и к самому Алексею Николаевичу Арбузову, чье творчество — все соткано из реальности и сказки, трепетной и сплетенной из изящных кружев, и в которой она — главнее и важнее самой жизни.

ДОН КИХОТ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Обычно самый распространенный конфликт личности составляет разрыв между мечтой и действительностью, между представлениями человека о мире и тем, с чем сталкивается он в реальности, с тем, чем является этот мир на самом деле. И только один персонаж в мировой художественной литературе не только счастливо избегает обычного течения конфликта, его развития и разрешения, но более того, счастливо существует в той реальности, которую сам и изобретает. Это — Дон Кихот. То, как он представляет мир, совсем не является мечтой. По крайней мере, для него. Все, что считает нужным сделать, совершить, он и делает, как бы нелепы не были поступки. Это спустя века он —

явление хрестоматийное, а почему то, как живет этот герой, что проделывает, граничит едва ли не с безумием? Но это мы так считаем, это на наш просвещенный взгляд так кажется. Что же на самом деле? А все очень просто: его видение действительности совершенно совпадает с мечтой о ней. Нет ни малейшего расхождения. Ну, если, конечно, не считать любви к Дульцинее, которую он считает (он один, заметим) непорочной и прекрасной. Это его заблуждение — тоже совсем не мимо мечты. Как раз в обойму. Он ищет, жаждет этой любви и находит тут же, в первой встреченной им женщине. Если у другого персонажа такое несоответствие вызвало бы ряд негативных действий, переживания и прочее, если у другого, скажем, у Гамлета, или, например, Треплева или даже Чичикова, то есть отнюдь не лирического героя, отступление от придуманного жизненного сценария вызвало бы душевный трепет, негативные ощущения и т.д., то у Дон Кихота нет и даже не может быть никакого расхождения мечты и действительности: настолько они слиты между собой, являя почти тождество. Единство уж точно! Он не знаком с страданием, ему ближе сопереживание; он не знает бесплодных погружений в нечто нереальное, напротив, он живет в выдуманной реальности и потому неизменно счастлив! Знаете ли вы другого такого представителя художественной литературы, которому было бы комфортно в настоящем? Без скорби и занудства, без бесконечных жалоб на несостоявшуюся жизнь и всяческих стенаний по этому поводу.

А что он думает о себе сам? Как представляет себя?

Единственная для него реальность — это отношения с Санчо Пансо. Здесь он может даже противоречить, отстаивать свое видение, он может не соглашаться, он готов едва ли не ссориться. Все же остальное, вся другая реальность, выдуманная, замешанная на мечте и готовности играть в нее, — не более чем миф. Он создается самим героем, им движим. Но самое удивительное: комфортнее и удобнее ему именно в таком, придуманном мире, где торжество фантазии, мечты,

выдумки, даже глупости сотворяют с Дон Кихотом такую штуку, что хочется вместе с ним петь и торжествовать. Ну разве его беда или вина, что он принимает то, что видит, за сон, а то, что желает увидеть, что хочется увидеть — за истинный, отнюдь не волшебный мир? Нет, не беда, конечно. Это нам понятно, что его мир вымышленный и придуманный. Но он-то так не считает! Он готов сражаться сколько угодно с ветряными мельницами во благо человека, во имя его мечты, да и просто потому хотя бы, что так действительность видится более совершенной и гармоничной. Все дело в ней, в гармонии! Он ее представляет именно такой, слегка отошедшей от привычных представлений о гладкости и выверенности мира. Он считает, что все, что объемлет его взгляд, создано для красоты и наслаждения, а все, что так или иначе противоречит такому представлению и не вписывается в его понимание об устройстве мира, чрезвычайно плохо, очень напрягает и делает мир излишне сложным. Ему хочется легкости и беспечности, именно на этой логике строится его поведение, монтируясь на удобной для него схеме: мир хорош потому, что не доставляет больших сложностей. А на истинные можно закрыть глаза или просто не обратить внимание.

Всем очевидно, кто такая на самом деле Дульцинея. Но только не ему. Зачем? Чтобы разрушился тот миропорядок, который он сам же и установил? Чтобы трещинка, возникшая при самом беспристрастном рассмотрении героини, ее поведения, особенностей жизни стала разрастаться и превратилась в полнейший раскардаш: характера, образа мыслей, поведения, отношения к другим людям и событиям? Нет, не хочет этого Дон Кихот, да так и впрямь удобнее. Не смотреть на жизнь с очевидной долей сарказма и вьедливым пониманием, а беспечно принимать его таким, каким он мог бы быть. Вот, в этом «мог бы быть» кроется то, что открывает в личности героя нечто важное и значительное. Он ничего не стремится переделывать, это заблуждение, что он только и озабочен тем, что сра-

жается, изменяет, переобустраивает. Вовсе нет. Для него и то, что есть в виде данности — замечательная и удобная вещь. Если вдуматься, за поступками Дон Кихота кроется явно выраженная ирония и самоирония. Его дружелюбие, казалось бы, не имеет предела. Но он так же неистов в стремлении отстоять свое мнение, свое приятие заблудшей женщины, как если бы он сражался за Родину. Он видит в ней то, что она сама предпочла бы, наверное, видеть в себе. Так оно и могло бы быть, но не в этой, а совсем в иной жизни. И у нее уже — вряд ли. А тут приходит некий персонаж, который умудряется рассмотреть в падшем существе черты и свойства давно позабытого: детства, безмятежной юности, озорства, но не падения и не предания своих светлых дней, надежд, мечтаний.

Дон Кихот мечтает или он просто так живет? Что сподвигает его на бесконечные выдумки и уход от действительности? Может, это так изящно припрятано недовольство этим миром самим автором, Сервантесом? Может, его герой вовсе не совершенен и отчетливо понимает, что и мир таков же: несовершенен? Может, это просто глубоко запрятанная сублимация? И он умнее и дальновиднее нас: все видит, знает, но просто не бунтует по этому поводу?

И такое возможно. И скорее всего, совместилось и то, и другое, и третье. Но, в самом деле: не так же простодушен Сервантес, чтобы не замечать все заблуждения своего героя? Он что, не видит, как его искушает жизнь и как он не поддается на эти ухищрения? Да видит, понятное дело. Но намеренно идет вслед за своим героем и ведет его время от времени сам, полагаясь на его вольнодумство, отсутствие правил и границ, а на самом деле стремится к совершенству.

Он без видимых усилий достигает того равновесного состояния, которое делает его мир значительным и открытым. Он ничего не оспаривает, но в то же время отстаивает свое право быть самим собой — не более того. Он по-настоящему любит — как ни банально это

звучит — окружающих и то мироустройство, в которое они помещены.

Но вот незадача: автор называет своего героя «хитроумным идалго». Не ошибка ли это? И можно ли такое о беспечном и легковерном человеке, которого как раз все и стремятся обхитрить? Помните про некий ход, своего рода сублимацию? Может, в этом-то все и дело? Он все знает и понимает, но не поддается искушению тратить на это силы: гневаться, мучиться, бесноваться. Он идет по жизни так, как ему хочется. А хитрость? Хитрость, может, в том и заключена, что кажется, лишь только кажется, что он хитер. На самом же деле он не хитрец, а создает о себе такое ложное представление. Ну, а если уж хитрец, то такой накрученный и такой скрытный, что сразу и не распознаешь!

Например, его спрашивает некий Рыцарь Леса, уж не влюблен ли он часом. На что хитроумный идалго отвечает: «К несчастью, да. Впрочем, если выбор мы сделали достойный, то страдания, им причиняемые, нам надлежит почитать за особую милость, а никак не напасть».

Он не говорит, что он счастлив. Но тут же и оговаривается, что даже если это и страдания, то рассматривать их нужно с позиций милости и радости. Но не напасти. Какое, однако, противоречие заключено в одной только фразе: и что влюблен — несчастье и что страдания — это радость. Вот и пойми после этого, кто он: хитрец или простак, изворачивающийся ловкач или так, несмышлениш наивный.

Хитроумным идалго выступает, как ни странно, сам Сервантес. Почему он так востребован со своим странным героем? Что такое сделал, что идут годы, столетия, а миф о заблуждающемся вечно персонаже, память о нем, обращения к нему крепки и неистребимы?

Из металла и прочих материалов делают статуэтки Дон Кихота. Его присутствие в доме — определенный знак интеллигентности. По крайней мере, несколько десятилетий назад именно так и было. Потребность в

этой странности духа, который, может, и присущ многим и многим, но доступен не всем, не все хотят казаться странными и обнаруживать эту странность. Но тот общечеловеческий мотив, что свойственен всем, точно уловил Сервантес. Именно потому, в том числе, живут столетия классические произведения, что авторы их улавливают этот общечеловеческий смысл и тайну. Действительно, кто бы из нас не хотел вселенской, абсолютной справедливости?! А история идалго именно об этом: для него мир должен представлять только в такой оправе, в оправе исключительной, совершенной справедливости! И символ этот, хотя бы в черном каглинском литье у себя на письменном столе — разве не знак того, что пусть и таким образом можно соразмерить себя и отождествить с персонажем Сервантеса?

Происходит какая-то почти тройная фантастическая смычка времен и персонажей! Мы — Дон Кихоты, сам Сервантес прожил почти схожую жизнь со своим героем и даже похоронен был за счет благотворительных сумм Братства. К своим читателям в своем последнем творении великий испанец обратился с такими словами: «Простите, радости! Простите, забавы! Простите, веселые друзья! Я умираю в надежде на скорую и радостную встречу в мире ином!»

Когда случилось это скорбное событие в 1616 году, можно было, зная жизнь и перипетии судьбы писателя, предположить, что она в немалой степени ускорена была фальшивкой — подложным «Дон Кихотом». Сначала писатель досадовал и расстраивался, но затем смирился и ничего не предпринял, чтобы наказать злоумышленника. Удары судьбы, нужда не сломили писателя, напротив, он мечтал и создавал свои произведения. От тягот жизни его спасал в том числе и этот странный герой, который что-то купировал в собственном характере испанца, что-то «добирал», с чем-то мирился, там, где сил противостоять у Сервантеса не хватало. Но именно фантазии на темы своего героя, сложных переплетений его жизни держали на плаву

писателя, принося радость и избавление от реальных напастей.

Некоторые пересечения поступков его героя и собственных событий жизни прослеживаются в романе. От нужды сначала семья, а потом и сам он вынужден был много, часто переезжать. Он словно бежал куда-то в поисках лучшей, придуманной доли. Она воплотилась именно в романе, где был этот непонятый согражданами (в романе) герой, со странными поступками, намерениями, фантазиями. Здесь мечты и фантазии обоих сошлись накрепко с действительностью, в которой победили именно они, а никак не реальность.

Фантазия всегда перевоссоздает то, что предлагает жизнь, реальная и сложная. И выигрывает! Фантазия начинает — как в партии шахмат, где белые начинают — и побеждает! Да и как она может проиграть?! Чем жило бы тогда человечество? Вот именно, только этим, фантазией, как способом жить, как возможностью противостоять жизни, как иллюзией красоты и всепобеждающей правды.

Так жил хитроумный идальго, которому иногда, вероятно, казалось, что он способен перехитрить любого, но на деле получается совсем иное — прямо противоположная картина!

Проведя пять лет в рядах испанских войск, приобщившись к оружию, Сервантес все же не вручил его в руки своего легендарного героя; напротив, он поступил совсем наоборот: его идальго совершает свои странствия с копьём в руках. Длинным и мешающим, но оставить которое совершенно невозможно — оно и часть образа, и часть его самого, человека — идальго, который, как и его странные доспехи, так же нелеп и неуклюж. Но выпустить их — нет, ни за что! Часть него, часть!

А следующие пять лет плена тоже не прошли мимо его вымышленного героя: как же, такой опыт! Именно он помог вооружить Дон Кихота вовсе не присущей

ему, казалось бы, воинственностью. Но он не воин, это ясно. Он словно стремится отвести от себя и от окружающих всякую возможность боя и сражения. При чем, регулярно попадая в положения, которые как раз и провоцируют на это. Он регулярно оказывается в ситуации, которые требуют действия и принятия решения. И остается при этом дружелюбным, готовым на провокации, на осмеяние, на подначки. Он что, не видит, не замечает, что над ним потешаются? Может, самая великая мудрость, и, конечно, Сервантеса, что он все замечает, но не считает нужным останавливаться на этом: он идет дальше, он не бранится, не возражает, не протестует, он принимает жизнь такой, какой она перед ним предстает. Эта такое редкое качество мудрого человека! Может, поэтому он хитроумный?

ЕСТЬ ЛИ ЧТО РЕАЛЬНЕЕ САМОЙ СМЕРТИ? А МОЖЕТ, ОНА ЛИШЬ НАША ФАНТАЗИЯ?

Когда в середине прошлого века мимо нашего двора по дороге двигалась похоронная процессия, играл оркестр и медленно шли люди, а на машине в окружении нескольких человек лежал покойник, мы, возбужденные, кричали, что «хоронят» и бежали бегом смотреть на это зрелище. Оно притягивало, завораживало и — что самое непонятное — не вызывало скорби. Дети бежали смотреть на развлечение, как еще на один вид какого-то внешнего атрибута события, когда можно было полюбопытствовать, поучаствовать, просто поглазеть. Это что: мы, дети, такие были жестокие и равнодушные, или момент непонимания происшедшего был более выраженным, чем само осознание сути случившегося?

Для нас в ту пору это был не более, чем (как сейчас бы это назвали) перформанс, артшоу, разновидность представления. А еще замечательный писатель, написавший много занимательных рассказов, О, Генри давным-давно поведал о том необъяснимом интересе, ко-

торый вызывает всякое зрелище, тем более, если оно трагического толка.

Действительно, что это за страсть такая человека наблюдать за страшным, быть к нему причастным, узнавать разные подробности этого несчастья? Неужели страшилки так влекут? Или в этом пристрастии к чьей-то беде, даже к смерти таится нечто другое? Например, возможность понаблюдать как бы со стороны то, что когда-то произойдет и с тобой? Неотвратимость такого факта и его наполнение? Вроде бы не про тебя и одновременно — совсем рядом, в такой страшной близости, что никакие фильмы ужасов не нужны: и так жутко!

Вот и в наши детские игры, замешанные на фантазиях (а как иначе?) ,вторгалась самая что ни на есть реальность. И тогда неизвестно было, что перевешивало: наша реальная, сотканная чаще всего и в большей степени фантастическая действительность, или направленная против нее реальность, да еще с таким тяжелым исходом? Что оказывалось важнее, что побеждало в конечном итоге наши детские заморочки вымыслов, причуд и игрищ?

Разве не как на продолжение все той же игры сбегались мы, чтобы посмотреть на новый виток такого представления — в виде траурной процессии, условного шага людей, скорбных их лиц и лежащего на возвышении человека? Разве сознавали мы, что этот проход медленно шествующей колонны — последний для обеих сторон, что в этом ритуале — своего рода и прощание, и дань уважения к усопшему? И что, наконец, это последнее обстоятельство земного пребывания человека, чей уход сопровождался траурной музыкой, — предмет размышлений для одних, а для других — просто большое горе?

Почему человек так отстранен от чужого несчастья? Полюбопытствовать — да, поскокрушаться — можно, расспросить о подробностях — тем более, но более всего в этом акте сопричастности к происшедшему не любви и скорби, а попытка примерить событие на себя.

Оценить, что и каким образом может из этого следовать? Даже если тебе всего семь или десять лет. Конечно, где-то далеко-далеко, на уровне подсознания, каких-то невнятных детских переживаний, слез. Они тоже не в последнюю очередь связаны с этой самой попыткой примерки страшного факта «НА СЕБЯ». Ребенок еще не осознает, не способен анализировать, но несомненно понимает, что это «плохое» может случиться и с ним. Когда-то, потом.

Его безотчетный страх провоцирует поведение не только любопытства и безотчетной привязки этого страшного к себе, но и понимание — быть может, впервые — что жизнь не вечна. И потому фантазии и игры так нужны, так необходимы человеку, и не только лишь ребенку, поскольку, во-первых, примиряют с действительностью, а во-вторых, отводят от ее реалий подальше.

Смерть — самое завораживающее, самое достоверное и вместе с тем фантастическое из всех возможных фантазий и самой реальности. Человек думает о смерти, порой провоцирует ее, ведет себя так, будто она никогда не наступит. Он, доподлинно зная, что жизнь конечна, строит эту жизнь таким образом, словно конца ей и впрямь нет. Он живет, рождает детей, ссорится, любит, плачет, негодует, он возводит мосты и дороги, а все равно, где-то далеко в потаенных закоулках памяти присутствует мысль о бренности и конечности человеческого существования.

Смерть в современном искусстве стала не только притягательным, влекущим моментом, она не только и даже не столько завершает жизнь человека, но в художественном произведении ее значение, смысл и роль выросли до грандиозных размеров. Парадоксальность смерти становится важным, если не главным условием существования самого произведения. Поясним. С одной стороны, смерть — завершающее обстоятельство, открывающее в пространстве построения дальнейшего целый пласт нового: композиционных виражей, трансформации отношений героев, изменения их ха-

ракторов. Но она же и является едва ли не проходным обстоятельством, неким случаем, который и прогнозируем, и не так страшен, и главное — он превратился в обыденность. Это и есть, пожалуй, самый печальный итог в изображении смерти последнего десятилетия в искусстве.

Ее обыденность, а не чрезвычайность события, нелепость и вместе с тем подчинение нескончаемо развивающемуся детективному началу, который вытеснил все остальные со страниц, экранов, подмостков. Она случилась, и ее могло бы не быть, она — не то редкостное, переламывающее сюжет и человека в нем обстоятельство; она — не из ряда вон нечто существующее в произведении, напротив — она дань времени, в котором умереть так же легко, как взмахнуть рукой, сходить в гости, позвонить по мобильному. Нас уговаривают: она совсем не страшна, нечего ее бояться! Но не на уровне философских доводов, анализа, эмпирических данных. Нет, ничтожность и вздорность смерти как ничто больше подчеркивает постмодернистский принцип разрешения конфликта в нынешней литературе, искусстве, на телеэкране. Ее всюдность, как говорил совсем не по такому поводу В.И.Вернадский, становится тем сокрушительнее, чем увеличивается масштаб ее присутствия повсюду, неоправданность таких размахов и его ложные границы.

Смерть не только становится предсказуемой, она не только раздвигает сюжетные рамки и каким-то образом влияет на перипетии действия; самое грустное заключается в том, что она необязательна и тривиальна. Ее множественность, сокрушительное количество даже в одном произведении сводит на нет все моральные критерии о таинстве и сакральности такого акта. Ничтожность ее становится угрожающим приемом в художественном произведении.

Но если вспомнить простую и очевидную мысль о том, что все происходящее в искусстве перетрансформирует действительность, порой опережая какие-то социальные катаклизмы, иногда скалькируя ее, то вы-

вод достаточно неутешителен: жизнь человека все более утрачивает свой изначальный ценностный смысл. Человек может жить, а может — и нет: никакой разницы!

Современная драматургия и театр стремятся подойти к проблеме смерти тоже с позиций экстремальных. Сами пьесы можно подразделить на два направления: 1) где все действие отчетливо СТРЕМИТСЯ к смерти героя, где эта смерть едва ли не звучит с самых первых страниц произведения; и 2) где смерти дано абсурдное, даже гротесковое воплощение.

И в том, и в другом случаях смерть не является обязательным, формообразующим элементом, тем приемом, без которого произведение лишается смысла и логики. В том числе, художественной.

Так популярная в последние несколько лет пьеса «Похороните меня за плинтусом» по повести Павла Санаева всем ходом своего повествования словно игнорирует саму возможность смертельного исхода. Здесь смерть — взрыв, недоразумение, опять-таки нелепость. Театры же (и в Петербурге, и в Москве, и даже телеверсия с С.Крючковой в роли бабушки) так усиливают ее приближение и ее неминуемость, так взвинчивают ситуацию, так ведут к неотвратимости трагического и только трагического исхода в жизни героев, что становится очевидным: такая плюсовка, такое чрезмерное УТРИРОВАНИЕ смерти — тоже своеобразный кодовый знак времени. Без смерти теперь не обойтись, с ней и только с ней возможно разрешение и конфликта, и возрождение героя, переосмысление им реальности и главное — дальнейшее развитие и продолжение самой жизни.

Если в первой половине XX века в литературе, драматургии, в других видах искусства можно было говорить об оптимизации смерти, ее пафосном, едва ли не мажорном начале, то с середины 90-х годов прошлого века тенденция резко меняется. Смерть перемещается с подмостков подвига на другие, значительно более низкие ступени. Она уже не является основной драма-

тургической развязкой произведения, по ней уже не судят о максимуме, как правило, сделанного или могущего произойти; она вовсе теперь не показатель нравственных исканий героя. Напротив, ее случайность и необязательность становятся важнейшим условием и построения сюжета, и авторской точкой опоры. «Смерть все спишет!» — эти слова как нельзя точно выражают все, что символизирует собой смерть. С нею действительно списывается все: возможность раскаяния и ... покаяния, осознание вины и греха. Такие нравственные категории не для современного прочтения, они как бы утяжеляют его. А вот ее, смерти, молниеносность, будничность и вовсе не исключительность — такие категории работают. Катит! — как говорит молодежь. Смерть и правда катит!

Ее исключительность и чрезвычайность, возведенные в авторский абсолюте, принцип понимания нравственности, ее порог и неизбежность остались далеко за рамками постмодернистских течений. Все на продажу! Возможно все! Этими нехитрыми принципами руководствуются не одни только драматурги («Все оплачено» И.Жамиака), в тезисе — возможно все! — таится сказочная уверенность в действительно подвластном мире кому угодно: герою, его оппонентам, случайному лицу... Это не играет никакой роли — ведь возможно все! И до каких пределов — сказать затруднительно: нет этих пределов, границы смяты, нарушены каноны, проблемы мироустройства и человеколюбия попораны и заживо погребены: да здравствует постмодернизм со всеми его нарисованными французами схемами.

И он действительно торжествует, этот странный отросток мировой культуры, который так раздражает и настораживает многих и многих, вполне даже и серьезных исследователей. Но он есть, от него не спрятаться, не скрыться, а значит, должен быть анализ и пристальное к нему, не волшебнику, внимание.

Современные сериалы наводнены убийствами, насилием, смертями. Вокруг смерти строится, вернее, вьется все сценарное мастерство. Слов нет, конечно, в ней,

в смерти, — самый мощный и притягательный импульс. Только ее наличие, возможность избежать ее, все перипетии на пути к тому, чтобы ее, не дай Бог, не было, — основа сюжета и главная движущая линия лавиноподобной массы серийной отечественной и всей мировой телепродукции. Убьют или нет, спасется или догонят — этот нехитрый формообразующий и содержательный набор является главным условием интриги. Известность этого набора очевидна и восходит еще к мифу и сказке. Именно в ней, в сказке, начинается погоня воображения читателя за этим — кто кого. Или смерть — героя, или он ее. Такое противостояние и ожидаемо, и прогнозируемо, и не это обстоятельство отвращает от кино-, теле- и печатной продукции. Примитивность ходов и сюжетных построений, лобовое решение конфликта, отсутствие в сценарии должного интригующего начала, скудость фантазии пишущего сериал (в любом из перечисленных видов искусств) замыкается именно на таком нехитром противостоянии. Он, ясное дело, и закручен, и лихо снабжен множеством коллизий, переплетений сюжетных ходов, но в нем нет и не может быть главного: он не исследует глубины смерти человека, и более того — ему, сценарию и сценаристу, это и не требуется. И так сойдет. Помните, смерть все спишет?!

А между тем смерть — это:

- 1) уход от решения проблем, своеобразный выход из тупиковой ситуации;
- 2) собственно решение проблемы героем;
- 3) вызов, эпатаж;
- 4) драматургическая слабость и несовершенство мастера, который не находит иного решения в споре человека с жизнью;
- 5) месть — если ее совершает кто-то за что-то кому-то; и самоубийство — в большой степени — тоже месть.

Другое дело, что в самоубийстве, то есть добровольном уходе из жизни содержится одна маленькая поправка: человек, идущий на крайний шаг, всегда сокрушается по поводу реакции родных и близких, чужих

и далеких на свою кончину. Поправить же ситуацию возможности нет. И часто человек режиссирует свой уход. Даже в способе избрания этого ухода тоже содер­жится ключ и к характеру, и к той ситуации, в ко­торой оказался уходящий из жизни, и даже прочиты­вается нетерпение или тщательность подготовки. Все это проясняется как из самого способа осуществления акта ухода, так и из тех деталей, которые сопровождают действие.

Так вот, такой тщательности при отборе деталей в сегодняшней видео и печатной продукции, как прави­ло, не встретишь. Ушла любовь к деталям, сделалось ненужным, лишним описание подробностей, из кото­рых складывался, определялся зачастую характер че­ловека.

Выбор места действия своего последнего решитель­ного жизненного шага говорит очень о многом. Так, Анна Каренина из романа Льва Толстого совсем не­случайно попадает на привокзальную площадь. Она едет в людное место не с целью спасения и не для при­влечения внимания, нет. Ее жизнь, ставшая сама по себе дорогой с бесконечно движущимся поездом в не­известном направлении, зовет ее именно к вокзалу, где та же сутолока и толкотня, ожидание встреч и расста­вания. Ей уже не важно, на что она готова: на встречу или на окончательное прощание; но то, что и то, и дру­гое невероятным образом соединились в ее представ­лении об избавлении от боли, — несомненно. Она в пер­вую очередь стремится убежать от давящего горя, от невыносимой муки, в которую превратилась ее жизнь. И последовательность, и готовность исполнения ею за­думанного говорят лишь об одном: больше сил терпеть эту жизнь, продолжать эту жизнь нет. И Анна Карени­на расстается с ней.

Глубинный смысл ее ухода из жизни прописан Тол­стым детально, он мотивирован и не остается сомне­ния в том, что иного выхода ни у героини, ни у самого автора романа просто не было. Такая смерть, по свое­му нравственному, очищающему итогу, восходит к древ­

негреческой трагедии, когда драма героя, его смерть высекают нечто новое из всей совокупности сюжетных построений. И когда понимается, что такая смерть у Эсхила, Еврипида не может быть ничем кроме спасе­ния, морального, психологического и главное — спасе­ния чести и достоинства.

Вот об этих-то забытых категориях нынешние зак­ройщики фабулы и сюжета, но никак не человеческих душ, не думают вовсе. Зачем? Смерть все спишет!

А жаль! Жаль, что обыденность ее, суетность, нео­бязательность и невысокое ее предназначение сводят на нет само представление о человеке как о достойной огромной величины, ценности. Такая обесцененность о многом говорит в плане характеристики социально­культурного контекста: ничтожность одной жизни предполагает ее незначительность и неважность в це­лом. Все общество перестает иметь ценностный статус. И мерилom тому оказывается смерть.

Как, каким образом ни совершилась бы смерть, и даже вследствие чего, она все равно безлика и однооб­разна. В этом есть момент универсальности, однако. В смерти мало вариантов. Она — всегда итог. Подводит ли его герой совместно с автором, наступает ли она вследствие добровольного его ухода и решения, но она всегда — итог. И только по итогу возможно измерять ее силу и могущество или же никчемность.

Дался, однако, мне этот Треплев! Ну не выстрели он, не помоги ему Чехов свести счеты с жизнью, что было бы тогда? Что имели бы мы как итог в русской классической литературе и конкретно у Чехова? В са­моубийстве, смерти Константина Треплева, как, впро­чем, и во всякой — таится возвращение. Возвращение к анализу и истокам жизни, ее глубинных или ложных противоречий, неспособности героя совладать с ТА­КОЙ жизнью и нежелание предпринимать какие-то усилия, чтобы изменить что-либо.

По сути, он умер уже давно, еще до своего первого выстрела. В тот момент, быть может, когда именно мать, воспринимаемая как самое главное мерило жиз­

ненных ценностей, как самая главная в жизни личность вообще, не приняла его драматического опуса. Более того, насмехалась, иронизировала, была невнимательна. Склоняла и собравшееся общество к неприятию. Не зло, без особых усилий даже, но все же она делала это! И сын не выдержал. Сначала бросил все это представление, затем, из ревности, скорей всего к Тригорину, маминому обожателю, засел за серьезную прозу: не пошло. Знаменитым, как знаем, не стал. Да и вообще как-то затерялся, ступедался перед этой жизнью. И тут — случай: приход Нины. Неожиданно и тем не менее так кстати, так вовремя. Вот и нашлось оправдание самому себе: никчемность жизни, понимание абсурдности существования все в том же материнском доме, где почти все изменились, кроме него самого, убедили героя в единственно правильном выборе: жизни больше нет и быть не может! Такой жизни! И он действительно находит выход, хотя и противоестественный, и печальный, но для себя — выход. А уж для литературы драматической — тем более. И все это между прочим называется — комедия. А как иначе? Именно так.

ВСЕГДА ЛИ ЖИЗНЬ ПРОТИВОСТОИТ СМЕРТИ?

Вот жил себе Треплев не один год в своей усадьбе, что-то писал, творил, издавался иногда, но что было с его душой? С тем потаенным, невысказанным, что одно только и способно двигать, развивать события, жизнь, наконец? Любил ли он? Нет, вот в чем вопрос! Не любил — некого было. Да и не хотел. Замкнулся в своей гордыне. Не столько даже любовь к Нине точила его все годы, а нечто большее: он не мог снести неуспеха. У Тригорина он был, у матери — тоже, а он — безвестный и никому ненужный. Вот это отчуждение обществом вынести невозможно.

И в каком-то смысле он снова и снова возвращается к единственно возможному (правильному?) для себя

выходу: просто уходу. Метод тот же, орудие не поменялось. Настойчивой и неотвратимой стала мысль о смерти как избавлении и исцелении. Пусть потом, ну совсем потом поплачут! Есть такой эгоистический мотив у всех, добровольно покидающих этот мир. То же было с Катериной А.Н. Островского: не поняли, не захотели? Вот вам, поплачьте без меня, а я, быть может, еще и посмотрю на вас. Детская эта надежда на неокончателность смерти касается и самого Треплева. Как бы серьезен не был повтор, выстрел, любая надежда на неокончателность поступка очевидна. Она едва ли не светится из последующего, завершающего пьесу разговора играющих. Самой игрой, легкой и необязательной, почти без серьезных правил. И только одна фраза, сказанная о случившемся просто и коротко, заставляет верить, что событие все же произошло, случилось. И снова надежда: а может быть, не совсем?

Однако в письме Чехова нет этой невразумительности: Треплев стреляется по правде и всерьез. Другое дело, что верить не спешим, другое дело, что слишком скор и неосмотрителен этот шаг; другое дело, что судьба этого одаренного юноши могла бы сложиться совсем иначе, останься он жить. Но, увы! — нарушились бы все законы жанра и главное — не случилось бы того возвращения, которое почти одно составляет пряный аромат события. К нему все шло, оно — и есть главный итог, оно и есть то ВОЗВРАЩЕНИЕ, которое в течение века беспокоит и лихорадит умы исследователей — практиков и теоретиков: почему, зачем это понадобилось автору? Неужели нельзя было оставить Треплева?

Такая наша мечта всегда, еще с мифов и сказок сопровождает движение наших мыслей, когда герой проходит испытания. Со змеем ли Горынычем, в муках интеллектуальных страстей — неважно. Главное — он борется, а мы сопереживаем. И нам очень важно, чтобы герой этот ПОБЕДИЛ!

Так побеждает ли Треплев? И так ли это и здесь важно? Важно, безусловно. Он, как ни странно, по-

беждает. И себя, и собственные неудачи, а главное, что наконец он делает выбор. То есть то, что не мог совершить в течение многих лет. А это уже итог, причем, серьезный.

В конце концов смерть Треплева, его выстрел — тоже отчасти фантазия. Кто кого — она или реальность возобладает? И тут вопрос, он не так прост. Его выстрел, как мы поняли, — его фантазия, что так лучше, что так лучше будет всем, но вот реальность, что с нею? А она такова, что принимать фантазии Треплева не торопится, да, может, и не желает. В реальности люди играют и продолжают беседовать так, запросто, ни о чем серьезном. Только тот голос, произнесший, что Константин Гаврилович застрелился, — он объявляет о смерти и это реальность. Но фантазия героя оказывается и мощнее, и эффектнее, и уходит в вечность, ибо претендует на возвращение. И оно так постоянно, так напористо, в нем есть смысл и продолжение жизни. Возвращение имени, авторской судьбы, трагедии героя, замысловатостей его судьбы. В этом возвращении — мистификация, и она играет тем более важную роль, чем нелепее и непредсказуемее сам выстрел. Чехов таким образом вводит читателя, зрителя потом в некое мистическое заблуждение, давая понять, что не только реальность имеет право противостоять фантазии, но и фантазия никак не спешит уступать. И у кого больше прав и обязанностей, свободы и раскрепощенности — еще большой вопрос!

Фантазия всегда на стороне читателя. С реальностью же он, читатель, чаще всего не соглашается. Мы же понимаем, что Треплев иначе просто не мог. И Чехов не мог. И это — их обоюдная фантазия. На деле же, в реальности протестуем и никак не можем принять этого последнего окончательного ухода героя. Сказка, помните? — он должен остаться жить! Но не этот, который... свою фантазию противопоставил реальности. И получилось — кто кого. Не доборолся, не долюбил, не написал что-то очень важное и хорошее.

Просто жил, разочаровывался и выбрал такой итог, такой поступок, которые стали спасительными.

Человек более всего фантазирует, как ни странно, именно на темы смерти. Не буквально о конечном уходе, сроках, датах и т.д. Этого, как правило, человек знать не желает. Но даже в том повышенном внимании к перипетиям судьбы героя, к тому, чем закончатся его походы, сражения, испытания, любовные истории, наше внимание пристальнее всего сосредоточено на том, останется ли он жив. Выражается ли это прямо, подтверждается ли косвенно, но желание оставить героя (хорошего, конечно, доблестного, положительного, как говорили еще совсем недавно, когда театральное пространство было так удобно поделено на отрицательное и положительное) в живых — превыше всех доводов. И в этом содержится опять-таки большая надежда на преодоление самим человеком тех испытаний, которые выпадают на его долю.

В фантазиях на тему смерти, кроме мотива ВОЗВРАЩЕНИЯ, присутствует еще один, весьма важный. Это — отчуждение. «Это не со мной, да и когда ЭТО еще случится?!» — думает человек, всячески отгоняя от себя печальные мысли. Далеко-далеко, в самом глубоком тылу нашего сознания он, естественно, знает о конце. Но живет вопреки этому знанию. Это третий, тоже важный довод в пользу того, что смерть, сами размышления о ней, отодвигаются человеком в какие-то странные закоулки памяти, в те запасники, в которых способна прогуляться только светлая мысль о надежде.

Так и хочется сказать, и —верю — от меня этого и ждут, что сейчас самое время заговорить о любви. О любви как о спасении. О любви — как панацее. Но все бы так, только с уточнением. Любовь держится на вере и сомнении. И как только возобладает последнее, рушится все и отчуждение смерти становится не таким уж отчуждением. Вера держит любовь, только она вопреки здравому смыслу, мнению окружающих, логике, несовпадениям разного характера, очевидных всем, но

только не любящему, спасает, защищает, абстрагируясь от этого здравого смысла и логики вещей. Но стоит ей ослабнуть, и все — человек готов, можно брать. Кому? Да кому угодно: болезни, неудаче, разрушению внутренней целостности, дисгармонии с миром и наконец — смерти.

Верой в лучшее, такое светлое и совсем недалекое — всего лет двести обождать надо — будущее — наполнены чеховские поэмы, обозначенные им как комедии и драмы, просто рассказы и повести. В них неизменно присутствует та светлая и печальная мысль, которая вполне приближает к надежде. А за ней уже и вера. Лишь бы не колебания, лишь бы не попасть в плен сомнений. И будет все хорошо. Чем мысль не из сказки? Утешение, надежда, исконно присущее человеку чувство поиска справедливости и борьба за нее. Разными, самыми неправдоподобными способами.

Но вот незадача. Человек идет-идет, ищет эту самую справедливость, даже и видит ее и уже почти у цели, но тут оплошность: помехи, препятствия. И самое важное — испытания, так мастерски описанные Михаилом Бахтиным в своих произведениях и более всего в их духе, который касается всего того, что дано человеку в виде испытания. Без него человек состояться не может.

Ничто так сильно не дает пищу фантазии, как любовь. Это такая игра, которая безмятежной и спокойной быть не может: слишком суровы ее правила. Она насквозь сплетена из заблуждений, даже если опирается на самую что ни на есть реальную реальность.

Любовь — фантазия — мечта — из этого соткана вся та скрытая структура человеческих отношений, та явная игра в нечто такое, что непременно сделает человека счастливым. И делает ведь! Но чаще всего и более всего — как раз наоборот. Он только представляет себе, как, что и каким образом свершатся счастье, надежда и все хорошее. Однако действительность разрушает иллюзию правил, по которым строится игра, и тогда вторгается обида, подозрение, ревность и просто ужас.

Человек приходит к разочарованию и — как следствие — отказу от любви, переходя в сторону прямо противоположную: к ненависти. Так, меняя правила, попирая их, человек испытывает не единожды за свою жизнь разные чувства, которые всего-навсего есть проявление одного и того же: утраченной веры и пришедшим сомнениям. Как хорошо в начале отношений! Весь мир — сказка, сами герои — небожители. Но постепенно развитие приводит к неизбежному: переоценке, трансформации, сдвигам.

Любое сильное чувство зиждется на противоречии и соединении двух начал: вере и сомнении. Любовь, пожалуй, самое сильное. И она также опирается на веру — прежде всего, и — как следствие — на сомнение. Любовь подвержена хаосу, но и сомнения не приносят порядок и, уже тем более, не ведут к нему.

Более всего и выраженнее всего носителем хаоса является сама жизнь. А вот смерть выступает, как ни странно, выходом из него, ведущим к порядку. Она и есть — носитель этого порядка. (Мысль Ильи ПРИГОЖИНА, датского ученого русского происхождения, лауреата Нобелевской премии, знаменитого физика XX века).

В «Экономически-философских рукописях» К.Маркс замечает: «Я говорю тебе: откажись от своей абстракции, и ты откажешься от своего вопроса; если же ты хочешь придерживаться своей абстракции, то будь последовательным, и когда ты мыслишь человека и природу несуществующими, то мысли несуществующим и самого себя, так как ты тоже — и природа, и человек. Не мысли, не спрашивай меня, ибо, как только ты начинаешь мыслить и спрашивать, твое абстрагирование от бытия природы и человека теряет всякий смысл». (Маркс К. и Энгельс Ф.СОЧ., т.42,с.126.) Абстракции, или фантазии, которыми пропитано существование человека, отвергнуть или отодвинуть не удастся на протяжении всего хода жизни человека. Ибо именно они питают эту жизнь, насыщают ее смыслом и логикой, как ни покажется странным, в них — весь

опыт предчеловека, в его мифах, сказках, то есть в отступлении от реальности и одновременно в приближении к ней.

Маркс подчеркивал также нелогичность какого-либо сомнения в реальности, а тем более отрицания внешнего по отношению к субъекту мира, — отсюда и его сарказм. Но сомнение — великая движущая сила. И касается это не только художественного мира вещей, но и самой что ни на есть действительности. В сомнении выкристаллизовывается новая точка отсчета, нечто такое, что становится тоже новым по отношению к реальности. В этой точке высекается и новое, подчас весьма неожиданное отношение к окружающему миру, и столь же новое понимание себя.

Человек либо преодолевает сомнение и идет дальше, либо не справляется с ним, и тогда феномен Треплева неизбежно увлечет его в другую плоскость, проще говоря, в другое измерение, в иной мир. Он, Треплев, уже однажды попробовав вкус смерти, повторяет попытку: получится или снова осечка? Это и дает право чеховскому герою покинуть сцену и привычный мир. Страх перед жизнью, ее испытаниями гонит его снова и снова повторить этот выстрел. Этот страх перед несостоявшейся жизнью только укрепляется после посещения Нины. У нее тоже неудача? Выходит, пара, если бы она могла сложиться когда-то, не получилась бы все равно? Так не лучше ли не испытывать судьбу дальше? Вот и выстрел — он и есть выход. Не поборол Треплев сомнения, не смог, не захотел.

В обычном (привычном) понимании жизнь, конечно же, противостоит смерти. Другое дело, что смерть сильнее и неотвратимее. И ей противостоять не может ничего. Вот такой банальный итог.

Феномен Треплева возник отнюдь не в 19 веке, а много веков назад. Еще Шекспир и в «Гамлете», и в «Ромео и Джульетте», и в других своих трагедиях ведет героев к гибели. Их смерть не является неожиданной, более того, скорее и ожидаемой, и безусловной. Она определена всем ходом развития действия — ожи-

дание этой смерти. Смертей! В этом возвращении — одна из загадок смерти, ее необходимость и неизбежность. И не вопрос: выживет — не выживет герой становится основным. Трагедия, ее жанр уже включают ответ на этот вопрос, и он положительный. Нет, следим мы не за тем возможным исходом, который вдруг, неожиданно, невероятным образом не завершится смертью и герой останется жить. Волнует другое: каким образом он идет к смерти.

Возвращение к ней — это бесконечность вариантов и модификаций, это та энергия вымысла, которая в течение веков волнует и томит человечество. В особенности его мыслящую часть. В такой озабоченности смертью, ее неразрешимостью и стремлением пробиться сквозь запреты логики, деструктивного мышления — ответ на многие, многие вопросы, связанные в первую очередь с потребностью человека знать о ней, но вопреки этому знанию... жить.

И тогда спектакль под названием «смерть» начинает превосходить саму действительность, ибо подлинного знания о ней нет и быть не может: никто никогда оттуда не возвращался. Можно прогнозировать дух смерти, окунаться в вымысел о ней, но справедливым остается одно: все то, что ОБРАМЛЯЕТ ее (а мы знаем лишь только то, что действительно обрамляет, со всеми вытекающими ритуалами, традициями, культурой прощания с человеком и т.д. и т.д.), опять-таки относится только и исключительно к жизни. В смерти больше зрелища, больше культового действия, больше иллюзии от незнания, что это на самом деле. И именно поэтому она действительнее самой действительности.

Вряд ли смерть умаляет жизнь. Без этого иллюзорного, во многом игрового действия, жизнь, конечно, проигрывает по зрелищности и тому фетишизму, с которыми воспринимается смерть. Но кто же станет спорить с тем, что лучше жить, чем наоборот, пусть и с самым значительным и внушительным ореолом игры, иллюзии, культом переживания?!

МИСТИКА: ФАНТАЗИИ ПРОТИВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Как только действительность начнет противостоять (и, не дай Бог, побеждать) другой реальности — вымыслу, фантазии, сказке, тому, что не может быть, — сама действительность окажется под угрозой.

Ах, что за фантазии — так напираться на эти самые фантазии, скажете вы! В самом деле, что за сказки, кому они нужны, коль скоро совсем рядом, вот она, за окном, эта самая правда так и бьется, так и ломится в открытые и даже запертые двери? Почему эта вечная потребность в чуде, сказке столь велика, что заслоняет здравый смысл и зазывает человека в иную жизнь, где всем вещам, событиям предпослано иное измерение, где логика и здравый смысл — не самые главные на этом свете и где только маленькая толика вымысла и потребности в нем провоцируют на нечто необыкновенное и замечательное?!

И почему вся эта история с провидцами, гадалками, волшебниками так обостряется в какой-то определенный период времени, а именно: на стыке прошлого и будущего, в преддверии чего-то нового, что всегда несет с собой новый год, новое столетие? Потребность человека в чуде, готовность и согласие на самые невероятные превращения, мистификации, которыми так насыщено новое, только наступающее время, легко объяснимы. Как бы ни был образован человек, как бы он ни был устойчив и защищен от всякого рода волшебства, он с удовольствием рассматривает саму возможность перемен. А именно с переменами связано прежде всего это ожидание чуда: на лучшее, на что-то такое особенное и неожиданное, которое вполне связано с приходом феи, в руках у которой неизменная волшебная палочка. Как в каждом в той или иной степени живет ребенок, так и готовность к игре, потребность в чудесах, свойственна любому возрасту. Игра — вот главное основание и условие этих чудес, их ожидание. Превращения, мистика, сказка — всего этого в избытке

и в обыденной жизни, просто кто-то их видит, а кто-то не желает замечать.

Желание чуда связано еще с одним моментом: стремлением человека отождествлять себя с героем сказки, мифа, того чудесного, где происходят превращения, герой проходит свои испытания и, конечно же, непременно побеждает. Кто не помнит свои детские ощущения, связанные именно с этим: слушая сказку, представляя себя на месте героя, проходишь вместе с ним все то, что положено ему назначением самой сказки.

Когда в детстве мы рассматривали красочные картинки, где были изображены принцы и принцессы, просто герои, феи и Золушки, то всегда, показывая на кого-нибудь из них, говорили, что именно этим персонажем и являемся. Да, на ту минуту, в тот момент, но... являемся. Такое отождествление очень украшает жизнь. Сравнивая, примеривая на себя, человек никогда не стремится стать Змеем-горынычем или людоедом. Герой, в самой что ни на есть идеальной форме — вот его мечта и желание походить на него. Стремление подражать, на кого-то походить очень присущи человеку. В юности мало кто удержался от соблазна подражания в стихах классикам, в одежде знаменитым людям, в том, что временем и обществом стало приниматься в виде классического образца. Эти качества очень присущи почти всем. И это свидетельствует о не менее замечательном свойстве, которое присуще каждому: человек желает походить на ХОРОШЕГО, на истинного героя. Ему не безразлично, кто он и как выглядит, что из себя представляет и кем является. Это стремление быть похожим на героя, равнение на него, справедливого и всепобеждающего, — говорит о том, что человеку изначально присущи светлые, мажорные устремления. Он готов вместе с героем идти сражаться, побеждать и, как в самой настоящей сказке, становиться рядом, а не поодаль от добра. Тоже немаловажное обстоятельство!

Предсказания, всевозможные гадания, мистика, одним словом, дают возможность приблизиться к чему-

то запредельному, где и помещена сказка, где проживает чудо. И обостряется эта потребность в Новый год, в новый век. Всякое новое сопряжено как раз с таким ожиданием, с надеждой.

Понятное дело, что во всем этом есть некая иллюзия, которую человек осознает. Он, как тот актер в роли Отелло, все же не душит до конца, до смерти свою Дездемону, поскольку оставляет зазор между собой, реальным лицом, и тем персонажем, которого изображает. Словом, в самой игре и заключен этот маленький промежуток, учитываемый человеческой психикой, та крошечная брешь, дистанция, способная не отождествлять себя абсолютно с персонажем.

Так и в сказке-чуде. Человек безотчетно стремится к двум вещам в жизни: к любви — эросу и танатосу — смерти. Но и там и там, где-то посредине помещено еще одно, к чему также устремлен человек: к чудесному. И потребляет он его не в одних — понятное дело — сказках и чудесах. Вся взрослая, сознательная человеческая жизнь, профессия, ее отсутствие — тоже сопряжены с поиском необычного, не вписывающегося в некий стандарт повседневного, обыденного. И этот поиск нетрадиционных путей, стремление к нарушению нормы, словом, все тот же парадокс — зачастую открывают потаенное, скрытое в природе человека. Он ищет всю жизнь чего-то такого, что так или иначе отозвалось бы на его поиски фантастически чудесного в обыденной, реальной жизни.

Если прежде мы говорили об игре, как об акте, в котором участвуют сам играющий и либо кто-то, либо то, с чем производится игра, или каким способом, образом, то теперь, в случае с «чудесным», не цель и «во имя чего» становится главным; главным является иное — как человек играет сам с собой. В этой связи он сам устанавливает правила, определяет наличие такого игрового поведения, которое способствует достижению результата в такой игре. А он подразумевается, несомненно. Это может быть какое-то пожелание (и чаще всего именно оно, самому себе определяемое, стано-

вится главным), мечта (что почти одно и то же), цель. «...способ бытия игры не таков, чтобы подразумевать наличие субъекта с игровым поведением, благодаря которому и играется игра; скорее уж изначальный смысл понятия «играть» — медиальный. Так, мы часто говорим, что нечто «играет» тогда-то и тогда-то или там-то и там-то, что что-то «играется» или «разыгрывается», что нечто «включено в игру». (Гадамер. Истина и метод. с.149). Однако эта мысль Гадамера, где он дискутирует с Хейзингой по поводу возможности «развлечься игрой», указывая на то, что в этом есть мотив времяпрепровождения, но еще не игра.

Так и человек, который почти медитирует, стремясь повернуть, выстроить события таким непостижимым, таким мистическим чаще всего образом, чтобы цель, которая может быть сколько угодно фантастической, ирреальной, тем не менее могла стать вполне очевидной, осмысленной и реальной. Почти по сценарию новогоднего застолья: пусть исполнится то, что вы сами для себя хотите. Пусть!

Какие бы желания, мечты ни владели человеком, это всегда процесс и движение. Справедливо говорит Гадамер, что «игра — это совершенное движение как такового». (Там же, с. 149). Но только это не буквально существующее и совершающееся движение; это движение интеллектуального характера, когда круг, в который попадает мысль человека, все-таки оказывается разомкнутым.

Более всего мечта и фантазия основываются на абстракции, которая, в свою очередь, тоже, оказывается, может быть подвергнута как понятийному анализу, так и стать лидером по сравнению с сознанием. Ибо фантазия основывается прежде всего не на сознании, а на образах и представлениях. Одним словом, в самой фантазии уже заложена игра, которая способна к трансформации и замещению.

Наши детские фантазии основывались прежде всего и главным образом на стремлении, желании что-либо ИЗМЕНИТЬ. Вот на этом изменении чего-то и нам од-

ним известным способом строилось все здание фантастических намерений и желаний. Где-то глубоко-глубоко, в тех самых потаенных уголках сознания мы отчетливо понимали, не могли не понимать, что фантазии наши — сплошная выдумка и ничего не исполнится. Но как же прелестно было, однако, существовать в этой удивительной протяженности грез и заблуждений. Может, даже не заблуждений, но безотчетного стремления и веры в возможность самого фантастического, самого неисполнимого! Быть, стать принцессой (в самом раннем возрасте) — да пожалуйста! Получить пятерку за невыученный урок — готово! Съесть зимой красный помидор — тоже мне задача! Поступить в институт и выучиться на врача, стать знаменитым, найти такое средство, чтобы никто никогда не болел и прежде всего любимая бабушка —проще простого! Осмысленность желаний, их постепенное освобождение от налета сказочности и громоздких наслоений несбыточности — тоже характерная черта взросления и трансформации фантазий. По мере возмужания человек стремительно меняет образы, представления на более достижимые и способные к воплощению в реальной жизни.

Все, что связано, условно говоря, с превращением в принцессу, намного реальнее и меньше вызывает озабоченности, чем то же поступление в институт. Потому что в последнем случае предстоящие экзамены и другие процедуры начинают все более и более походить на правду, приближаясь к самой что ни на есть реальности, заменяя ее и ею становясь, наконец. А все то, что отстоит довольно далеко от действительности и менее всего на нее походит, как раз и подчиняется законам чудесного и кажется наиболее приемлемым. Такая странность — ужесточение свершения по мере приближения к реальности — и напротив, полное отступление от действительности делают все менее заметным и прозрачным зазор между реальностью и фантазией. Главным здесь оказывается та абстракция, отвлекаясь от которой, мы, как ни странно, все более

приближаемся к вере в то, что чудеса существуют и что они способны материализовываться.

Неотвратимость фантастического связана с безотчетной верой в человека в то, что, скорее всего, все не так, как принято считать. Эта априорная вера очень позитивно отражается на привлечении фантазии в свою реальную жизнь. Характерно, что именно мотив сомнения упрощает бытование фантазии на самом что ни на есть реальном уровне. Человек сомневается, как ни странно, ни в ее наличии, а задается вопросом, так ли уж неизменна действительность со всем ее неоспоримым устройством? Так ли уж безусловен мир? Именно эти вопросы позволяют «зашагивать» нам из просторов реального мира в мир выдумки, игры, неправды.

Как прелестна все-таки фантазия! Любая, на любую тему! И не поверишь, что кого-то она может миновать. Человек мечтает, стало быть, фантазирует, стремится превратить жизнь в некое подобие выдумки и вымысла, таким образом обретаясь именно в реальной своей жизни. Без фантазии и вымысла жизнь потеряла бы всякий смысл. Что стоят научные открытия, замешанные на правде факта, на эксперименте! Им предшествует фантазия, те расчеты, которые поначалу могли иметь образ, весьма отстоящий от реальности и подчиненности логическим закономерностям. Что стоит игра музыканта, который сопровождает свое музицирование, опираясь исключительно на образы отнюдь не реального мира. Он фантазирует! Он переиначивает действительность, воссоздавая мир, в котором мы — тоже из разных реальных миров — выстраиваем свой, совершенно неповторимый, непохожий ни на один. Что скажешь о поэте, который все свое творчество строит на образах, ассоциациях, на той абстракции, которая порождена фантазией и выдумкой?! То же самое — с художниками и актерами, архитекторами и всеми людьми творческих профессий.

Но не их одних. Молча едущий водитель трамвая думает не только о безопасности своего пути, но в его

голове непременно роятся образы, картинки, абстракции, связанные далеко не всегда с его конкретной деятельностью.

Словом, человек фантазирует при самых разных обстоятельствах, не всегда согласующихся с местом и временем действия. В фантазии есть отвлечение от чего-то конкретного и потому некое отдохновение. Опять-таки безотчетно человек словно уводит себя в нереальный, спасительный мир отдохновения и спокойствия. Погружаясь в фантазии, он испытывает прежде всего удовольствие от того удобного и комфортного состояния, которое сподвигает его на режиссирование реальностью. Он, отвлекаясь от будничной суеты, ныряя за чем-то загадочным и чудесным, всякий раз надеется на обретение этого чуда. И очень часто ему удается его поймать.

Дети мечтают, фантазируют постоянно. Они еще не обременены тем печальным опытом правды, который стреноживает мечту и не дает ей развиваться. Им кажется, что мир беспределен в своей совершенной гармонии. Что в нем реально все! И Дед Мороз со Снегурочкой, и озеро, в котором рыба может говорить; и башмачки у Золушки точно золотые, а сама девушка никакая не сказочная, а самая реальная. Что мама никогда не умрет, а летом вишни поспеют обязательно и их можно будет съесть сколько угодно.

Замечательно, что про вишни взрослые думают то же самое.

16 августа 2007 – 24 апреля 2010 года. Москва.

РАССКАЗЫ

СОВСЕМ НЕ ГРУСТНЫЙ РАССКАЗ

— Ты вкладываешь в мое сердце грусть, — сказала она и отвернулась. Он тоже молчал некоторое время, потом обнял ее и почему-то рассмеялся. И еще сказал глупость: «Я вкладываю, я и выкладываю. Все будет». Это была его извечная привычка не заканчивать фразу, а обрывать ее словно на полпути. Он и жил так, как будто проходил только какую-то часть, отрезок пути, потом все бросал и шел дальше. Но странное дело, в этой обрывистости, незавершенности был свой смысл: он каким-то неведомым образом все-таки заканчивал начатое, более того, оно радовало своими завершенными чертами, и все было хорошо.

Однако хорошо было только ему. Она не понимала, не желала принимать того, что обещанное осталось на полдороге, что люди, которые томились ожиданием исполнения, так и сидят в своем неведении, что приборы так и не довоплотились в своих прелестных изначально задуманных формах. На все ее недоуменные вопросы, просто несогласия, даже протесты он реагировал по-своему: говорил, что ничего страшного не случилось и что все в конце концов образуется.

И ведь верно, каким-то хитрым образом образовывалось же! Вот и теперь сказать, что и в какой момент произошло, что сдвинулось, чтобы стало так неудобно и тревожно, было невозможно. Они встретились, посидели в кафе, где ели неизменный кусочек жареного мяса. Но поскольку ресторан был японский, то порции подавались соответственные: маленькие, изящные. И именно тогда, погрызывая свою косточку, на которой крепился маленький кусочек говядины, она с усмешкой вдруг посмотрела на него и спросила, почему он ничего не закажет, что деньги же есть. И что вообще, пора что-то решать: эта беспросветность и неналаженность жизни сильно ее измучили. «Что же такого нового случилось?» — невозмутимо спросил он. — «А то, что мне уже тридцать семь и двигаться некуда. А я рожать хочу». — «Вот и замечательно, вот и рожай, кто тебе

мешает?» — «Ты!» — был ответ. Он засмеялся, как-то легко откинувшись на стуле, хитро посмотрел на нее, затем снова почему-то долго смеялся и сказал, что можно родить уже через девять месяцев, если отсчитывать от сегодняшнего дня.

— Мы нигде не были, только вот ели...

— А мы еще успеем, какое наше время? Подумаешь, всего-то пять вечера. Куча времени впереди.

— У тебя что, есть план?

— План есть всегда. Идем? Или ты еще будешь грызть?

— Тебя что ли?

— Да меня-то ладно, я привык. Догрызай свою косточку и вперед.

— А куда мы пойдем? Нам даже некуда.

— Я сказал, у меня есть план. Поднимайся.

Они рассчитались и вышли на улицу и погрузились в такое прелестное сновидение, что никакой реальности с ним было не сладить. Музыка ветра и дождя обхватила их и понесла, помимо их воли, куда-то вперед. Дух захватывало от быстрой ходьбы, да она и не спрашивала, куда он ее ведет, вернее, куда они мчатся.

Сначала они проехали три остановки на метро, затем прокатились на троллейбусе, который не сумел испортить общую веселую песню, звучала которая и в их душах, и сливалась вместе с погодой, непокорной и неустойчивой. Сплошная бесшабашность, которая стихийно увлекала их в неведомый угол Москвы, стала прорисовываться в виде небольшого трехэтажного дома, старого, но очень опрятного.

Она огляделась, вывернувшись из-под его руки, и сообразила, в каком именно районе они находятся. Это были Черемушки, и улица, которую она тоже знала: много лет назад навещала подругу в больнице, расположенную как раз рядом. И вот здесь-то стоял тот самый дом, аккуратный и тихий.

«Замечательное место для зачатия ребенка», — подумала она и еще больше прониклась мыслью о сумасшедшем намерении, охватившем их обоих, и доме,

так отстраненно и в то же время приветливо глядящего на них.

Он достал из кармана железяку, притронулся к металлическим штукам на двери, и они раскрылись. Странное дело, но и внутри было столь же тихо и опрятно.

Поднялись на третий, последний этаж, и он снова своим ключом открыл дверь.

«Откуда это у тебя? Ты ничего раньше не говорил». — «А зачем? Вот, случай как раз представился. Заходи, здесь никого нет, даже опасности — тоже нет».

Она отметила его хорошее настроение, сняла свой плащ, помедлила, сбросила туфли и вошла все же в комнату.

— Вот и хорошо, сейчас я чего-нибудь соображу. Чаю, например. Мы же не успели попить чаю.

— Кто здесь живет? И откуда ты все знаешь? Чье это?

— Может быть и наше. Не дрейфь, проходи.

— Что значит «наше»? У нас нет ничего вообще. А я еще о ребенке речь веду. Не слушай, это я пошутила.

— Возможно. Однако я вполне серьезен. Наливай чай и раздевайся.

— Что, прямо так сразу?

— Вот именно. Чего тянуть? И так без конца упрекаешь меня в половинчатости. Хоть раз что-то доведем до конца. Как ты считаешь?

— Я? Никак.

— Правильно. Считать буду я.

Он как-то судорожно хлебнул чай, который она все же сумела вскипятить и разлить в чашки, потом вытер руки полотенцем, промакнул рот и сказал, что временно будет отсутствовать, но вернется всенепременно. На этих словах он ушел в ванную, а она медленно осматривалась в комнате, тоже, как и странный этот дом, хорошо прибранной, обставленной и в своем центре имеющей большую кровать. Спинка у нее была непомерно высокой, покрывало было так тщательно, так ровно натянуто, что ее кольнула мысль, не дом ли это

свиданий. Но откуда такая чистота и уютность? Прямо-таки домашнего толка. Она рассматривала безделушки на этажерке, книги в большом стенном шкафу и все больше убеждалась, что никакой это не дом свиданий, и только обидная мысль донимала все больше: ну почему он ей ничего об этом не говорил? Почему?

Она попыталась определить род занятий того, кому принадлежал дом, и с удивлением обнаружила, что шкаф наводнен словарями, причем самыми разнообразными, о каких она даже и не слышала. И тут ее снова что-то больно кольнуло: «Да не его ли эта квартира, в самом деле? Уж больно много совпадений. И ключи лихо подобрал, и словари — его тема, и в ванную отправился, как к себе домой. Что это все означает?»

Однако решила не раскачивать ситуацию и промолчать. Понимая, что и так все когда-нибудь каким-то образом раскроется.

Он вышел из ванной, привычным жестом откинул волосы, свои чудесные каштановые с проседью волосы и снова рассмеялся.

— Колдуешь? Думаешь, чье? Потерпи, все узнаешь. Иди, полей на себя водички.

Она, не проронив слова, отправилась принимать душ, и боль отпустила ее. Она начала догадываться о происхождении квартиры. Никакой не свиданский, его это дом. Он сам когда-то говорил, что дядька уехал в Австралию и скорей всего отпишет ему это жилище. Так, наверное, и случилось. Но почему он молчал? Господи, опять эти тайны, загадки.

Она стояла в желтой, почти солнечной ванной комнате, слизывала с себя струи воды и постепенно освобождалась от тревог, от опасений, от дурных мыслей и предчувствий.

«Что думать и думать, когда и так все хорошо. Ну, или почти все. Он же уже подал на развод, осталось всего каких-нибудь полтора месяца. А может, даже меньше. И вообще...» Что скрывалось под «вообще», сказать было трудно, но что она постепенно возвраща-

лась к своему состоянию счастья и удивления жизнью, — это точно. Точно, как и то, что не в ее характере было стонать и мямлить, сетовать на жизнь и к чему-то придирааться. За это в особенности он любил ее очень и очень. За пофигизм что ли?

Она вышла в халате, который нашла на крючке, с замотанным вокруг головы полотенцем и с улыбкой во весь рот.

— А я все поняла.

— Молчи, только молчи, потом расскажешь. Иди сюда.

И он увлек ее к окну, молча приблизил ее лоб к чистому, почти что сияющему стеклу и так же молча обнял. «Вон, где счастье», — сказал он и уже не рассуждая и не медля поднял ее и понес на кровать.

За окном, не нарушая тишины и покоя дома, все так же метались ветер и дождь, как будто играя в перегонки и догонялки. Но на атмосферу квартиры, тихой и ухоженной, это не влияло никак. Напротив, эти двое словно много лет прожили в этом доме, так беззаботно и спокойно дышалось им здесь.

Дышалось, правда, по-разному. То оба задыхались и охали от страсти, что набрасывалась на них под стать стихии, бушующей за окном, то едва дышали, словно поспевая за медленно и равномерно бьющимся сердцем.

Потом, совсем потом он приподнялся на локте, посмотрел на нее и проговорил, причем, все так же весело и беззаботно: «Точно, хоть что-то довели до конца. Я надеюсь, по крайней мере». — «Ты это серьезно?» — «А я разве похож на несерьезного человека?» — «А как же? Только на такого ты и похож», — засмеялась она и впервые в жизни была счастлива так, как только может быть живой, молодой, надеющийся на радость жизни человек. Все получится, она не сомневалась в этом. И какая разница, чей это дом? Будет их — еще лучше.

И он, словно поймав ее мысли, заключил: «Потерпи, недолго осталось». — «До чего недолго?» — хитро спросила она. — «До всего», — уверенно заключил он и

с головой замотал ее в простыню, которая до этого лежала отброшенная и совсем не смятая. «До всего», — повторил он и упал на кровать, раскинув руки и вновь залившись своим особенным смехом.

Вечер уже не стучался в окно. Он только поблескивал слегка игривым светом, напоминая гражданам, что совсем недавно бушевала непогода и все еще в жизни может быть. Это пока, мол, отдыхайте, а завтра посмотрим. До завтра ведь недолго, правда? Обождем, хотя так не хочется заканчивать этот вечер и переходить к ночи, а потом ожидать утра. Пусть он, этот с шумом ветра и дождя вечер длится и длится, напоминая о том, что даже мечты могут свершаться, подтверждая надежду человека на реальность и всамделишность чуда. Оно, поверьте, вполне возможно.

24 мая 2008 г.

ТЮРЬМА

- Ты Курослепов. Понял, ты — Курослепов!
- Что это означает?
- То, что ты слепой, глухой, мерзкий и злой!
- Но при чем тут Курослепов?
- Ты мерзкий, ты довел меня до ручки. Ты подсадил меня... да, подсадил меня на наркотик.
- Новое дело...
- Ты и есть мой наркотик. Я уже никогда не смогу избавиться от тебя. Ты мерзкий.
- Ты уже это говорила.
- Вот, видишь, какой ты мерзкий — «говорила». Ну и что, что говорила, еще послушай.
- Я слушаю.
- В тебе одно равнодушие, глупость и все. Ты наркота.
- Не вижу связи.
- Да ты ни в чем не видишь связи, ты шельма, глупец.
- Одно исключает другое.
- Вот, вот, видишь, какой ты мерзкий, как ты можешь изводить. Тихо, ненавязчиво, но так, что хочется убить. Никогда не видеть и убить.
- Так убей.
- Ага, сейчас, разбежалась. Но я бы убила, ей-богу, убила бы. Ты — мой надзиратель, мерзкий, ничтожный враль, жадина и глупец.
- Опять ты за свое. Но какой я жадина? Тебе бы это говорить?! Тратишь по пять тысяч за...
- Да, за сколько? За месяц, два, за день?
- Бывает, что и за день.
- Ах, так, ну, смотри. Я убью тебя. Вот возьму и сделаю наконец это нужное дело.
- Нужное для кого?
- Для тебя. Чтобы ты опомнился, стал не таким мерзким. Чтоб увидел, кто рядом с тобой живет.
- Но это же будет невозможно. Невозможно, если ты меня убьешь.

— Да, убью. Пусть не сейчас, но я сделаю это.
— Однако мне пора. Ты будешь кофе?
— Вот, даже в этом ты издеватель. Знает, что я никогда, ни-ког-да не пью кофе, и он мне его предлагает. Ты жуть. Зачем ты живешь? Чтобы воплощать свои мерзкие планы по уничтожению человечества?
— Космос и человечество — две вещи, весьма совместные. Ты не думаешь?
— Я уже вообще не думаю, я только думаю, как спалить тебя. Ты сейчас выпьешь свой гнусный кофе и уйдешь, захлопнешь дверь и уйдешь. А я снова останусь в этой тюрьме. И снова под присмотром твоих планов, чертежей и пробирочного безобразия. Не могу, я больше ничего не могу. С меня хватит. Получай, на тебе, на, пусть кровиха заливает твои никогда не проступающие слезы. Пусть, получай.
— Да что ты делаешь? Больно же.
— Ах, ему больно, прекрасно. Я этого и хотела. Больно... Получай еще.
— Да убери ты свои руки.
— У меня рученьки. Ясно?
— Убери, слышишь? Ты видишь, что ты натворила, кровь же. Ты что, ослепла?
— Я — нет, это ты — Курослепов. А теперь, наверное, еще и одноглазов. Ха-ха-ха-ха-ха... Ой, как здорово получилось, никогда не видела столько кровихи. Неужели тебе, наконец, больно?
— Уймись, дай умыться...
— В этом что-то есть: «уймись, дай умы...»
— Да пусти ты, воды дай.
— Иди и набери, какой важный, воды ему. А еще в глаз не хочешь? Не желаете ли в глаз, уважаемый? Сволочь такая.
— Слушай, из-за чего весь сыр-бор? Что я, зарплату не приношу, по бабам шляюсь, с мужиками по гаражам чуркаюсь? Что тебе не то?
— Ах, да мы святые! Простите, не учла. Святоша, прости меня, не заметила. Зарплата! Вон он куда загибает. Да плевала я на твою зарплату. И на мужиков.

Да и на баб тоже. На все! Понимаешь, на все и вся. Я хочу на волю, вот что я хочу.

— Этого ты не получишь. Хотя, прости, чем тебе наша жизнь не воля? Чем я тебя неволю? Это ты ослепла и не видишь, как я пашу тридцать часов в сутки, как похудел, как у меня болят почки. Как я не жру целыми днями.

— Врешь, все ты врешь! Сутками он не жрет! Кто тебе заворачивает каждый день пакетики? Кто звонит, чтобы не забыл сходить в столовую? Кто покупает тебе рубахонки и все остальное? Кто, Курослепов?

— Ты, все ты. Но ты хочешь чего-то такого, чего дать я тебе не могу, не в состоянии. Я не провидец и не султан.

— Не вижу логики: или провидец, или султан.

— Я не богач и не могу удовлетворять твои запросы, вот это я хотел сказать.

— Запросы? А ты знаешь, в чем они? И что мне, собственно, надо?

— Что?

— Ничего.

— Тогда о чем речь?

— А о том, что я в тюрьме. Меня запирают каждый день, суют энную сумму и обозначают круг дел и обязанностей. Это свари, это вышей, этому дозвонись. А сам? Если бы не я... Почему я должна сидеть здесь и только по твоему хотению выходить или не выходить на улицу, в магазин, куда угодно?

— А куда тебе угодно? К твоей дуре — Верке?

— А хоть бы и к ней.

— Ну нет, глупостями нечего заниматься.

— Вот, вот оно, я его только что поймала за хвост. Вот где начинается изувер и мститель, вот он, голубчик. Нет, ты не Курослепов, ты еще хуже. Ты все видишь и слышишь, ты просто изувер. На, получай еще.

— Дура, я хотел сказать дурочка, в Японии самая длинная, долгая, если угодно, продолжительность жизни. И все почему? Да потому, что они знают, что такое дисциплина. Не гребаная наша отечественная, липовая

и лицемерная, а истинная, построенная на любви к ближнему и к своему отечеству.

— Проклятый карьерист, патриот. Ты не знаешь, что такое отечество. Прожил в тухлой своей деревне всю жизнь и дальше этого ничего не знает. Сгрэб меня из моей Вологды и рад!

— Да, рад. А что тут плохого? Ты дома тоже делаешь нужные вещи.

— Кому нужные? Тебе? Может, твоей деревне?

— И мне тоже. И деревне. Из нее, кстати, отечество и вырастает.

— Ах, ах, ах, как мы заговорили. Убила бы. Выпускай меня давай и ключ отдавай. Нашелся мне тут надзиратель. Если ты, слышишь меня? Если ты сегодня, сейчас же не выпустишь меня...

— То что?

— А то, что я спрыгну с балкона.

— Тоже вариант.

— Вот, снова, снова ты душишь меня. Убивец, ты — убивец, так и знай. Мне остохренели твои пяльцы, эти бесконечные вышивки, уже некуда развешивать эти творения. Вся кухня из ерунды, где сюжеты налезают один на другой. Надоело, мне все надоело.

— Правильно. Так ты сама нарисуй что-то, зачем ходила в эту чертову школу, замарывала весь дом? Зачем столько усилий было? Денег, в конце концов? Все на ветер. Я тебе вообще скажу, что ты живешь на ветер. Если бы не я...

— Ах, так? Ты? Все ты и ты?! Да кто бы ты был, если бы не мой папа и не моя родня? Если бы не устройство тебя везде и всюду? Сам-то что ты можешь? Без меня ты — нуль. И без меня ты пропадешь.

— Это как сказать.

— Ах, даже сейчас он не теряет присутствия духа, какой японец, аж тошно.

— Ася, давай помиримся, убирай свою сковородку.

— Что? Это ты? Вставай на колени.

— Хорошо, встаю, вот, видишь. Что еще сделать,

чтобы ты успокоилась и не прыгала с балкона? Что?

— Застеклить его надо. Уже сто лет живем, а застеклить он, видишь ли, не может. Что ты можешь?

— Любить тебя. Мало?

— Это тебе кажется, что ты любишь кого-то, кроме себя. Ты умеешь любить только себя.

— Асенька, я стою перед тобой на коленях, я обнимаю твою тощую задницу, что еще? Неужели ты не счастлива?

— Я никогда с тобой, именно с тобой не была счастлива.

— А я был И есть. На ключи, бери. Только что ты с ними будешь делать? Один-два дня без моих поручений и записочек, без четкого плана на день, и ты...

— Что я? Загнусь?

— Вот именно. Так что завязывай. Ты же умница. Вот, и рисуешь хорошо, и вышиваешь, и по телефону прекрасно разговариваешь. Ну куплю я тебе эту псину, бог с тобой. Тебе же шерсть выскребать.

— Когда купишь?

— Да хоть сегодня.

— А не врешь?

— Вот тебе зуб.

— Давай.

— Что, зуб?

— А ты думал, я шучу?

— Ты серьезно?

— Да, вполне. Дай зуб. И встань. Я не привыкла к таким экзерсисам.

— Привыкай. А вообще-то...

— Что? Что вообще?

— Пошли, давай, пошли, собирайся, иди, одевай зеленое платье. Уходим.

— Да куда?

— Куда, куда? К чертовой бабушке.

— Скажи, куда, а то...

— Что, не пойдешь?

— Пойду.

— Пошли, давно пора. Сегодня как раз вторник, они работают. Надо тебя накрепко привязать к себе. Надоело.

— Что, в загс что ли? Нет, я не пойду.

— Еще как пойдешь. Одевай зеленое платье.

— Я одену, но не пойду.

— Где паспорт? Твой где?

— Не знаю.

— Вот, видишь, а в Японии все все знают. В первом ящике. Бери. Давай, я запрю.

— Нет, я сама.

— Да ты же не умеешь.

— Конечно, сидеть тут годами взаперти.

— Не в ту сторону поворачиваешь.

— Без тебя знаю.

— Лифт вызвала? Нажимай. Да не восьмой, а первый, дуреха.

— Я не дуреха.

— Хорошо-хорошо, умница моя. Пошли.

25 мая 2008 года.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ

Нина шла к трамвайной остановке и с остервенением вспоминала крайне неприятную сцену, происшедшую час назад. Ее коллега, Генриетта Михайловна, обличила её в откровенном попустительстве диссертантке, только что защитившей диссертацию со страшным названием «Драма человеческого духа: предистория и гибель». Персонажами драмы являлись поэты Серебряного века, художники современности, люди, так или иначе причастные к творчеству. Дама прицепилась к Нине с двумя обвинениями: почему-де не выбран один, конкретный объект, и — вслед за этим — это что, вся эпоха такая, что люди творческие гибнут, еще не дожив до седины? Напрашивались и другие параллели: стало быть, судьба человека-творца по-прежнему зависима, по-прежнему он не свободен? И так и остается в оковах чьих-то пристрастий и субъективных оценок?

Генриетта Михайловна сама себе противоречила. Она не могла не ведать, что названные диссертанткой личности действительно умирали, добровольно или им помогали это сделать. Она не могла не знать также и того, что судьба художника — такая хрупкая субстанция, обремененная многими обстоятельствами и обязательствами, груза которых он порой просто не выдерживает. Ему надо и то, и другое, и третье, а на самом деле он хочет заслониться ото всех и... совершать свое праведное дело. Вот и все. Но спор разгорелся нешуточный, и Нина выскочила с заседания багровая и в слезах. Ей казалось, что ее особенную романтическую душу никто не понимает и не стремится понять. Был один дядечка из соседнего учебного заведения, который, хотя и пикировался с ней, но — ясное дело — поддерживал и одобрял, верил в нее и не особенно прекословил. Но другие? Все дело, думала Нина, было в ее внешности. Именно она не давала покоя многим и многим. Да еще возраст. Не самый почтенный для занятия высокого поста при явной, изумительной красоте. Это и мешало, и раздражало коллег, и становилось по-

рой препятствием, преодолеть которое ни с какой логикой было невозможно.

Она шла и вспоминала подробности, и у нее перехватывало дыхание: как было не понять диссертантку, так точно, так выверенно все сделавшую? Так глубоко и — главное — неожиданно взглянувшую на проблему? Разве содержалась хоть одна ошибка в ее точке зрения, и разве неправда то, что она в итоге утверждала? А настаивала она на простой вещи, до которой в какое-то время жизни додумывается любой здравомыслящий человек: драма и даже трагедия думающего человека, человека-созидателя, что-то и впрямь сотворяющего, неизбежна. Так жили все великие. Не певцы на нашей благословенной эстраде, но великие люди. Не богатые и знаменитые, а великие. Они таковыми становились не сразу и чаще не при жизни, но ведь потом время оценивало их красоту замыслов и их вопощений!

Драма, она всегда рядом, поблизости, она всегда на чеку и подстерегает любого, кто хоть на немного замешкался, споткнулся, не устоял. Она коснется всякого. Кто так или иначе ПРЕСТУПИЛ. Кто повинен и кто не дорос до того, чтобы называться великим. Да, верно, сначала нужно им стать, а до этого великий, долгий путь, путь ошибок и непонимания. Вот ведь какая штука: почему именно непонимания? Всегда так было и так будет? Почему? Нина слегка замедлила шаг, даже приостановилась и осмотрелась. Вокруг сновали туда-сюда люди, и было непонятно, что им всем надо. Но наверное, было все же что-то надо, раз бежали и суетились. А правда, почему к самым главным своим открытиям в жизни человек приходит или испытав что-то страшное, или вот так, неожиданно и словно случайно? Вот и она, Нина, озираясь по сторонам, вдруг подумала, что, скорее всего, эта Генриетта просто не сумела еще что-то понять, что-то очень важное в жизни. Она вспомнила, как однажды на каких-то посиделках после очередной защиты та неожиданно для всех запела и, несмотря на свой отнюдь не ухоженный вид, запела страстно и увлеченно. Это было неожиданно. А

потом еще сказала, что ко всему надо прийти, да прийти вовремя. Это вдруг теперь припомнила Нина, Ниночка, как ее называли все вокруг — и коллеги, и даже взрослые аспиранты. Что-то в ней было такое, что, сближаясь с ней, становилось просто невозможно обращаться к ней по имени-отчеству. Так и повелось в их научном заведении: Нина и все тут.

Вдруг ее задела. Она резко оглянулась и наткнулась на их сослуживца, который нечаянно ткнул ее зонтиком.

— Ох, извините, Ниночка, задумался.

— Да ничего, я сама что-то в задумчивости. Вот и вышло так.

— Нет уж, как-то нехорошо вышло, простите. Вы как, сильно расстроились? Вижу... Бросьте, не стоит эта ерунда вашего такого настроения.

— Нет, я совсем даже...

— Я вижу, старика не проведете. Люди не все еще выросли, вы поймите. Такая жизнь. Пока человек до чего-то додумается, жизнь и прощаться начинает. Бывает, не отчаивайтесь. Все дело, как бы помягче выразиться... в вашей такой нестандартной внешности. Вот люди и думают, что вы все что угодно, но только не думающий человек, не философ, одним словом. А вы философ, я это точно знаю. И знаете, как я это понял? Думаете, по вашим речам? Нет, по молчанию. Вы особенно молчите, не как другие. И потом вопросы. Такой зададите, да так искренне, обезоруживающе, что диву даешься... Бросьте, не переживайте. Диссертантка ваша умница. Просто молодец. Другое дело, что название надо было чуть-чуть поточнее сделать, не так широко, чтобы и нефилософам было понятно. Ага?

— Не знаю, мне кажется, что дух и плоть, сам архетип Духа — все точно сказано. Какой нынче дух? Пахнет ли им, как Русью?

— Пахнет, пахнет, куда ж ему деться?

— А я иногда сомневаюсь.

— Да вы меряете по современному телевидению, да по быту. Вы же философ, я же уже сказал. Так как,

скажите на милость, может изжить себя дух?! Согласен, другие приоритеты, не им живет общество, но он здесь, с нами, рядышком. Я его слышу, вижу. Вот он! Полетел, видели?

— Смеетесь, это хорошо.

— А в остальном — хорошая работа. И про предпосылки, и мотивацию, и про гибельность творца, и одержимость этой гибельностью — все так. Молодец! Вот помните, приходит блудный сын на картине Рембрандта? Какой он? Какие на нем одежды, поза сама? Как стоит на коленях? Ведь все понятно: целая жизнь. Что пережил-перестрадал, с чем пришел и чего хочет. Но и в этом уже есть залог гибельности и обреченности: ведь жизнь прожитую жизнь с ее годами, событиями никуда не денешь. А их и не досчитать уже. Страшно. Разве только раскаяние и счастье обретения дорогого человека? Нет, это так, на поверхности лежит. Все глубже, да вы и сами знаете. Там действительно дух. И уже нет вопросов, что первое, что превалирует. В грязных ногах и разодранной одежде — дух. Вы согласны?

Нина посмотрела молча на Кирилла Ивановича и взяла его за рукав.

— Не знаю. Иногда я ничего не знаю.

— Это хорошо. Знать все вредно. Я и так вижу, что вы поняли меня.

— Скажите, Кирилл Иваныч, а вам хорошо? И вообще, бывает в жизни совсем хорошо? Ну, прямо наотмашь?

— Конечно. Особенно тупым и нищим. Но — странное дело — философам тоже бывает хорошо. Прямо здорово. До дури. Как мне сейчас.

— Это в вас что-то личное. Просто настроение такое.

— Нет. Хотя... Как вам сказать? Может, и личное. А как без него? Вы что же думаете, старик почти, поэтому и счастлив, что ничего не нужно больше в жизни? Так не бывает.

— Наверное. А можно я спрошу?

— Валяйте. Я даже знаю, что вы спросите. Хотите скажу?

— Да.

— Вы спросите меня, есть ли у меня собака, если нет жены и много ли я выпил на банкете? Отвечаю. Жены нет, собаки — тоже, пил мало. Не хотелось.

— Ну, вы даете. Я думала, провидцы живут где-то, неизвестно где. А вот вы стоите рядом и все-все знаете.

— Нет, ошибаетесь, дорогая Ниночка. Я не знаю многого. Например, того, отчего это мне так хорошо с вами беседовать? Это раз. Во-вторых, я до сих пор не могу взять в толк, почему ... Ну, что это я?

— Говорите, мне важно...

— Да что вам может быть важно? Вы даже не знаете, что седьмой год я хожу следом за вами, иногда наткнувшись на вас, как сейчас, например, и все не решаюсь рассказать о чем-то важном?

— Вы меня смущаете.

— Это хорошо. Так и надо. Ну, по законам жанра. Нет, это просто я теперь смущаюсь.

— Я не знала. Нет, я всегда отмечала, что вы умный, да просто хороший, может быть, даже замечательный...

— Остановитесь, я сейчас уйду, и все станет по-прежнему.

— Пойдите, вы что-то такое сказали, что стало звенеть. Почти звенеть. Вы не пишете стихи?

— Ну, помилуйте, отчего же стихи? Мне хватает монографий и статей. А вот ваши я читаю.

— Откуда вы знаете?

— Когда любишь человека, знаешь о нем все. По крайней мере, стремишься.

— Вы?!

— А я-то думал, вы все поняли, наконец.

— Господи, что же делать?

— Ни-че-го! Я пошел! Будьте спокойны и счастливы.

— Как теперь я могу быть спокойна?

— Только теперь и можете. Смо-же-те! Пока.

Кирилл Иваныч удалялся, и Нина вдруг подумала, что ничего вокруг не видит, кроме каких-то бумажек, докладных, научных статей, конференций. Не видит живых людей, а берется рассуждать о гибельности и одержимости души. Да что она знает?! Что может знать?

А ее собственная душа, где она, с кем? Уверовала в свою исключительность и перестала ощущать себя человеком. Да-да, полноценным человеком. Так, выхолощенная модель, гипербола от концепции и контекста. Все!!! Нет, так дальше нельзя! Что ее ждет? Еще несколько лет таких же комплиментов, успехов на заседаниях, злости на Генриетту или кого-то еще, а потом? Что будет потом? Кто ее-то будет ожидать, делая выбор между плотью и духом? Кто утешит ее в ее собственном доме, когда она придет туда после очередного бабского выпада? Ни-кто. Как и все годы, все долгие годы, что она служит в этой академической конторе. Шьет новые платья к каждой защите, ходит к Катьке на укладку — и все радости! Да, еще кот, серый роскошный кот, который ездит вместе с ней в санаторий, тайком живя в ее палате, слышит ее разговоры с единственной подругой Светкой и почему-то все больше напряженно молчит и о чем-то думает. О чем? И думают ли коты? Нет, срочно, просто немедленно надо что-то менять. Так зачахнешь в своем НИИ, и никто не вспомнит, разве что завистливые бабы.

Вот, Кирилл Иваныч! Где были ее глаза, когда семь лет кряду она проходила мимо и ничегошеньки не видела. Ни его самого, ни его отношения, ни-че-го. А он вот как, оказывается. Такой твидовый чудесный пиджак, галстук — все в тон, все прекрасно. И душа, ранимая и тонкая душа у него тоже, оказывается, есть. Господи, но где она была все эти годы, куда смотрела?

Нина перешла улицу, зашла в зоомагазин. Накупила Чарли вкусностей, поправила свой новый английский плащ, который привезла с очередной конференции, и пошла пешком. Не села в трамвай, а долго шла

и шла и все думала о том, что исследование, пусть и замечательное, но остается неким бумажным доказательством несовершенства человека, ограниченности его возможностей и просто нелепостью. Он пишет и пишет в надежде пробиться к вечности, а она-то его и не пускает. Лучше Рембрандт и Лермонтов, там хоть есть истинная трагедия. А что в ее заведении? Может, вообще на все плюнуть и пойти в официантки?

Дорогу перебежал парень, вихрастый, с рюкзачком на плече. Он отчего-то задержался, глядя на нее, затем хмынул и спросил. Спросил весело так, как старый знакомый: «Дождь, интересно, будет, как думаете?»

10 июня 2008 года.

ЛЕКАРСТВО ОТ ХВОРЕЙ

Встретившись с хлористым кальцием, у эуфили-на расширились зрачки: как это возможно? Полная же несовместимость! Что делают эти врачи, гробят только больных и все! Написано на любой упаковке: сердцебиение, жар и прочее. Ну, что ты, разве им что-то докажешь?!

Ладно бы только эуфилин. До этого в желудке встретились еще три собрата по несчастью: конкор, эглонил и седуксен. За полчаса до них в бедный желудок пробрался не кто иной, как желудочный же препарат нормофлорин и, несмотря на свое такое нежное название, бунтовал отчаянно: в его-то вотчину и столько народу! Ужас!

Это и впрямь был ужас. Желудок не только ерепенился, но пытался всячески освободить свою и так не очень большую жилплощадь от стольких пришельцев. Понятное дело, что есть владельцы еще меньших объектов, это тебе не кишечник какой-нибудь с его многометровой протяженностью. Он тоже — ничего себе, загордился: делать ничего не делает (в смысле полезного), а только упрямится и ворчит. Как старый дед, все ворчит и ворчит. Никакого сладу последние годы. И чего он ворчит?! Обленился, старый хрыч, куда только смотрит его бедная слепая кишка? Потому, наверное, и слепая, что ничего не видит. Дура. Последнее слово принадлежало бедному неучтенному панангину, неизвестно зачем вообще затесавшегося в эту безрадостную компанию. Он был тихий и себе на уме. Именно он разглядел мудрым свой взором, не ослепленным завистью к другим, что творится нечто невообразимое и что с этим пора кончать. Но как? Как? — недоумевал спокойный носитель калия. И зачем его вообще взяли в эту обойму? Он чувствовал себя явно лишним и сознавал это.

Однако несчастья на этом не заканчивались, все было значительно серьезнее. Надо было понимать, у кого какой характер и кто не остановится на захвате

одного только желудка. Например, буйный хлористый, пробиваясь сквозь тонкие стенки сосудов (настолько тонкие, что он прожигал их насквозь, так был неистов и напорист) полагал, что только он занимает в этом псевдоансамбле лидирующее положение. Его ввели первым. Это уже за ним последовал горячий, неумный эуф. Так сокращенно называл про себя эуфилин недовольный жгучий хлористый. Эуф не утомится, это было ясно: сначала раздуется от собственной важности, затуманит всем мозги, потом резко нарушит всю возможную гармонию, которая еще теплилась в изможденном организме, затем подключит к утру желудок и вечно полусонный кишечник, ну и тогда начнется свистопляска. Всегдашнии соперники, эуф и хлористый, конфликтовали между собой всегда. Но теперь дошли прямо-таки до антагонистического состояния.

И только мудрый панангин взирал на все это безобразии с полным хладнокровием, жалея и поругивая немного владелицу всех этих достопримечательностей, чудесную барышню Маргариту Агафоновну. Ну что она так печется о своем здоровье, что все хворает и жалуется? Все не так уж и плохо. Ну, болит сердце, смотрит куда-то на сторону печень, почки и те заупрямились и норовят занять свободное от болячек место. Шалят, ох, шалят суставы, но им-то как раз ничего и не перепадает. Все достается бедным хрупким бронхам, которые всегда могут выпросить себе самое лучшее. Но это им только так кажется. Уже давно никто не травит себя хлористым, а спокойненько дышат себе в трубочку и получают эти капризули-бронхи свои важные воздушные пузыри. А вот бедные суставы... Что толку, что на ночь их заматывают теплыми платками и косынками, что прикармливают, как бедных нищих, вечным анальгином (тоже известный хулиган, или правозащитник, что теперь уже почти одно и то же!). Ничего это не лечит. Вот суставы-то и обозлились, решили так досадить в последнее время своей Маргарите, чтобы она и на них обратила, наконец, внимание. И правда, стоило им взбунтоваться всерьез, как Риточка

тут же поскакала (ха-ха: поскакала!) к доктору. Спасите, мол, помогите! А ее раз и еще на одно мученье бросили: стали намазывать словно майонезом коленки и водить по ним какой-то электрической штуковиной. И так кряду раз восемь. Толку не было, или почти не было, но Маргарита ходила упорно и держалась изо всех сил. Ей было наплевать, что сердце своим неровным постукиванием, называемым перебойми, уже не могло довольствоваться только одним конкором да панангином. Ему место подавай, тесно! Так и выпрыгивает из груди, так и рвется. Господи, ну что поделаешь со всем этим хозяйством? Куда только смотрят доктора? Вот последняя докторша, толстая, в очках, еле передвигается, хотя на вид всего-то лет сорок, назначила такую обойму из семнадцати штукovin, что сердце просто стало задыхаться и жаловаться. Но кому тут что нужно? Кишечник почти спит и ни на что не реагирует, желудок занят постоянными дрязгами со столь же постоянными клиентами, суставы тоже взбунтовались. Остались сосуды. Они хоть и поскрипывают, но относятся к «сердешным» проблемам с пониманием. Знают, что следом — их очередь. Вот и предупреждают: помогите. И холестерин зашкаливает, и бляшки разные донимают, да и вообще как-то неуютно. И задумало тогда сердце сделать перестановку сил, рекогносцировку, так сказать: поставить всех на место, избрать важный комитет по управлению состоянием и самочувствием бедной Маргаритки и начать самому принимать решения. Не поддаваться на провокации какого-то случайного дяди в виде хлористого. А выстроить иерархию ценностей.

Так оно и сделало. Собрало собрание всех, находившихся в этот момент на месте, а на месте было много кого. И прочитало доклад о вреде коммунального проживания. Мол, и на психику действует, и депрессия появилась, а вслед за ней, значит, прибудет еще партия прихлебателей. И в итоге постановило: оно — самое главное. Оно распоряжается, кого принимать, кого — нет. Только ему дана важная и руководящая роль ис-

полнять все желания, находить самый простой и ценный потому способ убежать от ненужных вторжений. Кого? Да все тех же болячек, а следом и их приспешников, лекарств.

На удивление — его послушались. Вернее, пока прислушались, не бунтовали и решили, что хватит, всем давно пора жить порознь и не разом в одном пространстве. Пусть и внутреннем, но все же пространстве. Невозможно выносить все фокусы, которые вытворяет группа поддержки печени (тоже мне, разыгралась, решила, что она самая главная и влиятельная). Если бы хозяйка поменьше вливала в себя, то и с бедной печенкой, вечно косящей влево, тоже было бы значительно лучше. И не понадобилось бы Маргарите сидеть ночами, чтобы сочинить очередной фельетон или статью, чтобы купить какой-нибудь дорогущий гептрал. Возомнила о себе! Да нет, не хозяйка: все та же печенка. Именно ей понадобились самые дорогие декарства! Вот довольствуется же сердце таблетками за 180 рублей, не считая бедного панангина. От него хоть и толку почти никакого, зато такой благородный, гладенький, так хорошо, что он проникает внутрь и никогда ни с кем не сражается. Делает по-тихому свое калиевое дело и молчит. Только видит много и сознает, например то, что измученная хозяйка совсем запуталась от количество походок к врачу, вороха лекарств, рекомендаций, затрат и многого — многого другого

А делов-то на самом деле! Пей по утрам, часов в пять воду, затем ту же воду лей себе на голову и на все тело. Не пей бесконечный кофе, не ешь булочки с любимым маком, хоть раз в неделю лопай суп в нужном количестве и... потребляй горячее, а не одни лишь бутерброды. На ночь — кефирчик, чтобы пробудился, наконец, ленивец-кишечник, уснул который и все проснуться никак не может. Вот и вся пропись за сто руб. в день. Никаких три тысячи в неделю!

Но кто бы мог достучаться до бедной головы хозяйки, которая так устала от хворей и трат, что голова-то

и правда уже еле выдерживает. Что делать? Как ей подсказать?

И придумало сердце. Думало-думало и...придумало. Ночью, когда, наконец, сон совсем сморил трудно засыпающую Маргариту, оно продвинулось вплотную к груди своей хозяйки и легонько так шепнуло ей: хватит, мол, таскаться по врачам, есть и другие способы выжить. И они есть, нужно их только разглядеть хорошенько и прямо с завтрашнего утра и начать ими пользоваться. Все сказала сердце. Угомонилося и отправилось отбивать свой ритм: на сей раз ровный и правильный — жалко стало брненное тело Маргоши.

А наутро случилось чудо. Да-да, именно так. Глава всей телесной и душевной организации само удивилось, как эффективны оказались простые слова. Маргарита поднялась около шести и пошла в ванную. Налила ведро теплой воды, постояла, подумала, да и вылила его себе на голову. Здорово! Взбодрило, даже головушка не роптала. Затем обернулась в розовый с вышитым зайчиком халатик и пошла ставить чайник. Но самое удивительное было другое: Маргоша, к удивлению всех собравшихся и оставшихся еще в желудке, а также постоянных членов ее нездорового организма, запела. И пела она не что-нибудь, а бодрящую песню из старого времени «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер»... Эти последние два слова она повторила раз двадцать, не меньше. И стало свежо и радостно от той силы, которая, оказывается, как вовремя подметило сердце, еще может, еще способно колыхнуть и самую заскорузлую душу. И тело тоже.

15 июня 2008 года.

ОФИЦИАНТ

Сегодня Серега решил, что во что бы то ни стало заработать 5 тысяч рублей. Пять! — не больше, не меньше. Деньги нужны были на две вещи: благородные, как он их называл, и разменные, для Таньки. Таньке требовалось тыщи три, он точно не знал. Но уверен был, что двумя-то она наверняка не обойдется. А матери — дело святое — на лекарства. И не просто на какой-то там анальгин, а на операцию, и цифру которой обозначил сам сука-эскулап. Так и сказал: «Гони тыщи три, за меньшее не соглашусь». Ублюдок. Все они, поганцы, таковы. Но если самих что коснется — туши свет, вопят и жалятся, никакой человеческой самости. Гордости, в смысле.

И Серега решил, что наберет, сегодня же наберет эту треклятую сумму, хотя в условиях их полупоселкового мотеля дело это было ох, каким трудным. Но медлить было нельзя, живот материн терпеть не будет.

На сегодня как раз намечалась крупная выпивка. Ждали человек пятнадцать. Наваром пахло, точно. Но и до съезда гостей приплывала кое-какая мелочь. К ней-то и стоило присмотреться.

Сергей еще раз (который уже!) обвел взглядом родную кафешку и наткнулся на верзилу, который только что вошел, расположился у крайнего к окну столика и бросил кепку на стол. «Носят же еще в 30 градусов кепки», — успел подумать Сергей, но тут пришедший обернулся, и официанта как будто что-то полоснуло: он узнал в верзиле одного гада, который учился в соседней школе и который временами сильно ему докучал. Приходил с внезапными разборками, бил всех подряд, да к тому же требовал денег. Больших денег по тем временам. И все сдавались: скидывались, кто по сколько мог. Тот, не считая, бросал все купюры, даже и мелочь в свою кепку и уходил. «Вот так, значит, откуда этот головной убор, с тех еще времен?!» — пронеслось в голове у Серого, но он уже шел к столику в робкой надежде на то, что верзила его не узнает.

Тот и не узнал. Во всяком случае, ему не было никакого дела до официанта, он даже не глянул на него, а спокойно заказал ухи с голубцами и триста граммов водки. Еще попросил томатный сок и снова не посмотрел на Серегу. Тот все записал, сказал, что через пятнадцать минут подадут и отошел. Однако на душе скребло. Что тот учудит, как все пройдет, не полезет ли в драку, по старой привычке? Какой уж тут навар, не случилось бы чего.

Сергей передал заказ и снова стал въедаться в посетителей. Их было всего два. Один, чернявенький такой, уже сделал заказ на двести рублей и еще пару раз дозаказывал: то ему воды еще, то рыбу соленую. А водки пил много. Вот и снова нервничал Серега, как все сложится, рассчитается ли тот по форме.

Другой же, маленький, плюгавый гражданин, явно не из местных, да и не из ближайших мест, был почти интеллигент. Сидел скромно, вел себя тихо, пил мало, заказывал много. Был улыбчив и все почему-то поднимал пальчик вверх, чистый такой пальчик, помытый, и спрашивал, не знает ли Сергей или кто-то из коллег его, не сдастся ли в ближайших местах квартира. Или дом. Причем, спрашивал уже раза три, не меньше, Сережка аж разозлился на его короткую память. И все повторял, что он не по этой части и знать таких дел не знает. Но клиент был мягким, воспитанным человеком и все норовил вступить в разговор о красотах окрестных мест, деятельности краеведов и истории края. Серега не то, что края, своей собственной истории почти не знал. Только так, мать, бабушку, а больше никого. Ну, соседей там, кто с кем подрался, кого порешил. А какая история в этих краях? Печаль одна, а не история. Но он старался держаться, даже поддакивал, делал умную физиономию и пытался соответствовать. Что он мог сказать? Что отец до сих пор сидит, а мать на больничной койке? Что зараза-Танька поставила ультиматум: брошу Кольку, если колечко за две тыщи купишь? Вот и крутись тут.

— Еще лет восемь назад мы со-товарищи бывали здесь. Камни у вас особые, не земного происхождения.

Пытались все выйти на истинный путь, понять генезис их. Но никто ничего не знал, не говорил. А можно было бы большие деньги за это выручить, — держал речь интеллигент.

— Кому? — тупо спросил Серега, а сам уже кумекал. Уже соображал. Как бы из всего сказанного сказку сочинить, да покрасочней, живописней?

— Что значит «кому»? Тому, кто карты откроет, а еще лучше — тому, кто хоть какие-то образцы принесет.

— Образцы, это в смысле сами камни? Они правда особенные?

— Да с виду самые обычные, в век не отличишь от булыжников или галек. Только темнее, как угольки, но по виду — самые настоящие наши камушки.

И тут Серегу словно кипятком окатило: у них не то, что у крылечка, весь двор был усыпан такими камнями, и именно почему-то темного цвета. Может, они-то и станут той палочкой, за которую уцепиться можно? Ну и дела! Да неужели такое возможно?

— И когда вам нужны камни, скоро?

— Да конечно, не век мне тут куковать, тем более, народ не больно приветливый, на квартиру просто так не пригласят.

Серега почесал в гордом затылке и промолвил: «Это точно. У каждого свое. Так говорите, скоро надо? А количество? Ну, сколько их всего-то?»

— Всего-то? Да хотя бы штук шесть— восемь. И то спасибо. Но где, куда? Кто знает? С кем мы только ни связывались! Однажды, лет пять назад экспедицию организовали, в тайгу в самую вышли. Но повстречался нам тогда на тропе мужик с узкими глазами, с ружьем на вскидку. Подошел, потрянул оружием и сказал, чтоб больше в эти места не совались. И для твердости выстрелил. Куда-то вперед стрельнул, мимо нас, конечно, но пробрало здорово.

— А для чего вам камни эти? Что делать с ними станете?

— Как для чего? Мы — ученые, а это единственно возможный источник достоверной информации. Тут тебе и докторская на подходе, и прочие почести.

У Сереги аж живот скрутило, не мог он поверить, что счастье может быть так близко.

— Слушайте меня, — сказал он приезжему интеллигенту. Есть тут у меня один старик. Знаю, что держит он камушки, но просит не три рубля.

— Милейший, о чем вы? Тут речь о тысячах, какие рубли! Надо, так и в долларах сможем. Как скажут. Только к чему тут доллары?

— Ну, не скажите, — протянул Серега, скоро соображая, как он распорядится этими неведомыми бумажками, видел он которые всего-то раз в жизни. — Слушайте сюда. Я сейчас отойду, мне вечером некогда будет, а вы гоните за билетом, на проходной скорый. Это тоже не всегда в ручки попадает, добиться надо билета. Сможете? Через час встречаемся.

— Вы это серьезно?

— А то как же.

С этими словами Серега побежал на кухню, сказал, что отлучится минут на сорок, сдернул с себя фартук и, на ходу вытирая руки, помчался что было сил к себе во двор. Бежать было минут десять, но Сереге казалось, что конца пути не будет, так долго, бесконечно долго петляла дорожка, по которой в обычное время он доскакивал до своего питейного заведения действительно минут за десять.

Дернув за калитку и влетев во двор, Серега чуть не лишился чувств. Его дядька по материнской линии, приехавший подсобить во время операции и ни сном, ни духом не знавший о трех тыщах, как раз подгробал лопатой камни, сбрасывая их в сторону. Рядом вонюче дымилось густое черное варево (где он его раздобыл только?), которое, как догадался Серега, должно было облагородить тропинки во дворе вместо почерневших старых галек и лежалых, стертых камней.

— Ты че делаешь, лысый дьявол? — заорал он так, что лопата вывалилась из рук дяди Кости и он попятился в сторону.

— Да ты не свихнулся ли? Че я делаю? Че надо! — был ответ.

Серега, долго не рассусоливая, набрал в тряпку, схва-

тил которую тут же, у порога, пару десятков камней, стряхнул с них грязь и пыль, заботливо протер даже, на что изумленный дядя Костик смотрел, не шевелясь, и помчался в обратный путь.

Однако по дороге он подумал, что все должно было быть правдоподобно, что так скоро дела не делаются и решил встречу усложнить.

Он пришел раньше интеллигента, глянул в зал, где была все та же картина, и отправился в подсобку, где и спрятал свой сверток. Вернувшись, он подошел к тому, что все пил и заказывал и сказал, что хорошо бы рассчитаться, а то скоро у них плановое мероприятие.

— Слышь, мужик, а нельзя мне на халяву? Так праздника хочется?

— Что? — подбоченился заметно похрабrevший Серега, — праздника? А еще чего? — и он выставил перед носом клиента грязный кулак.

— Да ты не ерпенься, я заплачу. Просто в рейс мне еще утром, а деваться некуда. Я тебе полторы тыщи дам.

Официант поперхнулся, не вымолвил ни одного слова, оглянулся и только тогда спросил: «Прям щас можешь? Потом вдруг, увидят?»

— Могу и щас. — И с этими словами водитель вынул две бумажки и сунул в потные руки официанта.

Тот ничего не сказал, только велел куда не уходить и, если что, обращаться прямо к нему.

— А пока сиди. Хочешь, я тебе так водки принесу? Ну, до гостей как бы?

— Нет, я праздника обожду, чего торопиться.

Серега отошел от столика и тут увидел, как входит интеллигент. Он решил действовать по плану, который созрел у него при подступах к харчевне.

— Дядь, все в ажуре. Будут тебе через часок твои камни, но для верности нужна предоплата. Могешь?

— Какой разговор, конечно, — сказал ученый и полез за бумажником. — Сколько? Тысяч семь пока хватит?

Серега слегка пошатнулся, он понял, что до утра вряд ли доживет, если и дальше все так пойдет. — А остальные?

— А сколько надо? Я готов. Пожалуйста, тысяч десять еще могу.

— Порядок, — одобрил слова ученого Серега и отошел.

И в эту минуту на него взглянула кепка. Серега похолодел. Кепка подмигнула и подозвала пальцем официанта. Серега преодолевал расстояние в пять метров на ватных ногах.

— Слышь, ты, фортовый, добудь-ка мне красной рыбки. И еще сто грамм. Идет?

Серега кивнул, отправился бегом на кухню, выудил там с тарелок, которые готовились на закуску мероприятия, красной рыбки, плеснул в графинчик явно больше ста граммов и понес все это кепке. Тот придирчиво осмотрел содержимое подноса, крикнул и, не говоря ни слова, полез в карман, вынул тысячу рублей, потом помедлил, добавил еще столько же и заключил: «Половина — заведению, половина — тебе, за расторопность. Люблю расторопных».

Серега засовывал кровную свою тысячу в карман и все никак не мог попасть в прорезь штанов. Вторую бумажку он отдал в кассу, там понимающе улыбнулись и сказали, что Сереге сегодня за услужливость зачтется.

А он решил выйти во двор и немного прийти в себя. Сердце стучало как оглашенное. Он обласкивал внутренним взором заветный узелок и ждал своего часа.

Постепенно стали съезжаться машины, возник тот знакомый шум и гвалт, которые всегда сопровождают такие мероприятия, но заканчиваются не всегда мирно, ох, далеко не всегда. Но до этого Сереге уже не было дела. Он знал, что нужно было дотянуть до главного, пока еще не все перепились и можно было рассчитывать на поощрение. Так это у них называлось.

Итак, у него в кармане уже было: тысяча от кепки, полторы от второго мужика и семь тыщ (ужас!) от ученого.

Он намеренно не показывался в зале, хотя его и искали, и сто раз окликали, но он таился и отсчитывал

минуты, которые, по его разумению, должны были покрыть якобы расстояние до его старца, к которому он бегал. И вот, момент настал. Он вошел в зал со своим узелком, махнул рукой интеллигенту, и тот понял, вышел во двор вслед за Серегой. Там они при свете одиноко торчащего фонаря развернули тряпку, и ученый замер. Испугался и Серега: может, все к чертям и сейчас все лопнет? Вся прекрасная, таежная затея? Но ученый напялил еще одни очки, поднес камень к носу, отчего-то понюхал его и, уже поглаживая, протянул: «Ну, милый вы мой, такой багаж даже Кавальскому не снился, с его уникальными якобы находками. Насобирали, поди, где-нибудь в огороде у кого-то и все. А здесь — реликвия!» На этих словах он обнял бедного Серегу, вынул десять тыщ, передал их официанту и, счастливый, пошел к своей машине.

Серега не знал, плакать ему или смеяться. Если все так на большой земле хреново и они, ученые, дожили до того, что не понимают, где метеорит, где галька дворовая, то как жить?

Он схватил свой фартук, бросил его во дворе на лавку и выбежал вслед за интеллигентом. «Стойте, — кричал он вслед уезжающей машине, — погодите, это не то, стойте, я... я не хотел, подождите. Да не уезжайте вы...».

Но машина летела, и ее владелец не слышал Серегиних воплей, она неслась во всю свою московскую прыть в сторону вокзала.

Серега остановился, отер лицо и присел у обочины. «Это что ж такое получается, — подумал он, — ни за хрен можно жизнь обмануть? Ну и ученый же он, что ни черта не смыслит в своей науке. Эх, что уж, надо идти, гости, небось, понаехали».

Серега шел медленно к своей харчевне, карманы были набиты деньгами, но почему-то радости от содеянного он не испытывал. И только спасительная мысль, что там, в Москве, не все такие идиоты, успокаивала его и снимала стыд.

23 июня 2008 г.

СОЛО СТАРОЙ СКРИПКИ

«Та-та-та-та— та-та-та-та-та-та-тата... Та-та-та-та... Еще выше, еще нежнее», — взывал дирижер, указывая тонкими пальцами первой скрипке, как надо выпевать еще тоньше и нежнее. И тянул мелодию сам, протяжно и даже горестно. «Та-та-та-та... Ну, почему вы меня не слышите?» — сокрушался он и в один момент даже обратился к другой, рядом поющей скрипке, которая по всем нормам и регалиям считалась второй, и думал что, пожалуй, он переключится на нее и что сил у него играть и взмахивать за первую скрипку больше нет. Устал, выдохся.

Первая скрипка, которую в оркестре почему-то звали Ритой, досадливо поморщилась: как, однако, надоел ей этот вечно недовольный маэстро. И все-то ему не то, и все не так. Нежности захотел. Слышал бы он, как его любимица, эта великая чаровница Люська пела за кулисами о его шапнях. Ни в раз не дал бы ей солировать. А тут еще грозится, замахивается, ручками водит. Нет уж, ничего не выйдет, пропилить двадцать лет, быть поистине первой и тут — на тебе, уступить первенство какой-то Люське — без году неделя которая в оркестре! Не бывать этому.

С этими суровыми мыслями Рита напряглась, наклонилась, как-то особенно торжественно и печально сдвинула корпус в сторону и ... запела. Она вспомнила все: и последний день в консерватории, когда ее, такую красавицу, вынимали из футляра и рассказывали, что привезена она из самой Италии и что делал ее не кто-нибудь, а сам Страдивари. На ней играли лучшие, гениальные музыканты разных времен и стран, и вот теперь что-то не так? Да не может этого быть, просто не может и все. Одним только своим происхождением она способна творить чудеса и забрасывать за борт кого угодно. Господи, какие чудовищные выражения! Это опять все Люська! Пришла год назад и уже возомнила о себе бог знает что. Принцесса! Не играть толком не может, не вести партию, не воодушевлять оркестр, не

быть музой своего главного хозяина, не мыслить широко и отстраненно, когда начинает звучать та самая, та единственно точная и нежная мелодия. Да, правда, она может быть скорбной (иначе на что и скрипка, не веселиться же ей, надо знать ее судьбу!), торжественной, она может быть всякой, но прежде всего она должна быть не похожей ни на кого. Этот чистейший хрустальный звук, то ли сделанный из льдинок, то ли из каррарского мрамора, то ли из разбитых осколков хрусталя, но он, звук этот, неподражаемый и не может быть схожим ни с чем. Все сравнения меркнут и тускнеют перед самим жизненным кредо такого инструмента: быть лучшим и неповторимым.

Рита слегка, только слегка, легко так, из-под руки Нихельсона незаметно глянула на Люську и... обомлела: та, в ус не дую, болтала по чем зря с кем бы вы думали? — с самим роялем. И как она пробралась только к нему?! И весело так, едва ли не во весь голос. И тот, ну вечный простофиля, этот Идол звучания, так легко повелся у этой задрюги. Вот что значит молодость! Ей бы, Рите, сейчас сбросить лет триста, она бы показала, на что еще способна. И как только мог этот Стива (так за глаза в коллективе называли СТЕНВЕЙН) позариться на мало что умеющую кокотку. Ни красоты, ни стати. Да-да, это именно так! Разве обладала она протяжным Ритиным звуком, разве могла так сводить с ума всех вокруг, что начинала кружиться голова у самого маэстро, не говоря уже о зрителях?! Только ей, Маргарите, было позволено перебивать всех, вторгаться в плоские шуточки несмышленных голосов, одергивать окружающих. Ей, только ей отведена была роль наперсницы главного скрипака оркестра, ее обожаемого Ники. Он тоже мог все! Он так обращался со своей Ритулей, что у самого холодели руки, а иной раз и просто отнимались, немели перед восторгом всепобеждающего звука. Звука любви и силы. Ах, Ника, уже сорок лет они неразлучны, а он не может догадаться, что самая настоящая страсть Риты почти прошла. Был тогда в оркестре гобой, сдержанный, несуетливый, та-

кой вдумчивый и заботливый. Как он мог слушать Ритину музыку. Это была именно ее музыка, живущая уже отдельно от автора, композитора. Ее сочиняла именно она, и гобой это знал. Трудная его судьба сделала свое дело, и он не мог звучать так, как от него требовалось: был стар и уже глуховат. Но ничего, зато он умел слушать и часто молча наблюдал за Риточкой, давая едва видимую надежду на то, что и старость — не помеха и что все еще может быть.

Их партии никогда не пересекались, и у него, и правда, была возможность слушать ее и любоваться ею. У него давно не заладились отношения с Фаисом, дирижером, тот вечно был недоволен гобоем и всячески намекал на досрочное списание. Но тот терпел, терпел долго и мужественно. Куда ему было деться? Разве что в какую-нибудь самодеятельность! Но как он мог оставить свою ненаглядную Риту, свою капризулю и жеманницу?! Нет, уж лучше унижения и недобрые намеки, чем полный отказ от любимой.

Старый гобой Жорж заблуждался: никакая Риточка не жеманница, дело было куда серьезней. Она постарела, нет слов, но изменилось что-то в ее характере: он стал скверным. Рита, пышущая здоровьем, первая во всем, часто хворала, ей не здоровилось, но она очень не хотела, чтобы об этом кто-нибудь знал. И она пыжилась изо всех сил. Но годы брали свое, что-то случилось со слухом, и она сама уже начинала понимать, что пора на серьезную реставрацию и просто на отдых. Она верила, что все еще восстановится, она запоет, как прежде, но сейчас силы были не те, и они-то подводили, Рита все чаще давала сбой.

Вот и сегодня. Ах, эта Пятая симфония! Ну что такого, что не получалось не то, что нежно и страстно одновременно (как когда-то), но не доставало самого главного: не было в ее звуке, в движениях, во всем облике той силы, той мощи звучания, тех сдерживаемых рыданий, которые прежде ей с блеском удавались. Она старалась, даже перестала поглядывать на вторую

скрипку, которая, наконец-то оторвалась от разговора со Стивом и погрузилась в музыку; она старалась, но ей явно продолжало что-то мешать.

И в какой-то момент она поняла, что именно. Она вскинула голову и встретилась взглядом с гобоем: у того по округлым его щекам текли слезы, и он едва сдерживал рыдания. Боже мой, где же она была, если никогда прежде не замечала таких пронзительных, таких глубоких глаз?! Где?

И тут случилось невероятное. Рита вздохнула глубоко, полной грудью, взглянула на маэстро, прикоснулась щекой к щеке своего кумира, своего доброго хозяина и ... запела. Она вырвалась стремительно из какого-то навязанного тягучего ритма и вырвалась так далеко вперед, что руки дирижера едва поспевали за вознесшейся мелодией. Она вела за собой весь оркестр, которому только и надо было, чтобы мелодия окрепла, сделалась неуязвимой и волнующей и понеслась так стремительно и вольно, как это только возможно. И были мгновения, когда Рита позволяла выйти себе за рамки, за грань этого возможного, и тогда возникало чудо: музыка начинала жить своей, почти что неуправляемой жизнью и уже ничто не способно было ее остановить.

Рита неслась так отчаянно, так страстно отдавалась движениям рук Фаиса, что он сам в какие-то секунды отступался и отдавался во власть первой скрипки, которая, он это понимал, чувствовал, творила чудеса. Ей уже было наплевать на плохое самочувствие, на Люську, на разлад в коллективе, который наметился тоже давно и изрядно ее выматывал; нет, она, затаив дыхание, пронеслась мимо этих второстепенных мелочей. Она знала, куда стремится и что делает. Она пела свою, наверное, последнюю песню и делала это так истово, как когда-то в молодости. Музыка подчинялась ей, а она вела за собой оркестр, самого дирижера, руки своего хозяина, — всех! Она то разгонялась, и оркестр начинал звучать мощнейшими грозowymi распадами, то

ВСЕ ПЛОХО

замедляла свой бег, и мелодия становилась пронзительной, почти осязаемой. Скрипка творила что-то свое, отдельно живущее, не имеющее уже отношения к партитуре, намерениям дирижера, взмахам его палочки. Она неслась все быстрее, забираясь на такие высоты красоты и совершенства, что казалось, зал взорвется сейчас стоном и плачем, так велик был накал страстей!

И зал действительно пошатывало. Люди сидели с полным непониманием того, что такое вообще возможно, что музыка может звучать вот так; что сочетание дерева и струн способно создать такое волшебное, такое необыкновенное зрелище, что, казалось, сердце вырвется наружу, вон из своего заточения и тоже понесется стремительным аллюром.

Это было незабываемо, может быть, даже в последний раз: Рита чувствовала, что силы вот-вот покинут ее и она не выдержит, особенно она опасалась за одну струну, которая была на волосок от гибели. И так и случилось: на последних тактах великой музыки, струна отскочила, словно выбросилась на берег волна, не выдержавшая испытание бурей, и так и осталась в гордом одиночестве, в стороне от всех. Но странно, даже это не изменило ход Ритиных тактов: она словно не замечала потери и так и оставалась верна своему новому, почти утраченному уже состоянию. Она пела и неслась неудержимо вперед, и только когда зал, опомнившись от оцепенения, пришел в себя и разразился сокрушительной бурей, она поняла, что жизнь продолжается, что возможно все, что ничего не сможет изменить ход этой жизни, таинственной и непостижимой.

28 июня 2008 года.

Все плохо. Жизнь, судьба, соседи, цены на овощи, зарплата, вкус пива, некрашенные сто лет волосы — все! И выхода нет никакого. Цветет за окном сирень — единственное утешение и признак хоть какого-то ответа природы на злоключения жизни. Запах от нее — закрывай окна! Что делать, если один он только и радуется, и примиряется с окружающим?! Если же посмотреть на все внимательно и задаться вопросом, отчего же это так, что все не ладится и сплошь и рядом столбом грозятся проблемы, — сразу и не ответишь. Пожалуй, можно уловить две причины. Одна — вот она, на поверхности, и ничего с ней не поделаешь. Все в самой природе вещей. И хоть бейся головой, хоть умри на месте, — изменить ничего невозможно. Вторая и глубже и субъективней: характер. Все в нем. Кто-то видит эти проблемы, кто-то на них плюет. И так во всем. У меня же характер такой, что не то что запах сирени, который и хорош, и пьянит, и доставляет радость, но и в нем даже я отыщу вознамеренность природы отыграться на моих усталых нервах, нарочно докопаться до самых истонченных струн, которые звенят и звенят в моей душе, не давая успокоения и освобождения от разного рода пут.

И вот звук. Вдруг раздается звук. Мягкий такой, не натужный, гладкий, словно обмазанный в оливковом масле. Откуда он? Не знаю. Но страсть определять точку, изначальную точку звучания, сподвигает оглядеться, еще и еще раз прислушаться и понять, наконец, что звук гнездится где-то не в доме, даже и не на улице, а почти в земле, во всяком случае, очень близко к ней. Мыши? Вряд ли. Кошкино вечернее соло? Рано. Что еще? Наверное, какой-то неизвестный зверушка пробрался близко к дому, залез под крыльцо и так тихо и нежно подает голос. Что он хочет? Возможно ли ему помочь? И как так получается в жизни, что самые легкие, самые удивительные превращения случаются неожиданно, вдруг, когда ничто не располагает к этому?

Когда, казалось, сама жизнь давно обернулась не самой симпатичной стороной и только и ждет, как бы задеть, смутить и вообще... Что означает это «вообще», сказать трудно, но оно есть, точно есть.

Вот совсем недавно еще казалось, что счастье совсем близко и мой Юрка вот-вот поведет меня под венец. Но шли месяцы, нескончаемые, длинные, и оказалось, что не только венца, ничего не будет вообще (вот вам и ответ про это «вообще»), что у Юрки жена и она ждет ребенка. И наша встреча возле роддома была не случайной, как он уверял потом, а вполне выверенной по датам и срокам: у Юрки вот-вот ожидалось появление второго ребенка. Я же в то же время и в том же роддоме делала прямо противоположную манипуляцию. И ребенка, скорей всего, не будет уже никогда. Поэтому цены на овощи и запах пива, которое я страшно люблю, меркнут по сравнению с глобальными, непроходимыми, можно сказать, препятствиями и страстями, которые окружают меня и не дают ощутить, что жизнь прекрасна.

А правда, она прекрасна или как? Что значит «как»? Ну, в том смысле, что стоит сомневаться в ее прелестях или надо принимать ее всю целиком, без оглядки, без поправок на проблемы и состояние духа?

Я не знаю ответа на этот вопрос. И сказать могу только то, что запах сирени, который и раздражает, и волнует, и кажется совершенно бессмысленным, так же необходим, как и солнце, и луна, и соседка тетя Галя, что целыми ночами караулит, кто позже всех придет к воротам своей дачи. Бедная, как же это утомительно! Да и что дает такое бессмысленное времяпрепровождение? Что она достигает в своей ненасытной погоне за ощущениями поиска и — главное — конкретной поимки безобразника? Что? Неужели это такой вид самоудовлетворения, который приводит к разрядке и получению удовольствия? Все может быть.

Вчера ночью, когда я вышла на наше гульбище (все луна, она, треклятая), снова увидела силуэт женщины,

которая медленно передвигалась взад-вперед по тропинке, что между дачами. И втайне, наверное, надеялась, что, может, все же кто-то появится на пустынной улице. Но светила только она, одинокая огромная луна. И не было никого другого, кто бы мог поддержать тетю Галю в ее напрасном бесконечном ожидании. Когда же она спит? Я ее видела уже утром в ее грядках. Она и там не могла утомиться, а все копала и копала, возилась и смотрела прямо перед собой, вероятно, сокрушаясь о бесплодно проведенной ночи. «С кем она живет?» — подумала я, — и вспомнила, что у нее где-то (так говорили) есть сын Сашка. Непутевый и очень смазливый, похожий на американского певца, которого нет на свете уже лет тридцать. И все опять-таки говорили, что Сашка знал, что похож на того знаменитого мачо, который вечно крутил микрофон и первым ввел моду на то, что бедная палка, издающая к тому же звук, должна крутиться и едва ли не быть съеденной в руках у артиста.

Но Сашки не было в наших краях уже лет семь. Неужели тетя Галя упорно поджидала именно его? И для кого она заготавливала столько огурцов, которых было не съесть целому семейству? Трудный вопрос. Однако чуть не каждую ночь, а с августа уже часов в девять вечера, она с неутомимым упорством стояла недалеко от своей калитки и вглядывалась в темноту. Наверное, я такая злая, что придумала, будто она пытается кого-то изловить. А она, между прочим, вполне возможно, ждет своего Сашку. Ну, может же такое быть!

Вот он, запах сирени. Пробивается и сквозь закрытое окно, просачивается сквозь дверные щели и наполняет таким резким, таким непереносимым почти духом все пространство вокруг, что становится ясно: можно перетерпеть некоторые проблемы, раз есть он, такой выматывающий, такой насыщенный, разбивающий все представления о прекрасном и таинственном дух живого цветка.

ТРАГИЧЕСКОЕ МИРООЩУЩЕНИЕ

И совсем уже ближе к утру я начинаю осознавать, что непокрашенные волосы — не такой непоправимый пробел в моей биографии, надо только засобираться и все исправится. А, может, и вообще плюнуть на эту краску? Пускай себе растут такие, седые и прогоревшие, клочками, пегие какие-то, но зато свои, настоящие.

Господи, как же хочется вообще настоящего! Всего: света, пусть и луны даже, свежих овощей, прогорклого пива. И знать еще, что вечером на тропинку непременно выйдет тетя Галя. Пускай стоит, жалко что ли?

21 июля 2008 г.

Неважно, какая на улице погода, дождь или слякоть, цветет ли сирень или приехала машина за мусором, — все это неважно, потому как все равно будет плохо, страшно и муторно. Где-то внутри, как сказали бы доктора-специалисты, в подсознании. Но оно уже давно вышло из-под контроля и живёт само по себе. И не стало отвечать за то, что делается с душой, ее настроением, желанием петь или плакать. Куда подевалось легкое, пьянящее настроение, когда под силу было почти все? Где тот тонус, энергия, что переворачивали наизнанку не только все внутренности, но и топили в ней окружающих? Их не стало. А куда подевалось? Трудно сказать. Но ведь подевалось же! Раньше выйдешь в люди, глянешь на кого-то, и у самой сердце подскочит, и у того, засмотревшегося, тоже забьется. Раньше по утрам можно было выпить полчашки чаю и весь день прыгать. А теперь ешь-ешь и все мало, не насыщает. Что делать? — годы. Как говорят, пришла старость. Так докторша сказала. Да чего вы, какая такая старость в сорок пять лет? Где ее начало? Что, в тридцать восемь что ли? Не может быть.

Вот стоит у пруда тетя Таня, и кажется, что все у нее хорошо. И на небо посмотрит, и руками так спокойно взмахнет, не судорожно и не резко; то прядку смахнет со лба и тоже так спокойненько, не спеша. Так руками водит только уравновешенный человек, у которого, и правда, все на месте, все в порядке, все хорошо, одним словом. Точно, я в таких делах не ошибаюсь. Психи, они, знаете, какие наблюдательные?! А то, что я псих, подтвердила давешняя докторша, которая глянула на анализы, потом по коленкам постучала, язык велела показать, а потом и заключила: вы — старая, это еще ничего, но психика, — это уже похуже.

— Что, доктор, шизофрения что ли?

— Не совсем.

— Она что, наполовину тоже бывает? Как аппендицит — то ли есть, то ли можно не резать, а потом как рванет!

— Да нет, трудно сказать, время покажет. Но признаки имеются. Вы вот часто в зеркало смотрите?

— В каком смысле?

— Как увидите свое отражение где-то, так и не можете оторваться?

— Не могу, точно. И еще...

— Что еще, говорите, это важно.

— Нет, доктор, вы сейчас такое сказали, я в себя должна прийти. Вы говорите.

— Ладно. Гнев беспричинный часто вас накрывает?

— Ну, как сказать... Как накроет, так и раскроет.

— А на стуле, когда на стуле сидите, любите раскачиваться?

— Вы же сказали, я старая? Какое раскачивание? Хотя, погодите...

— Вот, видите.

— Кулаки сжимаете, во сне зубами скрипите?

— Я одна живу, некому мне это подтвердить. Кулаки? Они вроде, правда, всегда сжаты. На борьбу готовы. Или для борьбы... Волнуюсь, забыла, как правильно.

— Понимаете, в вашем положении одними таблетками не обойтись, тут другие меры нужны.

— В психушку что ли?

— Пока попробуем так.

— Может, мне к бабке какой сходить, может, кто сглазил? Никогда ничего такого никто не говорил.

— Это раньше не говорил, а теперь что? — возраст.

— Да что вы про возраст все? Молодая я еще. Помните про бабу-ягодку? Это про меня. Справимся, вы не отчаивайтесь, доктор. Я все смогу. Я в молодости ох, какая была. Все мужики мои были. Как гляну...

— Вот они-то вас и извели, наверно. Много на них сил потратили. Сейчас энергии — ноль, вышла вся.

— Да, с энергией теперь не густо. Но ничего, не все потеряно. Я за кулаками послежу, сжимаю или нет. Да и Вовчика знакомого на ночку приглашу, пусть послушает, что там у меня с зубами. А про зеркала... Ну, не знаю. У меня всего-то оно одно, да и то не совсем целое. В ванной висит. Я в него, и правда, заглядываю, потому

что высоко, не дотянуться. Еще Санек мой благоверный вешал, а он был видный мужчина, высокий, под два метра. Вот и приспособил зеркало под свой рост. А перебить некому. Еще что? А, гнев... С этим у меня спокойно, гневаться не на кого. Что там еще остается?

— Видите ли, не все так формализовано. Есть косвенные признаки. Ваш взгляд, к примеру. Цвет лица. Привычка щуриться, свойства речи...

— И что же у меня? Серая я что ли? Где у вас тут зеркало? Аж страшно. Да нет, вроде даже красная. А жмурюсь... так ведь солнце. Смотрите, какая жара в кабинете.

— Но ведь вы сами пришли. Что-то вас побудило?

— Ой, Господи, это? Да на права я сдаю, доктор.

Присмотрелась я к докторше, а на ней на самой лица не видно, серая одна маска и ручки, худышки такие. Все в кулачки сжимает. Ну, думаю, это она с себя все признаки на меня перевалить решила. Может, ей так легче. Но ведь и правда, что с энергией напряг и что на солнце смотреть не хочется и завидно, глядя на тетю Таню, что сама так не могу прядку сбросить, как она? А что погода не радует, так это временно, это от нервного перенапряжения, вон сколько работы последнее время было. Точно говорят, как только болезнь рядышком станет, да начнет еще права свои качать, так и хочется разбить ее вдребезги, напрочь отшить, чтоб не шастала под ногами, не зловредничала. Это когда на сморк там, ноги заломило, поясницу, уже думаешь, господи, совсем исхворалась, плохи дела. А когда все-речь прижмет, тут же начинаешь работать не то, что кулачками, а все мозговые грабли на помощь включать. Шизо? Что она, рехнулась что ли, какой цвет лица? Да я сегодня на речку пойду, этой Танюхе покажу, кто из нас сильнее будет, кто побольше таз снесет с мостка! То-то, видно, что как была она фефелой, Татьяна эта, так и осталась и в шестьдесят. А я просто перед новым вдохом, перед новым, можно сказать, боевым крещением. Я что, не вижу, как на меня последнее время наш Вовчик смотрит? Все вижу. Да и наме-

ки свои не напрасно расставляет. Позову, точно позову, и уж не для проверки зубов, а как там, на других блокпостах обстановка? Не заглохла ли моя техника? Видать, не все ладно у докторши. Кто ж это рассказывал, что развелась она прошлый год и так и сохнет по своему мужику? Да вот тетя Таня и говорила, когда в центр ездила в больничку зубы новые вставлять. Точно, просто тогда не до докторши было, денег на машину не было, по врачам не ездила, не ходила, да и необходимости, вроде, не было. А тут, на тебе, выделили на работе машину, да и мне перепало за двадцать лет безупречной службы на шлагбауме родном. Я его, и правда, исправно поднимаю и держу. Как присягу! Не думала, что дело к старости, как докторша сказала. А мне не по ней, родимой, не по старости совсем такую премию отвалили. Целых два месяца и шесть дней учила руль держать и сцеплением с зажиганием управлять. Совсем нетрудное дело оказалось, со шлагбаумом иной раз трудней приходится. А тут нажал, переключил, наподдал и — вперед! Делов-то! Замучилась только по врачам ездить, уже пятый раз гоняю в центр к этим докторам. На мне, что ли, свои проблемы проверяют? А то, что с погодой не в ладах, так это все машина, от нее и цветы не пахнут, и солнце не греет, и Вовчик не раскочегарит никак. Все, пора завязывать. Рехнусь я с этой машиной. Неужели еще разок и все?

Благодать на реке, это точно. Как это я раньше не видела всего? Вся жизнь проходила по этому мостку, а забыла, что он не только скрипучий и вот-вот провалится, а уходит, утапливается прямо далеко в речку. Вся жизнь наши бабы, даже и накупив стиральных машин, бегают полоскать белье только к нему. Ну, вот, неизменная фигура маячит, Конечно, кто же еще, тетя Таня, она.

— Где это ты была?

Да в центре, по врачам бегала. Предпоследний раз и все, начну водить свою девяточку.

— У кого ж ты была?

— Да у докторши, невропатолога.

— А, у этой. Болеет она, бедная, муж ушел. Вот ей кошмары и видятся.

— А вы откуда знаете?

— Я сама ездила. Во сне стала кричать, да зубами скрипеть, вот и поехала.

— И что она сказала? Лекарство какое дала?

— Ага, лекарство. Сказала, все четыре признака шизо.. шиефрии...шизоф... ну, этой, плохой болезни, от которой в психушку ложатся, налицо. И на лице. Серая я.

— Теть Тань, ну вы не поверили ей?

— Еще чего? Что я, ненормальная что ли?

— Она и ко мне прикапывалась, да меня хрен сдвинешь. Это я с машиной во мрак жизни вошла, а так, сами знаете...

— Да уж...

— Ну вот, теперь держите меня шире, гулять начну, хватит мне этих диагнозов. Всю деревню в шизофреники решила записать.

— Да, и Витька наш к ней ходил, что-то у него по мужской части не так, так она ему про...ой, не выговорить мне, про такое, что уши вянуть. Сказала, что в нем что-то похожее на черта сидит, гневный он больно. А у меня еще про зеркала все выведывала. Я, как приехала, все их снимала. У меня их целых четыре было. Нет-нет, пройдуся, да гляну на себя. Все же бабой быть еще хочется.

— Теть Тань, это хорошо, что вы не заморачиваетесь на эти штучки. Я сначала расстроилась, но она в меня, как назло, свежий дух вселила. Так и хочется жару наподдать. Слышите, сиренью пахло, это к дождю, точно знаю.

— Иди уж, к дождю, мне стирки еще целый таз.

Пошла я себе и думаю: пусть бы дождь шарахнул, так ливня душе хочется, что аж жуть. Вот и сирень пробивается, просится к воде, заждалась. Нет, не верю я ей, хоть и зацепила, ничего не скажешь. У вас, — говорит, — трагическое мироощущение. Надо же, хорошо, что запомнила. Это она про себя, бедная, небось, рассказывала. Это у нее трагедия вышла, вот она со-

скребают ее по кусочкам у других. Своего-то не видно, это точно. А у других и кулачки, и зубы — все на виду, как же, мы же докторам что? — душу готовы выложить. А они в ней и начинают копошиться. Зеркала! Приду сейчас и прибью, наконец, то круглое, что Сянек оставил при побеге своем. Вилки даже прихватил, а про зеркало, бедняга, позабыл. Вот оно за шкафом и томится уже третий годик. Прибью! Приду сейчас и приколочу, люблю я это дело, так все расстройство через этот молоток и уходит.

Вот оно, Господи, началось, посыпало, ой, не могу, бежать надо, укрыть свою девяточку, да еще за молотком».

— Ой, черт косматый, как напугал. Откуда ты выскочил, вечно ты из-под земли появляешься! Вовчик, откуда ты взялся, напугал как!

— Валёк, ты это, как отнесешься, если я... ну, к вечеру... сама знаешь...

— Морока с тобой, ни фразы сказать по-человечески не может, ни гвоздя забить. Какой от тебя толк хоть, сам скажи? Как на партсобрании, доложи о своих недостатках.

— Скажи... Ничего себе — скажи. Есть один... Да чего об них. Давай о недостатках.

— Давай, да только льет уже, бежим.

— Вечером расскажу. Пустишь?

— А сейчас что, день по-твоему? Идем уже, достоинство ты ненаглядное. Тише, вихор ты какой, сирень ломаешь. Давай, сними мне веточку. Чую я, ох, чую, какое у тебя достоинство.

— Ну так!..

— Вот и я говорю. Давай сюда ветку. Люблю я дождь, так ждала его. А ты?

— Я все люблю, в особенности тебя.

— Что? Что ты сказал? А говорят, ты шизофреник?!

— Ну и что? Это только докторша так сказала, я-то знаю, что неправда, это она от грусти, и разболтала сама, да и я подбавил, для смеху.

— Ну, ты точно шизо. Кто ж такое говорит?

— А что мне? Это ж она от грусти своей, я ее мужи-

ка-то знаю. Хороший он, а она злая, да и всех норовит по этой части определить.

— Вовчик, а ты неглупый, я смотрю.

— Это еще дождь, а как пройдет...

— Ты меня что, по правде... ну. Это?

— Я? А как же? С пятого класса. Только ты дальше своего шлагбаума ничего не видела. А я каждый день под ним пробегал.

— С пятого, говоришь?

— Ну да... А что?

— Да так, весело. Как я, ничего еще? Гляжусь?

— Еще как! Прямо с пятого и не меняешься. Только гордости много.

— И что, это плохо?

— Для жизни ничего, пойдет.

— Для какой такой жизни?

— Для общей. Нашей.

— Ну ты разгуделся.

— А ничего, когда-то надо было... Вот и дождь помог.

— Ну и докторша, вот спасибочки. Ладно, посмотрим, бежим скорей. Ветку, ветку не сломай.

Вот не думала я, что стану с Танькой на мостку свои дела обмывать, да рассоливать про жизнь через каких-нибудь несколько месяцев, ну, после того, как мы с Вовчиком обженились. Полощем белье, а сами заливаемся, все про шизофрению вспоминаем. С тех пор, как гроза случилась и Вовчик ко мне пожаловал, всё трагическое как в воду ушло, растворилось совсем. Теперь хоть дождь, хоть ураган американский, несусветный, хоть мусорные баки торчат — услаждают запахом, хоть цветы неизвестные какие, — все нипочем, так на душе тихо. А прядку, ну точно, как Танька теперь поправляю, благо, Вовчик стричься не позволяет. А на девятке ездим, только я все больше рядышком. Муж руль крутит. Выходит, зря я по докторам бегала? Да нет, спасибо им, у шлагбаума теперь одно удовольствие постоять, такое у меня теперь мироощущение!

28 июля 2008 г.

ДВЕ ТОЧКИ ОПОРЫ

Точек опоры может быть сколько угодно: одна, две, три — сколько кому понравится. У Симы же было их всего две, и обе казались чрезвычайно важными. Начитавшись разных книжек, умных в том числе, она поняла еще в юности, что главное в жизни — знать, что ты есть и глубоко верить в справедливость. Всего: поступков, намерений, исповеди, отношений. Она так и жила: веря в свое предназначение, открылось пока которое не до конца. Но она твердо знала, что несет какую-то важную ношу, что на ее плечи возложена чуть ли не миссия какая-то. И она шла и шла, водрузив над своей головой это знание и уверенность в том, что в жизни все должно сладиться.

Однако так не получалось, и многие Симины надежды частенько разбивались о непонимание людей или еще обо что-то, что очень напрягало существование.

Девушка училась на юриста и связывала эту свою миссию не просто со служением людям и поисками справедливости, но и исполнением долга: обыкновенного, каждодневного, ожидающего ее. В последнее время, зная, что она вот-вот станет дипломированным специалистом, ей доверяли и дознание, и работу с людьми, наследившими в жизни. Чаще она выполняла свои обязанности как бы под присмотром старших, но иногда удавалось быть один на один с оступившимся. Ей казалось, что исправить можно почти все, докопавшись до глубин человеческого сознания, поисков смысла и найдя объяснение поступкам. Потому очень хотелось поскорей закончить институт и приступить к самостоятельным изысканиям в области исправления человека. Преступившего человека. Старшие, правда, говорили ей, что не всегда преступление совершено случайно, необдуманно и по неосторожности. Напротив, гораздо чаще человек идет на это с сознанием дела, с умыслом, так сказать. Но так хотелось верить, что процент таких преступлений гораздо ниже и что человека и впрямь можно если не перевоспитать, то хотя бы пере-

убедить и вывести на правильную дорогу помыслов и намерений.

Она жила с совершенной убежденностью, что именно ей и выпала такая миссия — изменять человека к лучшему, приводя ему убедительные доводы и доказательства того, что лучше и проще быть хорошим и не совершать ничего плохого. Так — она верила — действительно легче. Во-первых, ложь запоминается труднее; еще в институте учили, что существует логика лжи и на ее изменениях, игре, одним словом, можно очень даже легко докопаться до истины.

Сима лишь ждала случая, чтобы на деле самой в этом убедиться. И такой случай представился однажды. Не пришла на работу Кира Яковлевна, ее старшая коллега и наставница, а дело было неотложным и поручили ей, Серафиме провести допрос. Это было несколько неожиданно, но Сима и не думала сдаваться и просить снисхождения и помощи. Она знала от Киры Яковлевны, что за дело та вела, знала и о главном герое, который совершил кражу, но признаваться никак не хотел, хотя улики были налицо, свидетели подтверждали содеянное им, нашлись и вещи, которые он держал в руках, не успев спрятать. Но он упорно отрицал свою вину, не соглашаясь ни на какую помощь следствию. Дело уже можно было передавать дальше по инстанциям, но начальству хотелось этого недостающего штриха: признания подозреваемого.

Того же хотела и Серафима, которая сидела за столом и читала папку за номером 248. Фамилия у вора была Щелгунов, и Симе казалось, что с такой неровной, скрипучей фамилией трудно будет найти подход к ее обладателю. Она очень охотно вникала в различные курсы по психологии, не пропускала занятий и находила своеобразные ключики-отмычки и в почерке человека, и даже в его фамилии, не говоря уж о манере держаться, одежде, речи.

Прошло часа три, как она одна сидела в кабинете, и когда Попов, их начальник, заглянул к ней и весело спросил: «Ну, как Серафима Петровна, готова?» — «Да»,

— сказала Сима, поправляя свой строгий синий костюмчик и закрывая толстую папку. — «Приятно слышать. Сейчас гражданин прибудет, вернее, его доставят. Успехов!» — добавил Арсений Игнатьевич и закрыл дверь. Сам не вызвал, а пришел лично и не утомлял подготовкой и расспросами, а дал понять, что верит в нее и что неопровержимых доказательств хватит и на то, чтобы молодая дознавательница справилась со своим первым делом без особых осложнений.

Дверь открылась, молодой сержантик Глеб спросил: «Разрешите», — она сказала коротко: «Да» — и в кабинет вошел молодой, довольно симпатичный гражданин. Глеб добавил, что если что — он рядом, за дверью. Сима кивнула, а сама продолжала перебирать бумаги, как видела в каких-то бесконечных фильмах про следователей, которые тянули время и не глядели на арестованного. Наконец, она отодвинула свои причиндалы и посмотрела на вошедшего. Одет он был в серую ветровку, джинсы, был умыт и выбрит, и казалось, что происходящее вообще не имеет к нему никакого отношения. Какая-то индифферентность в его облике, манере держаться явно проскальзывала. Но Сима кое-что вычитала в толстом томе и знала, что не отступится.

— Назовите вашу фамилию, имя, отчество.

— Щелгунов Виталий Андреевич, — покорно отозвался сидевший перед ней человек.

— Год вашего рождения и место.

— 1985, деревня Зубчаниновка Самарской области.

— Работаете?

— Естественно.

— Кем, где?

— Шофер я, служу в автопарке номер четыре.

— У меня информация, что вы уволились отсюда полтора года назад.

— Точная у вас информация.

— Виталий Андреевич, в тот день, 22 марта, вы чем занимались с десяти до двенадцати дня? Где находились?

— Подвозил пассажира.

— У вас что, машина имеется?

— А как же, шестерка, номер Е — 171 — ХУ — 99. ТО прошел в прошлом году. Нет нарушений.

— В номере, может, и нет. А вот свидетели в тот день говорят, что это именно вы довольно долго возились с дверью в 26 квартире, затем все же открыли ее, зашли, забрали вещи — список прилагается — и снова вышли. Но они уже вызвали милицию и вас задержали на месте. Не понимаю, какой смысл вам упираться, коль все так ясно? Зачем вы стараетесь уйти от очевидного? Мне просто интересно.

— Вы помните фильм, забыл название, когда вора повязали, предъявили цапки, а он до последнего сопротивлялся, а тут нашелся охотник, который всю вину на себя взял?

— Так вы, как в кино, решили добровольца дожидаться?

— А почему бы и нет? Признаться всегда успеется.

— Вот вы кино любите. А из тех же фильмов не заметили, как важно бывает жить в согласии с собой? Знаете, отчего все беды и несчастья? Оттого, что люди нарушают какие-то внутренние заповеди, да еще и не раскаиваются. Это важная такая вещь — покаяться.

Виталий Андреевич Щелгунов наклонился несколько вперед и, улыбаясь, спросил: «Не перед вами, милая особа, я должен покаяться?»

Серафима тут же раскраснелась, но решила не отступать, скорее, напротив.

— Вы по-видимому, решили, что возраст — какая-то отправная точка? Вы тоже молоды, однако, это не мешает вам иметь убеждения, жить по своим понятиям (я не о воровских, их и то у вас нет), а об обычных, человеческих. Вы ведь по какой-то причине решили не сдаваться? Вопреки логике, здравому смыслу, просто последовательности развития событий вы решили открещиваться до конца. Ваше право. Но скажу вам такую вещь. Знаете, кто чаще всего выигрывает в казино? Да, знаете, думаю: именно новички. Я — новичок,

но знаю кое-что такое, чего и зрелому следователю не узнать, может быть.

— Что же вы такое можете знать, какой такой закон?

— Все просто. Есть причина, есть и следствие. Вы попались в первый раз. На ваш поход и поступок, верно, была своя причина. Она до конца вам самому неясна. Молчите, я знаю. А следствием будет тоже весьма простая вещь: вы уже не успеете раскаяться.

— Помру что ли?

— Может, и не помрете совсем, но только к жизни остынете. Вы как на переправе сейчас: в любую сторону еще можно повернуть. Но вы чего-то выжидаете, медлите. Может, с духом собираетесь? А, может, и собираться нечему, духу нет?

— Девушка, как вас там, не давите на психику, я знаю, что делаю. Ничего я не выжидаю. Мала еще так рассуждать. Что вы можете знать, воробышек вы немышленный?!

— Я знаю, твердо знаю одно: за всем, нами сделанным, следует следующий виток, новая цепочка психологических проколов. Все связано. Вы пытаетесь спорить с законами логики, но они сами достанут вас, вот увидите. Вы что, доказать кому-то решили, какой храбрый? Небось, влюблены, а вас отвергли? Все слабаки так поступают. Для них доказательство превыше всего. Неважно, ложное или нет.

— Я тоже три курса института кончил, остался год и диплом.

— Решетка вам осталась и много дальнейших вытекающих последствий. Почти никому не удавалось остановиться. На кого же вы учились? На экономиста или, может, на юриста?

Виталий Андреевич вдруг дерзко хохотнул, дернул как-то странно головой и весь напрягся.

— Что об этом говорить, тема закрыта.

— Видите, — почему-то обрадовалась Сима, — уже в вашей жизни что-то закрыто, какая-то тема уже точно. И что дальше: двери все больше и больше будут

захлопываться и оставлять вас с носом. А вы с амбициями человек. Знаю я, где вы учились: на высших режиссерских курсах. И следствием пытаетесь режиссировать. Но, думаю, таланта построения у вас мало-мало, не вижу вашей линии, куда путь держите, не разобрать. И как только вас приняли в такое учебное заведение? А ведь в вашей профессии сверхзадача очень важна. Может, даже самое главное. Нет у вас ее, в потемках блуждаете.

— Зато есть сквозное действие. Слыхали, госпожа следователь?

— И его не чувствую, слабы вы в предопределении поступков, их обоснования. Вслепую поработали отмычкой, да и квартиру выбрали одну из легких, так квартира, ерунда полная. А улов ваш? Черт— те что: какие-то запонки, тысяча рублей, чайник. Он-то вам на что?

— Он мне дороже всего. Чай я, знаете, люблю.

— У вас что, чайника нет?

— Теперь нет.

— А теперь и ничего нет и не будет, не ждите.

— Послушайте, что мне ваше раскаяние, зачем? Что я с ним делать буду? Все равно сяду.

— Ну, допустим. Зато пройдя через понимание, а потом, дай Бог, и раскаяние, поймете, что надо, как жить, что делать. Пойдете опять на ваши курсы, но с пониманием дела уже. Не как сейчас.

— Благодарю за ликбез, но и у нищих собственная гордость. Я не отступлюсь. Я всем докажу, что я не слабак.

— Слабак.

— Молчите, не слабак я.

— Это вы молчите. Глеб, уведите арестованного.

Виталий поднялся, поправил свою футболку, отступил на пару шагов и вдруг выпалил: «У вас есть будущее, это я вам говорю. А у меня нюх на людей». — «Хорошо бы, чтобы будущее было и у вас, советую над этим подумать». — «Я подумаю».

С этими словами арестованного вывели, а Серафима осталась сидеть за своим столом. Он был пуст, никакой покаянной бумаги ей не написали, но она вдруг вспомнила, как однажды, еще в детстве они подрались с мальчишкой, рассорились во дворе, и главный зачинщик вдруг расплакался и сказал: «Я не хочу так. Лучше мир. Хотите, пять километров пробегу, но вы простите меня. Или двести. Или — сколько хотите». То было давно, но что о человеке будут так думать и что он будет повинен хоть в чем-то, смутило тогда мальчишку, он не желал оставаться с таким багажом и предложил мировую.

Сима поняла, что, наверное, не нашла ключика к этому человеку, Виталию Андреевичу, коль он так ушел, но ее вдруг полоснула одна мысль: на все нужно осознание, а на него — время. Время, оно может стать такой подвижной точкой опоры, что и не заметишь, как она укрепится и высветится нечто такое, о чем не стыдно будет вспоминать.

10 августа 2008 г.

МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО

— Гад ты портовый, — бросил слюнявый окурок на землю Берлога.

— Сам гад, — не уступил Фортовый.

— А я говорю: гад портовый, и это самое точное название тебе.

— Как сказать. Если врежу, будет не так точно.

— У-у, выродок. Сам не живешь и другим не даешь. Вся земля о тебя марается.

— Ты, Берлога, не майся, я ведь знаю, по чем ты рычишь. Маня меж нами стала. Стоит и смотрит, как мы, два кобеля, все царапаемся из-за нее. Да не нужна мне она, вот тебе слово.

— А если не нужна, че ты с ней ходишь, по кинам сзываешь? Так и жмешься, будто двадцать мороза. Не видишь что ли, какие хризантемы под носом? Точно, ты и есть Фортовый. И за что тебя так прозвали?

— Двадцать не двадцать. А талия у нее — и правда мороз по коже.

— Молчи, негодяй. Лучше лопату бери, да разгрузай, что велели. Чтоб к пяти чисто было.

— Эх, ты, бедолага. Одно слово — берлога. И кто это тебя так окрестил? Видать, не из большой лбви.

— А ты маши, лопатой-то, маши, иначе бумажку не закрою. У нас тут я начальник.

— Вижу. А правда, ты отчего Берлога? Сам медведя видал когда-нибудь?

— Не твое дело. Паши давай.

С этими словами Берлога, а по документам и вправду Иван Семенович Берлога направился к выходу со стройплощадки. Надоело ему слушать чепуху, что нес его подопечный, а вообще-то приличный слизняк, которого почему-то все звали Фортовый. Фамилия у него, кстати, была Одесский. Может быть, какая-то витиеватая связь ассоциаций так изломала человеческое прозвище, так соединило его с географическими пересечениями в области Одессы, что и стал он тем, кем стал. По правде говоря, не зря к нему это прозвище

прилепилось: даже когда лопатой орудовал, был словно в галстук и при костюмчике. Штаны, вымазанные глиной, песком, чем-то еще, смотрелись расчудесно, на них даже стрелки проглядывали. Весь он был с какой-то южной отметиной: усики, привычка, крутить один, правый ус, голову, корпус держать прямо, ну фортовый и все тут, ничего не скажешь.

Была в его биографии одна досадная мелочь, не красившая его. Еще в пору юности так сильно подрался, что превысил все необходимые границы обороны. Превысил и загремел. Отсидел два года. Вышел, больше в драки не ввязывался, пошел по строительному делу, даже учиться готовился, но вот с прорабом ему явно не повезло: цеплялся тот к нему почему зря, надо и не надо. То с девчонкой увидит, то привяжется — не так быстро кладку кладет, то раствор не той крепости замешает, а то и вовсе оборзевает, прицепится ни с того, ни с сего и начнет орать не по делу. Вот это и было самое печальное. Но нашел, нашел-таки недавно Форт (так сокращенно его еще называли ребята) ключик к прорабу, ущупал его больное место. Не хотел тот ни слова говорить по поводу своей фамилии, докучала она ему, видно, сильно. А Форт все на эту тему соскальзывал: надо — не надо. И еще: не церемонился с начальником, так как между ними затесалось небольшое прошлое. Так себе, не очень чтобы большое, но все же. И это давало право Форту и называть его всякими словами, и вообще вести себя вольно.

Девочку ту Берлога заприметил давно, да все никак не решался подрулить к ней. То ли по взглядам, то ли по быстрой, неуловимой реакции в ее сторону, когда она оказывалась поблизости, но Форт уловил внимание прораба к женщине и начал на нем поигрывать. Не то, чтобы нравилась очень, — так, от нечего делать. Да и досадить приятно было.

Вот и вчера идут они оба, Форт жмет ее к боку, а тут и возьмиись начальничек. И откуда он только вырлил? Но Форт себя в обиду не дал, ни взглядом, ни жестом не выказал своего замешательства. Шел себе

и шел, да еще и кепочку приподнял, как повстречался с Берлогой. «Черт, ну и имечко, то есть фамилия, и откуда он свалился только?» — подумал Форт, а сам еще крепче обнял свою спутницу.

Однако Форт лукавил: он доподлинно знал и откуда взялся его начальник, и что за черная кошка между ними пробежала: все! Но признаваться себе в этом не спешил. Так они и пикировались всякий раз, лишь только подворачивался случай.

На другой день, как обычно, Форт взялся за привычную лопату, чтобы закончить, наконец, с привезенным песком. Откуда-то появился Берлога. И снова ему что-то не понравилось в действиях рабочего.

— Ну что ты тянешь кота за хвост? Это же тебе не веточки сирени! Махай, как положено, да побольше насыпай!

— Сидел бы ты в своей берлоге и не совался, если лопаты сто лет не держал. Что ты все прикапываешься, что тебе все не так?

— Моя воля...

— Знаю, что бы ты сделал, будь твоя воля. Только нет ее теперь, твоей воли.

— Зато есть воля, просто воля, — попытался снизить накал разговора прораб.

— А там, где до воли было, как до луны пешком, ты не сильно напрягался. Как и сейчас. И простить не можешь левой, в общем-то вещи. Все я помню, да и ты, видать, забыть не можешь.

— Не могу. И тебе советую мне не перечить.

— Ох, ты какой взялся. Не перечить. Я — на воле, ясно? Что хочу, то и делаю.

— А от воли до неволи...

— Знаю, слышал. Да не про меня сказ. А вот по тебе берлога и правда плачет. Все знают, как ты мухлюешь, как приписками занимаешься. Все выслуживаешься. А мне по душе другой подход, понял?

С этими словами Форт подошел к прорабу, плюнул хорошо и схватил его за куртку. На том была светлая чистая курточка. Форт так вывернул ее наизнанку,

так подтянул к своему носу невысокого, но коренастого мужичка, что тот на время замолчал и даже как-то жалко замахал руками.

— Ты что делаешь? Отпусти.

— А ты в морду дай. Слабо?

— Отстань, говорю, рапорт на тебя подам.

— Вот, точно, в этом ты весь. И тогда, в камере всех на острие иглы брал, всех — к ногтю, всех — по списочку. Кого списали. Кто так загнулся, кто — при невыясненных обстоятельствах... А я вот выжил. Да еще и тут, черт-те где от тех мест тебя повстречал. Ну и живи себе спокойно. Так нет: то ему не то, то не эдак. Достал ты меня.

И с этими словами Форт размахнулся и со всей своей великой силы вмазал прорабу. Тот качнулся, затем почему-то схватился за живот, его повело то в одну, то в другую сторону и он, наконец, рухнул прямо в тот песок, который был на сегодня объектом работы для Форты. Но и этого Форту показалось мало: он нагнулся и снова смачно добавил Берлоге: раз, другой. И все приговаривал, что это за товарищей, за ту отсидку, что уж и быльем поросла, а все кому-то покоя не дает.

Берлога лежал, Форт стоял над ним, и со стороны могло показаться, что два товарища запросто болтают, да один и зарыться решил в свежий, сухой, бежевого цвета песок. И Форт действительно стоял над ним довольно долго, не наклоняясь, ни о чем не спрашивая и только вспоминая, как этот человек много крови попортил в восемьдесят первом, в другом краю, если линейку провести, то прямехонько на Север будет от этих мест. Места те... ой, пропади они пропадом, не вспоминать, ничего не хочется. Но попался же вот такой упырь, который лезет и лезет, и житья от него никакого. И подумал Форт, что или совсем забудет его и снова окажется там, где ровная линеечка проходит и тянется аж до Севера, или уйдет. Но куда в маленьком городке слиняешь? Некуда! Что у него за профессия? — разнорабочий и все. Хорошо еще, что на стройку взяли. Но тут спасительная мысль словно кольнула его в

бок. Словно подкралась незаметно и обожгла. Вспомнил он, как в прошлый Новый год сестра матери, тетя Люба, звала его в теплый город Николаев, где есть и работа, и море, и — главное — свои люди. И тогда Форт от этого предложения отмахнулся, не запомнил его, да и зверюги этой еще не было на его пути. А сейчас... Ну нет, что это он? Почему он, ничего не совершивший, ни-че-го, должен по указке какого-то прораба в струнку ходить? С той нельзя, так не годится! Что за гад он такой? Нет уж, не бывать такому, чтобы моряк черноморского флота Фортов Иван Петрович так легко сдался на поругание какого-то прораба. Ни себе, ни людям. Все знают, как надо цифири вымалывать, как задабривать этого хомяка. И тут, вспомнив все, Форт нагнулся к прорабу, приподнял его за края куртки, сильно так поднял и сказал: «Ну, падла, если ты еще раз примешься за свое паскудное дело, убью. Так и знай».

Он распрямился, отбросил лопату и медленно пошел в сторону бытовки. Там стоял пожилой рабочий, который тоже был знаком с выходками прораба. Он и спросил: «Ну что, уделал ты нехриста?» Форт кивнул, смачно сплюнул и вошел внутрь. Там он налил себе стакан крепкого чаю и сел пить его вприкуску с колотым сахаром. Егорыч, пожилой рабочий, вскоре вошел и снова спросил: «Ну ты его хоть сильно уделал? Не будет больше доставать?» Форт помедлил, отхлебнул с удовольствием чаю и ответил: «Не будет, Егорыч, ни за что не будет. А если начнет, урою. Так и знай». — «Ой, Форт, отчаянный ты, я это сразу заметил». — «Это хорошо, что заметил. И что отчаянный. И тот упырь пусть знает. Долго я терпел, нарываться не хотелось. Ну все, терпение вышло. Моя взяла».

Он встал и вышел из вагончика, а Егорыч уважительно смотрел ему вслед. И еще он видел, как на песке зашевелилась фигура в светлой куртке, медленно поднялась и так и осталась сидеть на смятой горе песка.

Вечером, когда спала жара и Форт шел, обнимая свою милую за талию, она вдруг сказала: «Ты не ду-

май, я с этим, прорабом, так, глазами только постреляла. Не нужен он мне вовсе». Форт молча сжал ее тонкую талию и спросил: «А кто ж тебе нужен?» Девушка в розовом платье, в туфлях на высоких каблуках и с крашеным рыжим хвостом волос остановилась, внимательно посмотрела на Форта и сказала: «А слабо будет добежать до самой реки? Небось километра два, не меньше?»

На ее такое предложение Форт только улыбнулся и присвистнул: ему бежать, что утке плавать — одно удовольствие. И они побежали. Да так гогоча и заливаясь смехом, что в какой-то момент рыжая сбросила каблук. Хитро зацепила их на шее и так, босиком они и преодолели расстояние до реки. По пути им встретился прораб, но не ошетинился, не скривил, по обыкновению, рожу, а как-то даже отступил слегка, давая бегущим дорогу.

19 августа 2008 г.

ПАХЛО СИРЕНЬЮ

Едва забрезжил рассвет, как Полина быстро поднялась, поправила свои густые волосы и подошла к окну. Там царило великолепие. Мало того, что пахло росой, сиренью, живым и будоражающим, но присутствовало еще что-то, что никак не вписывалось в представление об обычном утре. Ей показалось на мгновение, что никакой вчерашней ссоры не было, что сердце все так же ровно и радостно бьется и что вообще мир прекрасен. Это подтверждалось всем вокруг: поющими головами птиц, легким шелестом и поскрипыванием кустов и деревьев, самым настроем природы, которая была, как никогда, приветлива и доброжелательна.

Голова от всего закружилась, и Полине снова показалось, что все вчерашнее — смыто. Его попросту и не было и быть не могло и что больше никакая ссора или неприятность не коснутся ее души.

С этим настроением она отошла от окна, все еще оборачиваясь и думая о быстротекущих днях, каждый из которых таит и опасность, и ожидание чуда. Еще вчера ей казалось, что мир рухнул, что пережить случившееся она не сможет и что все так плохо на этом свете, что мысли о другом мире настойчиво одолевали девушку. Она не впервые задумывалась о том, а что же там, за гранью, преступать которую не велено было никому. Что там, коль возврата оттуда не предвидится, и все рассказы о каком-то парении над самим собой представлялись не более, чем буйство фантазии. Да и в самом деле, если никто и никогда оттуда не вернется, стало быть, уход этот настоящий, бесповоротный. Это только наивная Катерина в пьесе Островского «Гроза» подумывает, как пострашней напугать ближних, и ей, может, в какой-то момент, когда стоит она над Волгой, раскинув руки, и кажется, что возвращение возможно и что смерть — это не всерьез, не по-настоящему. Но она ошибалась, как ошибаются все те, кто решил не вправду поиграться с таким страшным, таким окон-

чательным жизненным событием. Это навсегда, и возврата оттуда быть не может.

Полина еще раз втянула удивительный аромат утреннего чуда за окном, и ей стало совестно: ведь и вправду думала, размышляла, выбирала способ. Это что, действительно, от слабости и сильные люди никогда даже не помышляют о подобном? А как же герои, ее любимые герои знаменитых трагедий, почему уходят они из этого мира, не в силах совладать с обстоятельствами? Почему вообще человек подступает к этой мысли: в ней что, спасение или лукавство? Выход или тупик?

Полина вошла в комнату, набросила на постель покрывало, поправила подушки и отправилась ставить чайник. Сегодня явно все выходило не так, как в обычные, прежние дни. И встала рано, и стояла у окна. И вот размышления эти... Да даже ради этого пьянящего аромата, возможности вдохнуть еще и еще раз этот терпкий воздух стоит преодолевать, мучиться, оставаться и живя.

Она узнала вчера, что Николай, с которым встречалась больше года, обманывал ее. И когда она предъявила ему все имеющиеся у нее доказательства его лжи и измены, он так бесовато завил, даже захихикал, что не оставалось никакого желания распутывать и дальше этот клубок обид и обмана. Все было предельно ясно: лучше две женщины, чем одна. А там можно и выбрать. Противно было вспоминать, как он открепивался от очевидного, как пытался смеяться над происшедшим, как даже хотел во всем обвинить саму Полину в глупости и подозрительности. Однако она была слишком прозорливым человеком, чтобы суметь связать все узелочки и сложить целую картинку. Она не сомневалась: все, что она узнала, — правда. Все его рассказы о поздних задержках на работе и необходимости подготовки к кандидатской — сплошное вранье. На самом деле он все вечера проводил с Ирой, девушкой, которая училась с ними когда-то на одном курсе, затем стала работать в редакции, где, собственно, и

трудился Николай. Там он и писал свою бесконечную диссертацию, там же общение с приятной, постарше его девицей, становилось, как видно, все более увлекательным. И он стал метаться. Не то чтобы просто изменял. Поначалу мучился. То ли совестью, то ли страхом потерять кого-то из них. Трудно сказать. Но Полина замечала, что он бывает не по делу рассеян, напряжен, отвечает невпопад. Не всегда его выступления, о которых он говорил, случались в реальности. Это уже обнаружилось позднее. Но сначала Полина относилась к этим несурезицам на счет напряженной подготовки к большому событию. Он то говорил, что работа завершена и что он вот-вот поедет с докладом почему-то в Питер, хотя в Москве мест для выступления было предостаточно; то исчезал на пару дней, уже потом объясняя свое отсутствие необходимостью закрыться от всех и погрузиться в работу.

И Полина верила. Верить же значительно приятнее, чем сомневаться, подозревать, уличать. В этом во всем есть что-то унижительное. А верить и любить — ну что может быть замечательней?

И вчера было мерзко и противно выслушивать жалкие оправдания своего приятеля. Правда, еще день назад она искренне считала, что он — любимый. Но известие об измене отрезвило ее настолько, что проснулась та самая гордость, которая в семье считалась родовой. Она вчера же сказала матери, чтобы больше имени его в доме не упоминалось. Не объясняя пока причин. Не говорить — и все тут! Полина верила, она твердо знала, что только так: не тянуть и не выискивать оправдательные причины, а рвать сразу и без промедления. В ее нежном, хрупком даже облике было, тем не менее, что-то решительное и волевое. Так уже случилось несколько лет назад, да, еще на первом курсе института. Она встречалась с парнем, звали его Матвеем, и ей очень нравилось это имя. И однажды, когда она спешила на первую пару, вдруг увидела, что он вышагивает с какой-то девчонкой в сторону, противоположную учебному заведению. Они держались за руки

и весело о чем-то болтали. Просто держались за руки. Но этого для Полины было достаточно, чтобы раз и навсегда, не объясняя причин, завершить с ним всякие отношения. Было больно, очень даже. Но лучше так, чем потом верить в ложь, да еще и себя уговаривать, что выхода нет. Выход есть всегда — так учила ее мама, и Полина безоговорочно уверовала в эту нехитрую истину.

— Понимаешь, Поленька, дела заели, прордыху нет, — говорил вчера Николай. — Забыл, когда и отдыхал. Пойдем сегодня в кино, нет, лучше завтра. Ой, подожди, звонят.

И с этими словами он, как-то таясь, отошел от девушки. Говорил довольно долго, а потом, приняв кислый вид, сказал, что и завтра вряд ли получится: шеф вызывает. Но Полина к этому моменту уже знала, уже твердо знала, что он лжет, и потому уверенно сказала: «Тебе труднее. Выкручивайся и дальше. Но уже без меня. Прощай». Он кричал: «Погоди, не уходи, дай сказать», но она не слушала его и спокойно, не спеша стала удаляться в сторону своего дома. Она понимала, что он все еще стоит, ждет. Даже сделал попытку догнать, но она пошла быстрее, и на этом все закончилось.

Ее душили слезы, они катились и катились по щекам, и казалось, что их ручейки смывают не только косметику, но и часть кожи и что от лица не останется ничего. Она плакала от обиды, от осознания своей правоты, которое не всегда приносит удовлетворение, от разрушенных планов и мечтаний, от того, что называется простыми словами — утрата любви. Она краешком воспаленного сознания понимала, что вот сейчас, именно в эти мгновения уходит, кончается ее любовь, растворяется в слезах ее чувство и ничего никогда уже не сможет ей помочь.

Она вдруг вспомнила, что спасительные таблетки, которых в доме всегда было предостаточно, могут помочь и ей, стоит набрать горсть и засунуть в рот. А

там... там — прощай все! Потом она вспомнила еще один мерзкий способ прощания, но даже поморщилась, когда представила, что ее вынимают с высунутым языком и что кто-то равнодушный говорит странное слово, вовсе не подходящее для трагического случая «странгуляционная борозда».

Нет, все эти штучки не для неё. Ружья не достать, а все остальное — развлечение для слабаков. А она, Полина, не из их числа. Нет уж, — непреклонно и даже яростно подумала она, — никаких таблеток и пистолетов, сама справлюсь. Но следом наступал другой довод: ей всего двадцать пять, а это уже второй раз. «Ну и что, — дерзко, с вызовом снова решила Полина, — обжигаться, так по полной. В следующий раз повезет. Моя возьмет».

Как за спасительную ниточку она внезапно потянула одно воспоминание. Они с Юркой, тоже сокурсником, как-то попали под дождь. Бежали несколько остановок, а трамвая до Бауманской все не было и не было. И тогда Юрка, не сбавляя темпа, сказал фразу, которая всплыла почему-то только теперь. «А ты, Полина Юрьевна, все же будешь моей женой, вот увидишь». Оба засмеялись и снова бежали и бежали, пока, наконец, их не настиг красный трамвай, да еще с прицепом и с веселой кондукторшей, которая тоже почему-то была рада дождю и пророчески заметила: «До свадьбы просохнете. Быстрее давайте садитесь». С Юркой они виделись постоянно, но никогда позже он не прикасался к этой теме, ни разу не соскользнул на опасную тропочку объяснений, ухаживаний, явных знаков внимания. Считался самым лучшим студентом, да еще была в нем какая-то искорка: когда разговаривал, когда смеялся или просто что-то отвечал у доски. Многие девчонки сами оказывали ему явное внимание, многие шептались, что почему это он, мол, все один и один. Но, наверное, на все это были свои причины, и об одной из них Полина догадывалась.

Однако сквозь слезы она потянула спасительной

ниточкой это воспоминание и устыдилась: вот ведь человек, только помирал от горя, а уже ищет успокоения в чем-то или... в ком-то. «Ладно, об этом потом, не теперь», — отмахнулась от самой себя Полина и уже без слез зашагала к дому.

И все же ночью ее терзали подробности встречи с Николаем. Как он выкручивался, как не готов был сказать правду. Как в один момент она спросила: «А тебе не утомительно врать? Как твоя Лиза поживает?» Он стушевался, ручки сжал в кулачки и, едва переводя дыхание, сказал, что никакая Лиза тут ни при чем и что нечего его без всякой причины подозревать черт-те в чем. Более того, если б она позволила скатиться в эту сторону разговору, то так и завязла бы в этих его речах о ее, якобы, вечной подозрительности и недоверчивости. Но она не хотела медлить и выискивать причину, по которой можно было бы все оставить так, как есть. Нет, она увидела, уловила явные признаки мелкого, недостойного поведения, они говорили красноречивее всех наблюдений и были правдой. Она же неправду физически не могла переносить и сделала именно то, что и полагалось: ушла. Что там дальше — трудно сказать, но выбор был сделан, решение принято. Сладостные мысли о горстях таблеток скоро уступили место тому, что надо было решать, что делать, как выйти из этого положения, чем занять себя максимально? Она вспомнила о бассейне, забросила который уже полгода как, и решила, что все возобновит. И еще начнет танцевать восточные танцы.

А когда она приближалась к дому, путь ей внезапно перегородил Юрка. Он стоял с букетом сирени, был, как всегда открыт, и та искорка, что словно прилеплась к нему, сияла и сейчас.

— Держи, Полина Юрьевна. А я уезжаю. На три месяца. Научная командировка. Попрощаться заскочил. Ты.. ты жди меня, ладно?

Полина не успела ничего ответить и только подумала, как все странно в жизни, как переменчиво: только

недавно она думала чуть ли не о конце своего существования, а теперь вот — на тебе. Она ничего не ответила, взяла букет, склонила в него заплаканное лицо, а когда подняла голову, Юрки уже не было.

Стоял апрель, любимый месяц Полины. Но откуда в такую рань мог достать Юрка цветы? Еще же не сезон. Однако она знала, что именно он обладает каким-то волшебным даром обнаруживать ценное там, где никто и не догадывался поискать.

Полина пила на своей кухне чай и все еще не могла поверить, что волшебство, оказывается, бывает совсем рядом: вот как сейчас, под самым окном.

21 августа 2008 г.

КОГДА ЗАКРЫЛСЯ ЗАНАВЕС

Господи, ну что она только ни вытворяла на сцене! И дралась каким-то особым способом, названия которому в 60-е годы мы еще не знали; и была по физиономии партнера; и делала пируэты, словом она была выше всяческих похвал и больше того — выше понимания того, как это уже вполне зрелая женщина способна творить на сцене чудеса?!

Действительно, первый акт «Миллионерши» закончился триумфально, стал закрываться занавес (тогда это еще было вполне обычным делом), а Асенька уже направлялась к выходу, чтобы заскочить в гримерку раньше других и обнять любимую тетю Нину.

У них с ее мужем, тоже актером Дмитрием Алексеевым, детей не было, и Асю они считали своей дочкой, благо знали ее почти с пеленок, с того самого времени, когда у их друга, актера театра имени Горького в Ташкенте не родилась девочка. Они все дружили, а в те времена, еще в конце 40-х это было делом святым: дорожке и святее семьи, работы, самого даже театра. Дружба определяла все, и когда спустя пять лет их друг Саша, отец Асеньки, нелепо, в одночасье умер, супруги Алексеевы поклялись, что девочку не оставят никогда, что бы ни случилось. Хотя у нее и была прекрасная мама и еще куча всяких родственников, но Асенька отделена была от них сразу и насовсем. Это случилось и так продолжалось все долгие-долгие годы и в самом Ташкенте, и много позже, после известного землетрясения, когда Алексеевы решили покинуть город. Перебрались сначала в Казань, где Нина Петровна сыграла несколько великолепных ролей и сделала это с присущим ей блеском, а потом и вовсе... Да, потом наступила совершенно другая полоса, и связана она оказалась с необычным местом, которое приютило пару. Это был Ленинградский Дом ветеранов сцены, где поселились супруги и стали жить. Сначала, как это и водилось у них всегда, широко и с застольями, друзьями, ходившими к ним, в их хлебосольное жилище, потом чуть тише и скромнее, а потом и совсем все из-

менилось. Спустя десять лет умер неожиданно, проболел всего пару месяцев, дядя Дима, жена его осталась одна, и стиль, уклад жизни стал мало-помалу меняться. Постепенно из квартирки, а жилье каждого посто-яльца и впрямь было полноценной квартирой с ванной, плиткой, хоть и электрической, туалетом, это жилье стало превращаться в тусклую комнату почти без убранства. Она и обставлена была той еще, привезенной из Ташкента, мебелью, и ковер висел тот самый, который был у Алексеевых всегда: и до землетрясения, и после. Ох, уж это землетрясение! Не случись его, не разделилась бы жизнь на «до» и «после», не было бы переезда, вернее, скоропалительного отъезда из города, и не случился бы Ленинград с его хоть и замечательным, но все же казенным домом. И не произошло бы еще более трагического: тетя Нина сохранила бы своих старых друзей и не утратила бы то святое, что так охраняло от разных бед и напастей своим чудным светом, светом дружбы. И не стала бы исподволь, очень незаметно сначала вторгаться в жизнь какая-то трагическая надломленность, словно человек постепенно, не сознавая этого даже, начал сдавать свои позиции, примиряться с тем, что прежде было для него совсем недопустимым. Но обстоятельства, как любят говорить люди, не в силах с ними справляющиеся, выше нас, и потому сложилось так, как сложилось. Расползлись по своим каморкам временные, на несколько лет, друзья, стали вылезать болезни, которых раньше, казалось, и нет совсем. Не очень хотелось, да и надобности не было, выходить в город: на прогулки или так, по делам. Все эти «надо» и «требуется» как-то понемногу растворились, и абсолютно все желания и надобности сосредоточились на маленьком пятячке Дома. Там кормили, потом и одевали, когда поступала из-за границы гуманитарная помощь. Там прямо в комнату приходили измерить давление, приносили лекарства. Не требовалось вообще никаких усилий, чтобы жить. А жизнь этого не любит, она начала сопротивляться и высказывать недовольство. То в виде какой-то новой болячки, то мелкого предательства, то еще какого ис-

пытания. На тети Нинину голову оно выпадало дважды: сначала в виде ухода дяди Димы, а затем, спустя шестнадцать лет, в виде брака с дедушкой Юрой, злым, сварливым и жадным грибом — боровиком. Грибом его прозвали сразу, как только он появился: и за рост, и за спрятанность от всего и всех. Не любили его и очень удивились, когда тетя Нина, веселая, независимая, статная, просто красивая женщина поддалась на его уговоры и в конце концов вышла замуж. Сначала все было тайно, скрыто, умная женщина не могла не видеть, как не любят ее избранника. Но что там утаишь в общем коридоре?! Всё стало известно всем, и тетя Нина утратила и тех немногих любивших ее друзей, которые терпеть не могли и не захотели этого деда.

Мало того, что он был вредным старикашкой, он еще частенько изводил ее то своей ревностью, то требованием не общаться с Асей и ее мужем, приезжавших из Москвы. Он в конце концов запретил ей всякие контакты, и они остались вдвоем, с каждодневной выпивкой по вечерам, одни, без друзей и знакомых за столом. Затем он велел тете Ниночке перебраться к нему, в его вечно неубранную комнатку. Отведен ей был короткий диванчик, а он располагался на большой, длинной кровати. Он, который был роста полутораметрового, а тетя Нина — значительно выше него. И она постепенно смирилась, приняла и это.

Наблюдать все эти превращения для Аси, которая несколько раз в год приезжала в Ленинград, было невыносимо. И если поначалу, когда брак еще не был оформлен, этот дед звал ее к столу, то постепенно и это прекратилось, Ася была отлучена от стола, а потом и от дома. Он напевал тете Нине, когда Ася, как и обычно, как все долгие-долгие годы привозила своей тетушке разные наряды, что все это дрянь и ей ничего не идет. Однако, многочисленные платья, пальто и шляпы не отдавались, а он раздаривал их раздатчикам, медсестрам, посылал своей дочери.

У Аси с тетей Ниной за долгие годы выработался свой ритуал отношений и привычек. Так, Ася могла оставить у нее некоторую сумму денег, которую не ус-

певала потратить, чтобы иметь к следующему разу маленькую записку, некий дополнительный источник трат. А Ася гораздо была на них: очень любила наряжаться и покупать обновки.

Тетя Нина тоже никогда не скрывала, где хранит деньги, даже и говорила, сколько их у нее. Но в последние годы что-то изменилось. Так, однажды (впервые за все-все годы) Ася заняла у своей тети сто долларов и должна была ей привезти в следующий приезд. Звонила, как и обычно, регулярно. И вдруг тетя Нина говорит, что ее могут проверить, увидеть недостающую сумму и будут неприятности. Что она скажет Юре?

На другой же день муж Аси выехал ночным поездом, чтобы вернуть деньги и не развивать сложности, которые могли бы возникнуть у тети Нины.

И в какой-то приезд, когда Ася поняла, куда тянут ее дорогую тетю, как растревается она в этом старикашке, которого не полюбила, а стыдилась своей слабости, и мучилась, и страдала от его несправедливости, колкостей, жадности и многого чего другого. Так вот, осознав все это, Ася решила помочь тете Нине сохранить те немногие накопления, которые у нее были. Она взяла кошелек, перепрягала его и когда тетя Нина (с подачи, конечно, Юры) ославила ее, называя последними словами и в своем корпусе и мужу Аси говорила то же; когда это известно стало Асе, она поехала к тете Нине и с облегчением узнала, что Юры не стало. Нехорошо, наверное, подумала, но именно с облегчением. Да и сама тетушка словно засветилась, так изменилось ее лицо, взгляд. словно вернулось все заново, словно и не было между ними этого страшного гриба-боровика. И наступил момент, которого, наверное, тетя и не ждала. Ася вынула спрятанный кошелек, тот, резной, индийский, пересчитала все купюры, отделяя доллары и рубли, погремела мелочью и все это вручила тете Нине. Та сидела молча и не могла поверить, во-первых, тому, что это не сон, во-вторых, тому, что все оговоры Юры, которому это событие было только на руку, оказались ложными. И в главных, что ее Асенька такая же хорошая, как и пятьдесят лет назад. Более

того, ей было даже неловко за то, что она могла подумать о краже, развивать эту тему и называть Асю жуткими словами. Ах, тетя Нина! Что все-таки значит, когда у женщины нет детей! Она ведет себя совершенно иначе: не умеет прощать, быть гибкой и сочувствующей по-настоящему.

Ладно, прошло и это, и Ася стала забывать, что ее дорогая тетя, которую и в письмах, и в своих встречах она называла частенько мамой, могла так о ней подумать.

Переболел муж Аси, который не мог пережить, что его дорогую, чистую девочку так ужасно называли. Словом, настрадались все из-за мерзкого деда.

Но вот началась опять другая, уже не старая, а просто другая жизнь. Пришли болезни, квартирка совершенно опустела: что-то было роздано, раздарено тетей Ниной еще до своего нелепого брака, что-то прибрали помимо ее воли. Но вот только Асе она не отдала ничего. Так, бусики, белая ниточка бижутерии, да еще раньше — два обычных подстаканника, да и то потому, что на одном была надпись от друга Сашки, который дарил его в свое время другу Диме. Это — память, ничего не скажешь. Побольше, чем ковер или бриллианты, которые запросто были отданы медсестре.

Большую часть жизни тетя Нина проводила теперь в лазарете, комната стояла закрытая. Но отношения с Асей стали вновь замечательными: ни тайн, ни подозрений. Но и Ася никогда и ничего не просила у своей тети Нины, только по-прежнему привозила какие-нибудь обновки, которые тетушка могла тут же передать кому-то из персонала. Что ж делать, такая она, Нина Петровна Алексеева.

Однажды она рассказала Асе, что ее покарал Господь за дядю Диму, за измену ему. А как иначе, нежели изменой можно было назвать этот никому не нужный брак! Может быть, она права. Ей виднее.

Ася продолжала раз в месяц звонить, всякий раз опасаясь, что сейчас услышит страшную весть. Но пока шло все обычным образом: тетя Нина, когда могла, подхо-

дила к телефону и подолгу говорила со своей Асей, расспрашивала ее о всех домочадцах, передавала приветы, была вполне дружелюбной и адекватной. Только с памятью становилось все хуже. Она могла попенять Асе, что та довольно долго не звонила, забывала, если ее девочка передавала приветы через кого-нибудь. Все закономерно, ведь тете Нине шел уже 95 год!

Много разного сошлось в ее характере: и веселая открытость, чудный голос, и своя, известная только ей тайна, в которую она не посвящала никого. Она умела держать дистанцию, это точно. Ася порой пыталась во многом походить на тетушку. Да и брак этот постепенно стал забываться, все более заполняя жизнь медицинскими проблемами, хворями. Тетя Нина, у которой давление частенько зашкаливало за двести, умела не паниковать или просто даже не обращать внимания на такие «пустяки», как она говорила. Она была стойкой, это правда. Тем более непонятно, как поддалась она этому старцу, что толкнуло ее на отношения? Одиночество? Потребность в общении? Трудно сказать.

Однако и это прошло и наполнило день сегодняшний уверенностью в том, что превозмочь можно все, или почти все, что жизнь, как это ни банально звучит, продолжается и что тетя Нина жива и может так же рассмеяться в трубку, когда ей позвонишь из Москвы.

И помнится только светлое и замечательное, как времена учебы в Питере, тогда — Ленинграде, увлечения, просмотры спектаклей. Как во все она вникала, расспрашивала, как интересовала ее каждая мелочь. А на одно из свиданий даже пожертвовала свои сапоги и белую паутинку.

Пусть занавес, который навсегда задернулся на сцене после «Миллионерши», будет еще очень долго открытым. Так жизнь с ее превращениями кажется более стабильной и неподвластной никаким угрозам, бедам, горестям.

И пусть еще долго-долго живет тетя Нина, прекрасная актриса и вторая мама Аси.

7 сентября 2008 г.

ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ

Да, вот именно. Но только не у самого синего моря, а совсем в другом месте. Жили они у края синей речки, на ее бережке, на таком теплом и красивом, что никакому морю не сравниться. И детей у них не было, и были они уже старенькими, но кое-что все же было. Это речка, которая не просто протекала рядом с их домом, не просто была хороша и привлекательна, но сверх всего обладала еще одним свойством: она текла как живая, да, наверное, и была живой, столько в ней струилось света и радости. Старички полюбили ее как родную дочь. Приходили, садились совсем у краешка и смотрели. Да не только разглядывали ее, а каждый на свой лад, говорил обо всем с ней. И что болит и о чем болит, и кто кого разобидел. Жаловались, смотрели, как она плещется, слушая их, и такой разливался в душах покой, что не надо было ни моря, ни города, ничего вообще кроме этой самой речки.

Жили они в деревеньке, приютившейся на самом краю поселка, уже более семидесяти лет, с самого своего рождения. Но только Аннушка, бабушка, в этой же деревне и родилась, а ее Коленька — чуть дальше, в соседней. Когда Ане исполнилось шестнадцать, приехали сваты, и решено было сыграть свадьбу. Да только это так говорится — свадьбу. Что там в тридцатые-то годы можно было сыграть? Разве что в ящик, да и то с проблемой: денег и на него не было. Так уж, как водится, договорились обе стороны и порешили, что девушка останется у себя, а Коля переедет к ней. Да, получалось, что вопреки обычаем. Но что поделать, если дом у Колиной семьи сгорел, жили в соседнем сарайчике, до традиций ли тут?

Анюта хорошо запомнила день, когда приехал сам Николай. Был он высок, даже слишком и такой увалень, ну просто медведь. Да еще медлительный вдобавок. Скажет слово и молчит. Думает. Она ждет. Так и во всей дальнейшей жизни повелось: обычно соображал Николай долго. А Анна, напротив, скорая была,

шустрая, все торопила его, все ей его темп жизни казался медленным и забирающим даже силы. Вот уж она его подгоняла! «Коленька, ну чего ты там застрял, давай скорей!» — эти слова были чуть ли не главными на протяжении всей совместной жизни. А когда приехал в первый-то раз, да, понравился очень. Даже забежать успела к мамушке и сказать, какой симпатичный парень пожаловал. Так и сказала: «Симпатичный, уф, аж сердце ухает». И где только слышала такое слово?

В первую встречу Коля в основном молчал, пару раз сильно, всей грудью вздохнул, а вымолвил вот что: «Как мать с Анной решит, так пусть и будет». Невиданное дело: чтобы парень отдавал свою волю и желание в руки будущей тещи! Небывалое дело, точно. Но матери зять будущий тоже понравился, и ей даже на руку было, что дочка не уйдет никуда, с ней останется: очень уж она домашняя была. Горячая, строптивая, но дальше дома своего и не видела ничего и не выезжала никуда.

Так и поженились. Через год дочка родилась. Но беда вышла: не прожила и недели, схоронили. Что за болезнь такая приключилась с ней, теперь не скажешь, но, видно, заболела сильно, не спасли. А потом, как ни старались, деток не было, не дал Господь. Так и жили вдвоем, а потом и вовсе притерпелись и решили, что, мол, роптать, если на роду так написано?

И на войне Коля побывал, и ранен был, и ждала его Анюта все четыре года, за все из них два письма-то и было. Но характер у нее особенный был, сильный, волевой человек она была, да такой и оставалась по сей день. Лидер, одним словом. Как она скажет, как того захочет, так то и сбывается, и делается. Коля все поддевал ее, что она как та старуха из сказки Пушкина: все ей не так, да все мало. Но она не жадная была, просто хотела многого. И чтобы в соседний поселок Коля ее на учебу ходил, а это не бегом пробежаться, а целых шесть километров в одну сторону. И чтобы потом курсы закончил, механиком стал. Он и это выполнял, даже в самый большой поселок ездил по три раза

в неделю. Название поселка было Большой Гай, а они жили в Маленьком Гае, а деревенька и вовсе называлась — Гай. Было-то в ней всего домов сорок, не больше, а в последние годы осталось дворов восемь-десять. А что делать, не уезжать же?! Да и к кому?

Однажды приезжали к ним из города, лет, наверное, пятнадцать назад, всех переписали, обещали в казенный дом перевезти, к престарелым. Так и назывался этот дом — Дом престарелых. Очень тогда им это название не понравилось. Что за дом такой и почему престарелых, когда они уже совсем старые. С соседями поговорили, те тоже в отказ, никто не захотел покидать свой Гай. Что им эта Самара?! Здесь свой рай, недаром же место так и называется — Гай. Не совсем, конечно, про рай, но очень похоже.

Словом, остались, да особенно никто их больше никуда и не зывал. Привезут два раза в неделю хлеб, продукты кой-какие — и ладно. На все дворы — одна корова, так что с молоком еще были. Правда, тетя Дуня, хозяйка Маруси, совсем плохая стала, корова ее то сама по себе гуляла, то кто-то из соседей помогал выгуливать, а уж доить — нет, Дуня хоть еле живая была, а доила пока сама. И словно лекарство какое выпивала при этом: так хорошо становилось от прикосновения к теплым мягким сосцам Маруськи, что и впрямь небывалое снадобье входило в ее тело и становилось легче. Так тетя Дуня себя и лечила, этим и держалась.

А вот у Ани с Колей не было ни коровы, ни еще какой живности кроме кур. На эти хлопоты сил еще хватало, уход за ними был не сильно утомительный, а кушать зато было что. И не только яйца, но иногда, редко, правда, позволяли себе и курятины, когда совсем уж заскучают по мясу. Тогда Николай брал несущку, принадлежности необходимые и уходил в дальний угол двора, чтобы его Анюта не видела чего страшного и не слышала. Но она все равно сидела нахохлившись вроде самой курицы и ждала. И так делалось совестно и грустно, ну, хоть не режь ее совсем.

Однажды все же не выдержала, побежала за Николаем с криком «Постой. Не режь бедную». Так еще полгодика прошло, но видно было, что слаба эта курочка, не выжить ей. И что делать, пришлось все же...

Спасением от разных мыслей были не куры. Что с них за ласка? Так, насыпал зерна, позвал поклевать, петух справился со своей задачей — ну и жди результатов. Веселья от них мало было что ли. Скучные они больно. Это не раз она своему Коле говорила. И вот однажды повез он в большой поселок к раннему утру курочек на базар, живых, конечно, как иначе, а вернулся радостный, с хитринкой за пазухой. Стал у дверей и говорит: «Ну, что, моя славная, знаешь, чего я тебе привез»? Да откуда ей было знать? Бывало, привезет продуктов, сладостей, вино сами делали, ну, бутылочку себе, но чтобы так? Нет, таких загадок не загадывал. И все стоит и тешится: знаешь да знаешь. Нахмурилась Анюта на такие хитрости и говорит: «Нечего мне загадки разводить, не знаю я ничего, а гадать не стану. Хочешь — показывай, не станешь, так и не надо». Ох, гордая была, жуть прямо. И отошла. Села в самой комнтате у окна, ждет. А он, как нарочно, все медлит и медлит. Она не шевелится, и он пропал. Только взял из буфета какую-то посудину, звякнул ею и все, тишина. Что это за невидаль такая? Анюта не выходит. Не такой у нее характер, чтобы с унижением идти.

И вдруг слышит... Нет, поверить даже не смогла: слышит, кто-то шлепает по полу. А пол намыт, чистый, аж скрипит. Оборачивается — маленький котенок соскальзывает с доски на доску. Она так и ахнула. Руками аж всплеснула. Это что ж такое? Коля, выходит, сам что-то в кои веки решил, без ее ведома?! Выходит!

Осторожно поднялась, шагнула и так и замерла. Он, несмышленьш этот, как заорет, как запищит, словно взрослый кот. И — к ней. Прямо с разбегу на нее запрыгнул. Что тут оставалось, только прижать да и все. А он, он запричитал, зачмокал, и откуда в таком тель-

це-то тщедушном силы столько: так урчал, что на дальнем дворе, небось, слышно было.

Для порядка Аннушка подулась: ну, как же, ее не спросились, но сама рада так была, что не рассказать. С ним ела-пила, с ним спать ложилась, с ним по двору ходила, его же к курочкам приучила. Словом, не разлей вода они стали. А вечерами, когда приходило время на речку идти, брала мальчика с собой и так там втроем и сидели. Назвали котика Тишкой, в честь деда Анны. Смешно, конечно, но что с одиноких людей возьмешь?!

Так он и стал расти в доме старичков. Набирался сил и ума, да такой умный и пряткий стал, что вместе с ними и чаевничал, и конфетки из вазочки лапкой сгребал, и ждал, когда щеточкой чесать его начнут. А уж к кушанью у них с Анной свой подход был. Только она глаза раскроет, он уже на груди у нее. Заглядывает, в нос тычется, просит встать. Ну, как человек, только без слов. Вот уж где курыгодились. Если раньше Анна с трудом переносила потерю каждой, то теперь для своего Тишки лучшего кусочка ждала. А иногда из поселка Коля и вообще что-то невиданное привозил. Надо было ножницами разрезать и уже готовое дать. Кот аж визжал от радости. Потом непременно подойдет, лизнет Ане руку и сядет умываться, начищаться. Ну, золото, а не котик был. Да что там был, уже девятый год, как прижился и ни на шаг от хозяйки.

А вот с хозяином отношения не заладились, не любил его Тишка. Даже и ревновал к своей Аннушке. При удобном случае, нет-нет, да куснет своего хозяина, и царапнет. Но ничего, Коля все терпел. Ради удовольствия своей славной Анюты все сносил, даже кошачью нелюбовь.

Но однажды произошло страшное. Сидели они всей семьей у речки, смеркалось, и вдруг котик вырвался с колен, да как сиганет в воду. И что он там такое увидел, так и осталось загадкой. Аня закричала так, что, наверное, в Большом Гае слышно было. И что же? Коля

сиганул за ним. Еле догнал. Схватил за шкуру, тут Аня еще пуще завопила. Но он только отдувался, нес ее сокровище к берегу. И ведь что? Нет, чтобы о муже позаботиться, похлопотать, — она со своим котом начала нянькаться: ах, заболит, ах, замерзнет. Хорошо, не совсем уж глубокая осень на дворе была. Отогрели, молочком отпоили, а вот Коля простуду все же схватил.

Да, перемена вообще большая вышла после этого случая: стал Тишка уважать Колю, полизывать иногда руку, как своей хозяйке, обнюхивать его, не чураться и на кровати. Словом, с того дня сравнялись они оба: признал Тишка окаянный обоих.

Оба молчали об одном же: не дал Бог детей, так вот, котик у них есть, отрада их. Да еще речка. Ну чем не доченька? Анюта все думала про себя, чтобы кот прожил бы как можно дольше, чтобы радость в доме сохранить. Дед думал о том же: как же он без радости для своей Анюты?! Только бы улыбалась, не скукоживалась, только бы жила и жила, да пусть хоть и ругает, но своя ведь, не кто-то на рынке.

А она и вправду словно подмененная за десять лет стала: и нежность не так сильно прятала, как в прежние, даже и молодые годы, и готовила с радостью. Словом, подарок мужнин так пришелся к дому, что новую молодость они заново справляли.

Одну только поправку внесли после того случая: не садиться так близко к воде, мало ли что!

9 сентября 2008 г.

ДУША

Константин Евлампиевич сидел возле окна и, как водится, курил папироску. В течение почти тридцати лет, что он работал в прославленном НИИ, он никогда не изменял ни своему графику, то есть цикличности приема пищи, курева, отдыха и проч., ни маркам папирос, набору продуктов и способу отдыхать. Курить он предпочитал марку «Друг», которую с годами находить становилось все сложнее; из еды все больше — супчики, а ничего не делать совсем было не для него, и он предпочитал либо читать, либо играть в шахматы. Даже если второго игрока не было вовсе. Играл для души, для удовольствия, так сказать. Все больше размышляя при этом, пробираясь сквозь лабиринты построений фигур, воображал себя то их предводителем, то конвоиром, то просто-напросто слугой. И тогда великолепная дама, по прозвищу королева, к которой он особенно благоволил, становилась для него повелительницей его поступков, даже намерений, желаний она могла изменить его настроение, управлять им и повелевать. К ней и впрямь он имел особенное чувство, не вмещающееся в логику поведения и действия остальных фигур. Пешки для него имели смысл лишь второстепенный, какой и в действительности, по самому назначению шахмат им и полагалось иметь; к коням он относился тоже особым образом, но никак не похожим на отношение к даме. Конь ассоциировался у него с чем-то динамичным, неуправляемым, с тем, что самому Константину Евлампиевичу было свойственно лет сколько-то назад. Довольно много лет назад!

Король явно был не близок ему. Самоуверенный и хладнокровный в своей тактике, он неизменно вызывал раздражение хозяина кабинета, хотя он и не мог не сознавать, что все основное — в нем, в короле. И в его королеве, разумеется. Но он никак не желал называть королеву королевой, а именно дамой. Только параллели с женщиной, в каждой из которой он видел действительно даму, примиряли его с необходимостью

называть фигуры так, как им было положено. Ну, а пешки, что пешки?! Они что в жизни, что в игре — все одно! Без них вроде и никуда, но до того они не вызывают уважения, фу!

Как и в любой игре, в шахматах тоже существовала своя иерархия действия, развития, нечто, напоминающее композицию литературного произведения, где есть начало — экспозиция, затем развитие действия, наконец, кульминация и уж затем развязка. Да и любая игра строится по этому принципу. А разве литература не является в каком-то смысле игрой? Конечно, все-таки непременно!

И когда, скажем, Константин Евлампиевич попадал в цейтнот, то сразу обнаруживалось, что очень похожее творится и в его реальной жизни: шахматы отражали напрямую то, что сотворялось в душе этого человека, проецировалось на течение его собственной судьбы, побуждало действовать согласно тем законам, которым подчинялись шахматы.

Понятно, что эта древняя игра была одним из главных увлечений в жизни ученого, где и располагался кабинет хозяина — профессора, доктора физмат наук, завлаба, занимающего довольно просторное помещение в том самом НИИ, где не возбранялось не только поиграть в свободную минуту в ту или иную игру (не в картежную, конечно), но за этим благородным занятием что-то обдумать, взвесить, решить.

Естественно, приходили и посетители, зная слабость заведующего лабораторией, но всегда это делалось корректно, так, чтобы не помешать его владельцу, у которого могли быть и иные дела, и другие намерения.

Так, большим охотником до партий с Константином Евлампиевичем был еще один руководитель отдела, тоже доктор, но технических наук, Егоров Дмитрий Иванович. Хороший, умный был дядька. Тактичный, знающий место и время, когда можно было обратиться с вопросом не по поводу экспериментов, а по части любимого хобби. Была, однако, у него слабость. И не то чтобы слабость даже, но привычка, ко-

торая не всем нравилась, и потому его не все с охотой встречали. Любил он порассуждать о социальных проблемах, извести ими порой собеседника до того, что у того голова начинала идти кругом, а то и вовсе человек спешил избавиться от разошедшегося мужчины. Отдушиной для него был, конечно, кабинет, где можно было так замечательно провести время, порассуждать, да и сам его хозяин, терпеливо сносивший все выпады и революционные устремления гостя.

Чаще всего Дмитрий Иванович приходил около обеда, оба выпивали чай, не сговариваясь, расставляли фигуры и принимались за игру. Обычно хозяин кабинета, как истинный хозяин, уступал право выбора цвета пришедшему. Но тот не злоупотреблял добротой друга, и дело слаживалось так, что играли белыми по очереди.

И сегодня, в холодный мартовский день, когда за окном зима все еще боролась за свои права и не хотела уступать ни пяди из своих злопахательских устремлений, раздался стук в дверь и голос, спрашивающий позволения войти.

— Можно к вам, Константин Евлампиевич?

— Конечно, поджидаю вас.

— Вы что же, знали, что я приду?

— Ну, не совсем чтобы знал, но догадывался.

— Видали, как весна подбирается? — спросил, входя гость.

— А как же! Но и зима, замечу, совсем обнаглела, не уступает ни капельки. Жмет и жмет, не дает хода. Как на том совете, помните, как наш ученый секретарь разошелся? Всё-то ему не так, все не так работают. Да и по нам прошелся: видишь ли, в шахматы балуемся! Знал бы, что это за игра, не говорил так. Верно?

— Не только верно, но и... Знаете, я вам так скажу, Константин, до того все надоело, хоть уходи к такой-то... зиме. Если бы только шахматы! Они наступают со всех сторон, пришлые эти. Разве они сами создали что-нибудь? Открыли хоть малюсенькую закономерность, формулировку? Маляры! Они малюют по графикам и

таблицам, не делая ни малейшего снисхождения тому, что люди просто-напросто привыкли думать! Думать! Вы поставили, отлично. Вот и мой черед, — произнес Дмитрий Иванович, делая незамысловатый первый ход.

— Понимаю, — поддержал гостя хозяин кабинета. — Это знаете, как в поэзии. Можно и заблуждаться, и ошибки делать, но маляром быть недопустимо. А один наш почти что самый известный поэт — кто есть? Правильно, мастеровитый, со знанием профессии, но все же маляр! Или штукатур, я, может, его сильно понизил.

— Точно, пишет про такие вещи, о которых прежде думать надо. Рубашки только меняет, да и только. Злой он, скажу я вам.

— Согласен, злой. Ваш ход, не пропустите! Ах, вы! Не волнуйтесь вы так! И злой, и все себя подает, будто главное и интереснее и нет никого. А считаешь неизвестных, так и есть, оказывается, просто себя не выпячивают.

— А я и не знал, Константин, что вы в поэзии дока.

— Да какой я дока, к слоновой матери! Берите, берите слона-то!

— Угу! Ведь нынче что в поэзии? Дух утрачен, как и повсюду. Духа нет! Ни в учебных заведениях, ни в библиотеках, ни в школах — нет его нигде. Выветрился! А как, не имея его, что-то создашь? Бесполезно! Вот дочка ваша в академии какой-то, живописи что ли, как там с духом?

— Ха-ха-ха! Там если и есть дух, то только одного человека, его создателя и владельца, и... И еще даже не знаю, чего. Не смей излагать собственное суждение, мнение! Что изменилось с тех самых времен, когда была цензура, запреты разные, все такое прочее? А ничего? Не угодно это мастеру, все, пиши — пропало!

— А у моего внука своя беда. Он не по изящной части, но тоже с капризами начальства. Руководитель велел: не сделаешь если мне вторую главу, не видать тебе защиты. Вот и думай: пахать на него или плюнуть все и уйти к слоновой маме?

— Да-а, у вас еще, выходит, почище! У моей не могли иметь собственного, не схожего с мнением мастера, впечатления, идеи, этого самого мнения. Да вот, к примеру. Она на первом курсе возьми и скажи, что любит импрессионистов! Что было! Он кричал, топал ногами и выражался! Представляете, выражался! Назвал Ренуара Марксом в живописи. Дочка плакала, ушла в глубокое подполье. И теперь, при каждом удобном случае, говорит одно: только Крамской, в лучшем случае, Левитан нравится. Сплошные реалисты. А нынешней, современной живописи, по его мнению, просто нет. Да и откуда, мол, ей быть? Все на нем одном, единственном, и заканчивается. Ваш ход, а, пожалуй, вам и шах!

— Главное — не мат! А с матом что творится?! Были мы на днях в главном театре страны. В знаменитом Камергерском переулке. Чего только не наслышались?! Молодые пополнили свой лексикон из нецензурного архива, мы сидели, и уши вяли. Люди старались не смотреть друг на друга, делали вид, что почти не слышат ничего. Что происходит?

— Вы не горячитесь, а то снова я вам... Ладно, соглашаюсь, не все хорошо. А все дело, знаете, в чем? В душе! В ней одной! В ней, единственной! Усыхать стала, улыбаться перестала, не радостно ей.

— Вы снова за свое, за душу! Ну, где она там, скажите на милость мне, технарю, знающему все и вся о расположении не одних лишь шестеренок, но и кое-что про анатомию. Где? Не с душой беда, а с образованием, квалификацией, профессия потеряла статус, смысл!

— Все так, но и в душе — тоже! В ней все. Зачерствели мы.

— Позвольте, Константин, но вы ученый, вам все известно про человека. Какая душа, где она? Что с ней делать, чтобы стихи хорошие писать? Чтобы любить ваших импрессионистов?

— А знаете, вот мы с вами два ученых, а и у нас даже разногласия. Я про душу пекусь, вы — о технократии заботитесь. Где середина, да и есть ли она?

— Не знаю. Все метафизическое мне чуждо.

— Позвольте, ну а шахматы, в которые мы играем, разве не чудо ли они метафизики?

— Нет, они — подлинная реальность.

— Какая, к слоновой матери, реальность, если они — игра? Самая что ни на есть игра!

— Успокойтесь, успокойтесь, Константин, с вашей метафизикой. В игре тоже есть овеществленная реальность: вот, фигурки эти, их передвижение по доске.

— Но правила, устройство само, наши победы и поражения? — чистейшей воды игра! Философов надо читать!

— Мне хватает своего чтения, уверяю вас.

— Не кипятитесь.

— Это вы не кипятитесь, Константин.

— Весь мир, все его приспособления, все наши глупости, даже литература и поэзия — все это игра, понятно вам?

— Ну, знаете, я не метафизик, и не хочу мешать в одну кучу здравый смысл, логику и реальность.

— И не мешайте, Дмитрий Иванович! Не мешайте. Только знайте, что все от нее, от души происходит. Разбередили ее, знаете! И продолжают это делать. Как у отдельно взятого индивидуума, так и у общества в целом. Верить ей перестали, уважать ее.

— Больше не могу, уж простите, Константин, но вот вам мат, а заодно и мое возражение, даже больше: несогласие с вашей позицией. Не могу верить, не принимаю, что все упирается в то, что даже физически невозможно понять, охватить взглядом, умом, так сказать. Больше не могу. Я пошел!

— Идите, идите, дорогой Дмитрий Иванович, заходите еще.

— Не знаю, я должен отойти, обдумать. Успокоиться, в конце концов. Игра! Да что это за такое, игра?

— Да, игра, В театр же вы ходите, и что там? Вот именно!

— Ну нет. Там профессия.

— А как без души хоть в физике, хоть в живописи?

— Не знаю, не готов, надо подумать. Расстроился.

— Ничего, все пройдет. Душа успокоится, и пройдет.

Когда дверь за Дмитрием Ивановичем закрылась, хозяин кабинета подошел к окну, пристально посмотрел куда-то далеко, затем прижался лбом к стеклу и произнес: «Вот она где, душа моя, где болит. Ноет и ноет. Опять внучка что-то отчебучит, не иначе». Он отошел от окна, присел к столу и подумал о том, что все, казавшееся ему непреложной истиной, оказывается, не понимается и не принимается другими, подвергается сомнению. И мир так скроен, что одной душой не закрыться, не заслониться ни от бед, ни от темных сил, ни от того поэта, который мастырит примитивные стишки, с поправкой на претенциозность. Что холодок, который окутывает мужское и женское сообщество, все больше и больше остужает их души, делая людей черствыми и агрессивными. Неужели все они, все, не понимают, что всё в очень простом: в умении, желании слушать эту свою душу, беречь ее и, если потребуется, лечить?

Он посмотрел на вещественный итог игры, понял, что проиграл и почувствовал облегчение от того, что не всякая здравая мысль, не всякий логический ход способен приносить удовлетворение и радость. Они в другом, в том, наверное, что даже ученому понять почти невозможно.

13 марта 2010 года.

ФАНТАСМАГОРИЯ

повесть

**Простерго тело, дух бежать готов;
Я покажу кровавую расписку...
Но много средств есть ныне и ходов
У черта, душу чтоб отнять без риску!**
И.В.Гете «Фауст»

Черт Василий сгреб со стола все лежащие там обрывки бумажек, записочки, разные клочки со следами цифр и букв, сделал из всего этого месива горку, полил сверху скипидаром, внюхался в мерзопакостную своюстряпню и, довольный, отодвинулся. Ему предстояло все это отправить одному драгоценному товарищу, чуть ли не другу. Но не из их, чертячьей своры, а так, просто глупому человеку. Выходило, что именно он нарушил Василия покой. Сделал даже ему замечание, а потом и вовсе обнаглел: стал посылать его куда подальше, а еще страшнее — вообще говорить, что их, чертей, будто и нет. Совсем нет!

Но как же так? Вот сидит себе Вася (он даже назад оглянулся, удостоверился, что хвост при нем), смазывает вонючестью рукописную отраву и даже не подозревает, что кто-то где-то норовит высмеять его, вычеркнуть из списка существующих, изгнать из мира. Но позвольте! Когда это было, чтобы на свете пылилась одна только благостная челядь, смоченная целомудрием и намерением спасать, переделывать мир? Его спасай — не спасай, он все равно задыхается от примерно такого же запаха, изобретенного только что чертом Василием. Это он умудрился проект своего ненавистника так измучить, так сжать его и изничтожить, что от поэтических строк, обернутых в чертежи и расчеты, осталась только эта самая ересь, да и просто ничто. Нет теперь этого проекта, нет и не будет никакого светлого города с мостами и светящимися домами, где у каждого — по фонтану. Не бывать теперь этому: Вася, именно он свершил свой суд и приговорил Родия Мамонтовича Жгуна к невыполнению поставленных задач. К полному его фиаско. К тому еще, что тот, наконец, почувствует себя жертвой, мошкой, еще чем-то таким малым и незначительным, что полностью под-

твердит теорию черта Василия о том, что все благородное и вечно (как им кажется) зеленое, способно жить, шевелиться, производить потомство, однако с большой поправкой на глупость и невежество самих граждан. Они-то, может, и шевелятся, и потомство у них появляется, но мир все равно стоял и стоять будет не на каком-то там благородстве и слюняйстве, а на конфликте и противоречии, на вечной борьбе с темным, где это темное все равно всегда одерживает верх, где светлое только блеснет своим своенравным лучиком и скроется. А все остальное — его, Васькины, проделки. Или кого постарше и пострашней. Он, конечно, любитель поимпровизировать, это хлебом с вином не корми, но все указания, депеши там — все оттуда — снизу! Что черт? — так, исполнитель, мелкий актеришка, не больше. Но есть такое!!! Сам черт тебе не брат.

Все эти размышления вполне человеческого толка Василий позволил себе, собирая свою стряпню и готовя очередное мерзкое дело. Замечтался, вишь ли! Чуть ли не город солнца! Тоже мне, Кампанелла! И думает себе, наивный, что так можно умиротворить людей, избавить их от вечной дележки (неважно, чего с чем, лишь бы сражаться)! Заблуждается, полагая, что там-то и есть рай, что изобилие — и есть радость и полнота жизни в жесткой хватке за горло в неумном стремлении к самому верху. Наивные! Как же они втаптывают себя, все ближе и ближе приближаясь к самому Ваське в своем злом намерении, в своем предпочтении лишнего, чтоб побольше, и снова — неважно, чего! И их лживые лучики — тоже сплошные обманки. Они врут, изворачиваются, уверяют, что не лгали, что переполнены самыми лучшими намерениями. Но Васька-то честнее их, выходит! Он не ловчит, не предает, он живет по таким своим понятиям, которые установили на самом высшем пьедестале! И понятия эти работают, еще как работают!

Васька прошел всю школу, от самого низа до верхнего верха, он обучился всему, получил самый высший чертовский чин (ну, что поделать, и здесь, как у лю-

дей) и теперь может наслаждаться всласть своими познаниями изнанки человеческой души. Он от главного их, ну самого главного начальника, получил позволение действовать по обстоятельствам, не заботясь о последствиях. Их стратегическая задача сводилась к тому, чтобы лишить этих нерадивых граждан не только проектов и технических завоеваний, а веры. И еще чего-то такого, что не вмещается в их обычный человеческий кодекс. А, может, наоборот, вмещается, только с другим знаком. Это они хотят чести и правды, а им — на тебе, подножку, выверни все наизнанку, лиши чувств и надежд, смастери такое чудище в виде обреченности и тоски, что никакого проекта не захочется.

Вот Василий и трудился! Не просто безобразничал, а именно работал, не жалея себя. Много он чего натерпелся от этого человечества. Теперь баста, хватит, другое и другие будут править бал!

Этот Жгун так насолил ему в свое время, что черт Вася не только не позабыл это, но и решил мстить по всей строгости. Пусть поймет, что не его одной только моралью жив мир. Подумаешь, мораль! Придумали себе спасительное словцо. Оно все оправдывает, все препоны снимает, от него одна ересь и получается.

Ехал однажды Василий на сиденье машины. Так уютно сзади примостился посреди пассажиров. Сидел и слушал. Но в какой-то момент не выдержал и стал елозить. Они: «Что это тут такое? Никакого покоя!» Видишь ли, покоя им захотелось! А ведь ехали, такую чушь плели. Что для счастья человечества необходимо одно: поровну раздать каждому землицы, всех обеспечить необходимым, зарплату тоже — всем поровну, ну, и так далее. Глупость свою всякими сказочными примерами снабжали. Да, плохо они своего Маркса в школе прорабатывали, да вечно живого, который, бедный, все томится у них там, на их Красной площади. Даже Васе его жалко стало. Как они не понимают, что и в лесу есть мурашник, зайчик, а есть тигр. Что никогда и ни при каких условиях не бывать равенству и ровности. Что человечество на то и создано, чтобы выжи-

вать. А для этого нужно делить. Потому и грабят, и бьются, и оговаривают, и мерзопакостничают. Конечно, не без помощи его, Васиной. Как без нее? Искушать-то надо. Но и им, глупейшим созданиям, необходимо понимать, что есть сильные, а есть совсем никудышные. Вот и — кто кого! А тут и Вася: кого подначит, кого с пути истинного собьет, кому просто кислород перекроет, другой дорогой поведет. Это все его происки. А они называют это несовершенством человеческой природы! Ерунда! Без Васькиной природы вся жизнь остановилась бы, замерла просто-напросто. Он, можно сказать, именно для этого самого человечества и трудится, если взглянуть, как они говорят, широко и диалектично. Вглядывайтесь, граждане, что уж тут!

Ну, Жгун! В пору Васькиного младенчества этот Родий решил поспорить с друзьями: нет, мол, никакого черта, есть высший разум и все. Кто хочет в глупости верить, тот и верит, цепляется, можно сказать, за спасение такое. И предложил ребятам игру: кто добегит до конца улицы и ни разу не споткнется, да еще успеет травы сорвать, тот и есть сильный, тому ничего не грозит. Споткнулись все, уж Вася тут постарался, хотя и делал свои первые чертеньячи шаги. Но это-то, это! И бежал, и повернул, и травы отхватил пучок — и хоть бы что! И главное — ничего с ним Вася сделать не смог, хотя всячески норовил помешать, под ноги бросался, в уши насвистывал. Какое там! Как оглашенный бежал, позабыв про все, плюнув на самого Ваську!

Нет, не мог такого надругательства перенести над собой Вася. Всю жизнь ходил по пятам этого Жгуна, настоящего козла. А тому — все нипочем. И решился Вася на последний, самый важный шаг: известить его тем, что тому было дороже жизни: изничтожить его проект, над которым тот корпел двадцать лет. И так его разукрасил, так снабдил добром и светом, что тошно смотреть было. словно над самим высшим Васькиным начальством решил надругаться.

Однако сам Родий Мамонтович Жгун вел жизнь не то, чтобы тайную, а такую, что и поверить в нее нельзя

было. Жизнь, сплошь состоящую из загадок и превращений, и как только он оставался один и мог позволить себе отстраниться от бытовых проблем и прочей суеты, эта тайна обретала полноту, плоть, ширилась и становилась загадочней самых невероятных чудес и сказок.

Как только уходила из дома его жена Серафима Ивановна, он тут же шел к шифоньеру, который был именно шифоньером, а не каким-нибудь шкафом, просовывал руку за него и извлекал некую премудрость, состоящую из серого плаща и чего-то еще, что напоминало то ли корону, то ли головной убор с проволоками, усиками, походившими на антенну. Взгромождал все это на себя и ... становился стрекозой, которая не просто-таки мечется по комнате, но способна летать, совершать путешествия, а, значит, покидать дом и посещать совсем другие пространства. Такое превращение стало возможным благодаря его способностям перекраивать на инженерный лад разные вещи, и самые простые в том числе, но главное потому, что он просто владел неким волшебным свойством взлетать и становиться кем-то другим.

Страсть к переименованию и перекраиванию он перенял от своего деда, который еще в царские, весьма недурственные времена, слыл странником и поэтом и мог такое, что за советом к нему обращались весьма почтенные граждане, а, может, и сам государь. Он мастерил не просто необычные вещи, но из самых обычных составлял загадочные, которые перемещались, делались из плоских широкими и наоборот, перекраивал окружности, вселял

жизнь в совсем деревянное, оглохшее и недышащее. Многие даже называли его волшебником или колдуном, кому что было ближе в тот момент.

Вот и Родий Мамонтович. На службе был исправным работником, таким замечательным инженером, завхозом, хозяином подвала, где хранились разные жидкости, реактивы, пробирки и прочая ценность, которому запросто удавались самые нереальные проек-

ты, самые замысловатые чертежи и сооружения. Ему много раз предлагали роль начальника. Сначала маленького, потом большого, но всякий раз он отказывался, отговариваясь простой причиной: мол, тогда у него не останется времени на конкретные дела. И в конце концов его, и правда, оставили в покое. Но это не значит, что насовсем. В самых сложных случаях, когда требовалось какое-нибудь решение и выполнение проекта, когда дело не сдвигалось с места, обращались именно к нему. И он, не отказывая, помогал. И никто и никогда даже не догадывался о тайной стороне его жизни. Ведь он перевоплощался, а, стало быть, оставался неузнанным. И потому жил прекрасно: на работе это был один человек, вне ее — совсем другой. Да и человек ли — это был большой вопрос.

Ничего о нем не знала и даже не догадывалась и Серафима Ивановна, которая тоже исправно ходила на службу, подсчитывала там бесконечные цифры, их полчища, складывая потом все это в рубли, и отдавала гражданам. Была она бухгалтером, работала на комбинате, где делали масло и сыр, и дом их был полной чашей: то есть молочные продукты водились всегда.

Но даже и тогда, когда у всех не было почти что ничего, Родий Мамонтович приносил то в клюве, то еще в чем-то съестное. Отговаривался тем, что там-то и там-то перепало. И Серафима Ивановна верила, и все текло у них тихо и гладко. Был еще сын девятнадцати лет, но он уже определился и особенно чету Жгунов не беспокоил. Уехал, зажил своей жизнью, по большей части бестолковой. Не женился, детей не родил, так только, лежал, слушал сумасшедшую музыку и искал смысл жизни. Так, по крайней мере, он объяснял особенности своего существования.

На жизнь зарабатывал с такими же, как и сам, любителями непонятной музыки, в переходах и еще в каких-то местах, не известных широкому слушателю. Однако денег хватало, и у родителей он ничего не просил. Единственное, чем они его исправно снабжали, так

это сыром и маслом, которые он терпеть не мог и благополучно отдавал сотоварищам.

Словом, жизнь у каждого в этом семействе была не просто отдельная и приватная, но снабженная еще и каким-то тайным смыслом. Но при этом никто никому не мешал. Крылась такая уступчивость в очень простой вещи: у каждого был свой тайный умысел, свои загадки, которыми с другими делиться не хотелось. Так и жили.

Совершал свои тайные превращения Родий Мамонтович Жгун отнюдь не только ночами. И днем его неумная фантазия сотворяла такое, что никто и ничто не могло угнаться за ней! Конечно, ведь стрекоза сама! А она Бог весть куда может залететь, присесть, да увидеть что. Ночью — это совсем другое, там и подготовка иная, и цель. И еще знать нужно, когда его драгоценная Серафима успокоится ночным сном, и вот тогда-то все, можно и в путь. Ночью не какой-нибудь там стрекозой, а самым что ни на есть облаком, к примеру. Не ожидали? Так-то вот.

Ему не составляло труда внедриться в такое облако, произвести свои фантастические инженерные проказы и ... пролиться дождиком. Локальным, например, в одном отдельно взятом районе. Такие чудачества не были главными для Родия Мамонтовича, скорее удостоверяли нескудеющее его стремление к разным там фортелям, которое он и проверял время от времени. Было другое более для него важное и интересное. Нет, не присматриваться к гражданам и не наблюдать за их жизнью в окнах. Его интерес был другого рода. Никакого плагиата! Только собственные наработки и только подсмотренные в природной среде. Он мог часами вслушиваться в шум реки, строить из этих звуков потом свои расчеты, умножать на скорость течения, стремительность и энергию и получать невиданные данные. Его реки не только отличались по скорости и направлению, но имели неслыханные в науке показатели, которые сводились опять-таки к раскладам Родия Мамонтовича. Таким образом он придавал известным

явлениям новую окраску и новый импульс. Так, он в точности знал и досконально изучил, что собой представляют волновые процессы, происходящие в воде и рождающие материальную и духовную энергию. Но обладая такими знаниями, он, например, сочинял совершенно другие подходы. Его возможная только в науке энергия материализовывалась и превращалась в растения, которые вырастали прямо на его глазах. Такое же чудо происходило и с минералами. Он запросто мог «родить» какую-нибудь кошечку, о которой в науке еще только начинались споры. Правда, они велись в основном о козе и назывались клонированием. Он же без особого труда это самое клонирование воспроизводил в своем подсобном хозяйстве, оставаясь один на один с природой где-нибудь на берегу реки или в огромном поле, а, может быть, в лесу.

И еще он много времени отводил следующей своей привязанности, можно даже сказать, страсти. Это была игра. Игра, о которой не знал никто в мире и в которую, вопреки всем правилам, он играл в одиночку. В нее-то как раз и играют в одиночку. Это были стихи. Его, чертовски настроенного гражданина, лукавого и нарушающего общепринятый порядок вещей, сводила с ума поэзия. Он, сидя вот так у какой-нибудь почти мертвой речушки, мог придавать ей дополнительное ускорение, мог облагораживать ее ход, сам же при этом оставаясь в глубокой печали по очень простой причине: его никто не знал и виршей его не читал. Он был одновременно и творец, и слушатель, и вдохновитель.

**Путь старый труден, много там тревог,
На новом — знать нас не хотят...Досада!**

Столько разносторонних умений сошлось в нем не просто так, а благодаря одной истории, свидетелем которой он стал. Давно, лет пяти от роду, он играл с ребятами в мячик, что-то типа лопты, мяч закатился, он побежал его догонять и тут неожиданно наткнулся на необычный камень, лежащий в кустах. Камень из-

дал что-то вроде скрипа, даже, как показалось Родию, шевельнулся и таким же скрипучим голосом изрек: «Беги, малыш, беги. В случае чего, приходи, еще сгложусь. Место только запомни». Родий в силу своего малого возраста и удивился, и обомлел, но не сильно испугался. Тогда в его мозгу еще не засели прочно учения о материальности мира, и он с легкостью принял то, что увидел. Никому не сказал, даже и не показал почему-то волшебное место, но со временем, по не зависящим от него обстоятельствам, утратил его. Дело в том, что семья переехала, Родий повзрослел, о давней сказке почти забыл. Но именно почти. Потому что и во взрослые свои годы нет-нет, да вспоминал о чудном камне и странной встрече. И только спустя много лет, когда он мог размышлять и анализировать, он спросил у матери, где то детское место, на котором они играли, и так ли оно далеко. Оказалось, что найти его вполне можно было, и Родий не стал мешкать.

Случилась первая досадная оплошность в институте, не принимали его проекта, не видели ничего рационального в его сумасшедших композициях, напоминающих абстракции Сальвадора Дали, который опирался на реальность и абсурд одновременно, возводя свои гротесковые представления о мире в абсолюте. Вот и у Родия в его инженерных изысканиях были гротесковые заморочки, которые только при явном нежелании рассмотреть в них рациональное зерно, можно было отвергнуть. И их отвергали, конечно. Все, что не вписывалось в стандарт, отбрасывалось и не принималось. С тех самых пор и возненавидел Родий все правильное, рациональное и традиционное. Он всегда отличался выходами за пределы разумного и снискал славу почти шизика. Это его с годами стало устраивать все больше, тем паче, что такая слава прощала ему все его навороты и завихрения инженерного плана. Однако именно к нему обращались во взрослой его жизни за разрешением сложных и почти нерешаемых проблем. Он брался и решал. И не сразу появился камень, и не так скоро он нашел его. Просто Родий по склонности

своей, по природной своей склонности опирался на то, что не лежало на поверхности и почти всегда противоречило здравому смыслу. И преуспел. Ну, а потом уже нашел и свой детский камень. Тут и завертелось.

А было так. Мать просто сказала, где чаще всего они играли в детстве. Туда-то он и направился. И удивительнее всего было то, что камень этот не убрали, не вывезли, не построили на его месте что-то, а он так и оставался лежать, покрытый густой травой, что росла рядышком в изрядном количестве. Он сначала постоял, потом и присел даже рядом, потрогал его руками, пыль сдунул, которой, правда, не было, а потом наклонился и стал прислушиваться, стараясь уловить малейшее движение, шум, тот скрежет, который вспомнился. Но камень молчал. Не говорил ничего и Родий. Только смотрел и вслушивался. Так прошло много времени, однако, уходить не хотелось, да и слова, те, что он слышал много лет назад, вдруг стали чуть ли не зримыми и осязаемыми. Родий сел, наконец, на край камня и стал думать. А думать было о чем. Например, о том, что живет он с женой лет сто, наверное, и чувства сами собой, как он понял, испарились. И не то, что союз этот стал тяготить его, а просто все более оказывался ненужным и обременительным. И что было делать, он не знал. Всегда находил решения, даже и легко и скоро, а тут, тут не знал. Ну не убивать же ее в самом деле! Да и кто станет готовить? И продукты таскать? И вообще...

Что стояло за этим «вообще», он и сам затруднялся сказать, но все же стояло! Годы, привычки, общие сбережения, ее умение печь блинчики, отмывать ванну. Что еще? Ну, ходить с квитанциями по кассам и оплачивать их, договариваться с дворником, чтобы мыли общий коридор перед их дверью. Да, всего этого он не умел и — более того — считал такие вещи для себя унижительными. А жена справлялась с ними просто. Нет, не видел он себя стоящим в очереди за колбасой, и все тут!

И все-то было Родию под силу, а вот простую жи-

тейскую вещь разрешить не мог. Не знал даже, как к ней подступиться. Хорошо, конечно, одному, никто бы не мешал, не задавал дурацких вопросов, типа «куда это ты на ночь глядя собрался?» А он именно ночью и собирался, и даже сказал однажды, что, мол, полетать хочет, засиделся дома, надоело. Жену шутку то ли не оценила, то ли не услышала, но вдруг стала на пороге, взяла почему-то веник и решила защищать проход до конца. Однако Родий понимал, что обхитрить ее сумеет, что нужно просто потерпеть и дожждаться, когда она заснет, но именно в этот раз так хотелось поскорей покинуть дом с его омерзительными запахами, нагромождением вещей, ее понуканиями, что сил терпеть не было никаких. И он решился. Оттолкнул свою толстячку, Серафиму Ивановну и, не говоря ни слова, сбегал с четвертого этажа вниз. Серафима только успела крикнуть: «Можешь там и оставаться», а он не слышал ее, он уже бежал, готовясь к самому удивительному, что было для него — к полету!

Сразу же за поворотом своего дома он привычно раскинул руки и... взмыл в небо. Само поднятие занимало несколько секунд, и он сам мог придавать то ускорение, которое считал нужным. А вот там уже, на высоте, можно было, наконец, отдохнуть. Лечь, раскинуть руки и вдохнуть аромат неземного воздуха, пока еще приправленного гарью и автомобильными выхлопами, но уже совсем скоро ощутить полную свою независимость от всех земных проблем. Эти мгновения перехода от земной тверди к небесной невесомости были самыми захватывающими, самыми запоминающимися. Почти всегда он произносил: «Адреналин!», что означало именно такое отключение от домашних и всяких других передраг. Но адреналин, хотя и внедрялся с ускоренной силой в хилое тело Родия, ни он, ничто другое не способно было отвлечь его от мыслей о своем проекте. Ему он посвятил годы, и проект этот был связан с переустройством Вселенной. Оставалось совсем немного, и можно было представлять его на любую комиссию! Вот только Родий не решил пока, на

какую. Да и это «немного» совсем не означало, что дело когда-нибудь могло быть завершено, ибо сам процесс работы, ночные бдения в состоянии парения, а днем — работа над чертежами и расчетами — доставляли изобретателю ни с чем несравнимое наслаждение. Он верил, что его творение преобразит мир, сделает его полноценнее и гармоничнее. И что в этом мире найдется достойное место и ему, Родию Мамонтовичу Жгуну!

Надо же — Родий! Сколько же он хлебнул с этим имечком! Угораздило его отца так полюбить химию и прочую науку, чтобы никому не известный элемент превратить в имя! Неважно, что слово само малость переврали и из радия превратили в родий, но ничего, какой-то химический привкус у него все же осталась. И сделал он это не только по великой любви, но еще и из уважения к памяти деда. Тот сам назвал сынулю Мамонтом, ну и Мамонт в свою очередь постарался. А дед был всего — навсего Глебом, ни о какой химии представления не имел, зато имел амбиции и имя сыну выбирать долго и тщательно. Даже худоба, очевидная тщедушность мальчика, видимо, наследственная, не остановила отца Глеба, и значительность своего представления и о мире, и о наследнике выразилась как раз таким странным именем. Мамонт! Это тебе не фунт изюма!

В школу дед не ходил, просто приходилось слышать о больших, громадных даже существах, населявших когда-то Землю, которых звали мамонтами. Они хотя и вымерли, но слух о них в народе сохранился. Вот и решил дед Глеб запечатлеть этот символ страха и силы в своем сыне, наградив его таким именем.

И надо сказать, сын не подвел своего родителя, именем был доволен, знал, что ни у кого такого не сыщется, очень им гордился и пусть тело имел небольшое, можно даже сказать, маленькое совсем, но имя покрывало все! И как только Мамонт называл, как его зовут, отношение менялось сразу же. Это в детстве в деревне все только и делали, что смеялись. А во взрослые годы, уже в городе — совсем другое дело! Тут и так сплош-

ные мамонты, того и гляди, что загрызут. А ты сам — Мамонт, не больше — не меньше.

Когда после техникума Родий Мамонтович устроился в один научный институт, то понимал, что с научной карьерой с его образованием далеко не уедешь. Но вот по хозяйственной части или по закупочной — это, пожалуйста. Не помнил он ни предметов, которые преподавали, ни лабораторных работ, но запомнил зато другое — таинственную таблицу бородатого ученого. Даже портрет дома повесил этого Менделеева и все смотрел на его могучую голову и про себя думал, что вот он-то и есть настоящий мамонт.

В этом институте он, как сам выражался, нашел себя и был главным по хозчасти. В инженерные его замыслы ученый народ не особенно верил, уж очень они пахивали фантастической ненаучностью, потому и перепрофилировался со временем. Стал, что называется, снабженцем в большом важном институте. Ездил за реактивами, привозил разные химические штучки, так необходимые сотрудникам. Сотрудники эти потом благодарили и даже просили, кому что особенно было нужно. На этой почве он много разговаривал с самыми важными и знаменитыми учеными, которые были частенько как дети: то это у них не получается, то этого у них нет. Ну совсем становились беспомощными без своих склянок и порошков. А вот Родий мог им в этом помочь. Им еще очень нравилось его необычное имя. Они-то и просветили его, что радий — это элемент, когда там подсуетилась Мария Кюри и, стало быть, выходило, что и сам Родий, и род его были вполне образованными людьми, коль знали все про эту Кюри. Ну, положим, Родий только в институте этом и узнал о ней, а раньше просто безоговорочно верил отцу, что имя его — особенное, необычное и имеет к науке прямое отношение.

На втором этаже работал там профессор Вадим Петрович. Был он очень высокого роста, носил бороду и усы, все время теребил их, в особенности когда волновался. А такие моменты случались частенько. То у

него с опытами были какие-то нелады, то ждал приезда Родия с его присыпками, то посуды не доставало и опять же, требовался он, Родий. Так и получалось, что из обычного хозяйственника фигура Родия стала постепенно прорисовываться в нечто значительное и крупное. Все имели свои надобности, все чего-то хотели, и в этом им мог поспособствовать именно Родий.

Постепенно роль и значение своей персоны Родий настолько осознал и полюбил, к чему также причастны были и научные люди института, что сам начал верить в собственную незаменимость и важность.

Никто, конечно, и представить не мог, чем неутомимый труженик, специалист по хозяйственным вопросам, занимается вечерами и во всякое неурочное время. Никому и в голову не приходило, что это он, Родий Мамонтович, собирается изменить ход истории, преобразовать природу со всеми ее явлениями и сделать ее наиважнейшей фигурой в целом мире.

Он и сам был не прочь побаловаться разными пробырками с их содержимым: то уловит что-то от Вадима Петровича, то услышит еще чей-то разговор, из которого вытекало, что, куда и с чем соединять. Да и техникум все же был за плечами, что-то запомнилось.

Днем, как водится, всякие разные дела хозяйственные: достать, договориться, привезти, а уж вечерами — нет, не троньте: его время. И сидел он до глубокой ночи, все вечера напролет, корпел над своим детищем, в котором главным был не поиск и расчеты каких-то там небесных развилочек и земных соединений. Нет, у Родия, согласно усвоенному им еще с юности учению Маркса и Энгельса, было одно приоритетное на всей Земле явление — сам человек. Именно к нему-то и подбирался Родий со всеми своими хитроумными задумками, представлениями и собственной теорией. А смысл ее был очень прост: как соединить дух, то есть то, что остается в виде неживой материи после смерти человека, с его взлетающей и уносящейся душой. Как из всего этого извлечь нечто такое, что позволило бы возвращать жизнь, изменяя время, а в отдельных случаях

просто не замечая его, даже игнорируя. Слышал он, что внутри египетских пирамид происходит нечто подобное, что время там по неведомым человечеству причинам остановилось, и что его нет вовсе. Стоят же они себе и стоят, и ничего их не берет!

Однако на то, чтобы приблизиться к пониманию хотя бы устройства человеческого тела, знания атмосферы, всяких там причин и следствий, связанных с энтропией и процессами гибели и жизни, приходилось учиться. Усидчивости и вдумчивости Родию было не занимать, книг всяких научных — полным-полно по всему институту. Но дело оставалось за малым: нужна была система во всех этих научных премудростях. И постепенно, осознав это, Родий стал заходить к Вадиму Петровичу, то еще к кому-то из сотрудников за планом. Они — каждый на свой лад и научные пристрастия — составляли дотошному хозяйственнику схемы, проспекты, планы, беседовали на разные научные темы, которые звучали для Родия прекрасной песней. Не все слова из нее были ему понятны, но сама мелодия становилась той зазывной мечтой, которая и звала, и увлекала, и вот-вот должна была стать вполне осязаемой. Уже почти вплотную приблизился доморощенный ученый к разгадке человеческой смерти. Он понимал, что именно она — последнее обстоятельство жизни человека, не может быть, не должна стать окончательной и бесповоротной, что должен найтись какой-то выход, который бы изменил все-все в этом мире! Но как сделать так, чтобы подсмотреть такое, что еще никому и никогда не удавалось: тот самый магический момент, который становится не только разделительной чертой, но может оказаться обратимым?!

Да, знания знаниями, но требовалось не менее магическое и чудесное объяснение всему, что так манило исследователя. И вот тут-то он вспомнил о камне! Ну, как же: знаний явно не хватало, а что-то сказочное и волшебное вполне могло бы сдвинуть проблему с места и более того: найти не только и не столько логическое объяснение задумкам Родия, но именно в неверо-

ятном, необъяснимом ключе прояснить проблему, раскрыть смысл таинственных загадок. Камень, вот что требовалось разыскать!

И когда мать сказала, где был их прежний двор, где чаще всего они играли, он словно опомнился и отправился на поиски. Заветный камень! Он вспомнил, как в детстве сам читал произведение патриотического толка с таким названием. А камень-то был, и правда, заветный. В этом Родий смог убедиться, как только оказался на месте. Присел рядом и по истечении времени дотронулся до него и заговорил с ним.

Итак, был странный день, совсем светло, и Родий впервые в жизни проигнорировал работу и в тонкой серой рубашке и сандалиях, которые не снашивались уже лет семь, сидел у заросшей тропки и всматривался в предмет, который мог бы сыграть удивительную вещь в его жизни. Нетерпение покинуло его, и он настойчиво и изучающе смотрел в одно место.

Не спешил он потому, что было о чем подумать и о чем попросить. Вернее, деликатно напомнить о давнишнем словечке. Он вспоминал, что плохо в его жизни, а что плохо совсем. И выходило, что только на работе, да в те часы, когда он оставался совсем-совсем один и мог делать что угодно, мог думать, о чем угодно, — те часы и были самыми счастливыми. А так — бесконечный контроль и зависимость! Это ужасно! Ужасно то, что его вездесущая Серафима не только знала о нем все, но даже о намерениях его — тоже. Она, наверное, почище его владела всеми премудростями, о которых он только хотел попросить заветный камень, и безошибочно заявляла, где у него что лежит, куда он направляется, что происходило на работе. Это был огромный, просто вселенский ужас! И прежде всего надо было защититься от нее. Именно от нее! Чтобы перемкнулось что-то в ее мозгах и она не могла так беспрепятственно влезать во все и вся. И — глупость конечно, малость такая — но Родий решил перво-наперво просить именно о защите от своей супруги. Обретать свободу — так по полной!

Только утром она, видя, как он собирается на работу, ехидно так взяла и спросила:

— А чего это ты галстук вдруг нацепляешь? Никогда этого сроду не было, а тут — на тебе! Что это с тобой?

Родий стойко молчал, но и тут Серафима, его всевидящая жена, заявила, что все знает и даже то, о чем сам Родий не догадывается.

— Что, Людочка печатать будет твои глупости? К ней торопишься?

Господи, ну откуда ей было знать о девушке, к которой действительно собирался Родий и которая печатала его труд с расчетами, чертежами, графиками и рисунками. Людочка! — надо же такое вызнать. И как ей все это удаётся?

— Никакая не Людочка, а будет у нас совещание.

— Ага, только тебя там и не хватало.

— Представь себе.

— Я-то представила, ты-то что-то очень слабоват.

— Как это? В каком смысле?

— А в таком: воображение у тебя ни к черту. Нет никакой фантазии. Даже глупости, и те никуда не годятся! Задумал удивить человечество. И чем, скажите, пожалуйста: бреднями о вечной жизни! Где ты ее встречал, вечную-то?

— Не встречал, так встречу еще, — отбивался, как мог, Родий.

— А вот и нет! Не придет сегодня твоя зазноба на вашу шивую службу.

— Что? Почему?

— А потому, — засмеялась Серафима, — что ЧП у нее.

— Что случилось? — не унимался испытатель.

— Что..., — протянула женщина, — с бойфрендом у нее неполадки.

— С кем?

— Непонятно, что ли?

— Понятно, — понуро протянул Родий и стал рязывать галстук.

— Это правильно, снимай свою красоту, все равно никто не оценит, — ехидничала Серафима.

И тут исследователя осенило: а сама-то она случаем не сатана? Не черт? Может, в ней водится нечто такое, что сподвигает ее на вещуньины предсказания и на всякие дьявольские прогнозы? Может, это и правда, что она это... того? Говорили же перед самой свадьбой, что натерпится от нее Родий, что весь ее род — темнота и пропасть, что ничего хорошего сроду от них не было никогда. И все в таком духе. Но Серафима нажимала, Родию деваться было некуда, страх перед прокуратурой, которой Сима пугала, был посильнее самого черта, и он сдался. А зря!

Однако время шло, а он все не решался начать разговор с камнем. Пытался так сконцентрировать свои мысли, чтобы не растягивать словами, а ясно выразить, что ему нужно больше всего. «Вот ведь как выходит, думал он, — смотрим ли на икону, говорим ли с Господом, а все — просим. Никогда еще не сказали, мол, Господи, Всевышний, Боже наш, что бы такое сотворить, чтобы тебе и дальше там, высоко, было хорошо и чтобы мы, граждане, не докучали тебе? Все просим, просим и просим, и все нам мало и мало. Да что же за человечество такое, что ему все мало?! — воскликнул Родий и прикрыл рот рукой, боясь потревожить камень. — А что, если и вовсе ничего не просить, а так только, посидеть, может, и не раз, а вообще заходить сюда, размышлять рядышком, но не ныть о своей жизни?»

Но как бы ни уговаривал себя Родий, все равно выходило одно: просьбы, да, много, не одна какая-то, так и вертелись на языке. И ничего с этим поделать было нельзя! Сама ситуация подталкивала к этой окаянной просьбе, и, наверное, весь предшествующий опыт самого Родия говорил о том, что такие символы, как этот молчащий кусок булыжника, призваны к одному: выслушивать вопли не только Родия и исполнять не только его просьбы.

«А вот, кстати, интересно, приходил ли сюда еще кто-то? Или я один такой?» — снова подумал мужчина и

не видел ответа. — Не исповедальня же это, в самом деле. Может, только для меня и лежит он здесь, поджидает, а я все медлю и не иду? Вообще, можно сказать, пропал на сто лет. Пожалуй, стоит начать», — еще раз взбодрил себя Родий и, казалось, был готов к разговору.

И снова его внимание было отвлечено. Но уже не размышлениями, а появившимся невесть откуда чело- веком, который показался изобретателю знакомым. Нет, он не мог с ходу вспомнить, кто этот мужчина и где он его видел, но то, что человек этот явно где-то всплывал в жизни Родия, было несомненно. «Боже мой, да кто же это?» — мучительно напрягся Родий, не находя ответа. Но тут помог сам возникший из глубин памяти незнакомец. Он лихо сдвинул кепочку набекрень и голосом, который еще больше убедил отгадывателя тайн в том, что мужчина определенно имеет к нему отношение, спросил, который час. Лихо так спросил, дружелюбно. Родий посмотрел на часы, ответил, однако, не сразу, да и вообще продолжать разговор не спешил. «А вам сколько бы хотелось?» — ответил он вопросом. Пришедший, который в одно мгновение оказался знакомым, парировал тут же: «Мне бы вообще ничего не хотелось. Ни времени, ни этого места, ничего», — подытожил он. «Это отчего же?» — заинтересовался исследователь. С ответом не спешили, молчание затягивалось, и Родий почему-то, сам не зная, зачем он это делает, предложил присесть рядом. И даже слегка подвинулся. Кепка повертела головой, хмыкнула, однако, присела и вдруг в упор взглянула на Родия.

— Что, не узнаешь?

— Я...

— Да не мямли, я это, я, Кузнецов. Что, не помнишь? Вспоминай давай.

— Кузнецов? — изумленно протянул Родий и в воспаленном его сознании тут же возникла картинка, которая множество раз в течение жизни представляла перед ним.

— Я! Я — Кузнецов. Устраивает это тебя?

— Меня? Почему это...

— Сказал — не мямли, значит, не мямли. Всегда был с приветом. Что, не вспомнил что ли, как через душ у Ритки провалились и как ты в штаны наделал?

Да, именно эта позорная картинка множество раз напоминала Родию, какой он дурак и как он мог так обделаться. Полный дурак. От страха, что ли? Наверное. Родий всегда, как только прошлое опять напоминало о себе, говорил, что это детский страх, неуверенность и что все прошло, ничего подобного никогда уже не случится. Говорить-то говорил, но сам не очень в это верил и потому всячески понуждал себя быть храбрым хотя бы на людях, бахвалиться и выделяться хотя бы своими хозяйственными достижениями.

Он огляделся, убедился, что их никто не видит, и вдруг выпалил:

— А я, между прочим, большой начальник теперь. — И он покрутил дорогими часами, которые достались ему при весьма загадочных обстоятельствах.

— Держите меня, — тут же высмеял его Кузнецов и добавил: — Часики-то, небось, ворованные.

— Что за глупости! — возмутился товарищ Жгун. — Что вы себе такое...

— Да-да, позволяю, уважаемый. Вернее, неуважаемый. — И Кузнецов снова лихо повернул кепку.

«Вот свалился на мою голову. Черт-те что! И что он тут делает?» — успел подумать Родий, на что мгновенно получил ответ:

— Не вспомнил, ясно. Но так слушай. Я — почти исададе ада, я — черт лысый Васька, — и в доказательство мужчина снял свою кепочку, отчего лысина его прямо-таки засветилась. — Васька, услышал? И могу, к примеру, исполнить любое твоё желание. Или, скорее, наоборот. Ты загадываешь, но так, чтобы мне не досадно было, чтобы не сливки тут, к примеру, появились, а одна черная водица. Так что, закажешь сливки — попотчую горелым. Усек?

Изобретатель начинал что-то смутно понимать, но

признаваться в этом не хотел, как и не хотел того, чтобы сказанное Васькой материализовалось. И он попытался сделать вид, что ничего не понял.

— Хитришь? Ладно, пусть тебе. Все равно уже куда не деться. Ты — мой! Мой улов, — уточнил Васька. Как он сам себя отрекомендовал. — Все у нас впереди.

— Что же? — попытался дотянуть своё непонимание Родий до полной завершенности. — Вы уверены, что по адресу обратились?

— Ха! — воскликнул Васька и почти сразу же почему-то сник.

— Что с вами? — всполошился Родий.

— Так, занемог маленько, выводил ты меня из себя, ох, выводил. Небось, старое помнишь? Я, не бойсь, никому про это не говорил. Ну, почти никому. Только Риточке. — И он заржал самым что ни на есть чертовским смехом.

Родий удрученно молчал, соображал, как быть дальше. И припомнились ему не только детские проказы, в которых действительно участвовал этот Васька Кузнецов, но память обожгла еще одна картинка, которая появилась на какое-то время и тут же исчезла. Давно, в пору своего младенчества, Родий и видел, и общался с дедом, который-то и назвал сначала своего сына столь нелепым образом, а потом и настаивал на необычном — для внука. Ни о какой Марии Кюри он, естественно, не слышал, но когда Мамонт познакомил его с достижениями ядерной физики в самом приблизительном виде и назвал имя женщины, дед загорелся. Он не усек сразу, что речь идет о даме, решил, что Кюри — что-то такое красивое и привлекательное. Но когда понял, что она имеет отношение к новому элементу, прозвали который родиём, то сомнений больше не было — имя для внука нашлось сразу же.

Так вот именно дед всегда печалился, натужно так замолкал, когда речь заходила о его соседях и вообще о прошлом. И именно с тех самых пор Родий запомнил, что был в их семье, у деда, по крайней мере, та-

кой обидчик, звали которого Васькой Кузнецовым. И что был он вовсе даже не человеком, а лихим чертом. Детское воображение действительно рисовало некое существо с хвостом, хотя потом, уже во взрослой жизни, Родий и подзабыл эти рассказы деда, и никогда не встречался с его соседями. Они давно с отцом переехали, жили в большом дворе, но вот странное дело: и там, как теперь выясняется, и о чем совсем позабыл изобретатель, был, жил этот самый Васька. Только фамилиями тогда дети интересовались мало, да и сам Василий странным образом то появлялся в их дворе, то таинственным образом надолго исчезал. Родий даже не мог припомнить, учился ли он вообще и в каком классе. Не было такого ученика в их школе, это точно!

Однако эти воспоминания о прошлом снова прервал дружелюбный голос неизвестно как оказавшегося здесь мужчины.

— Что приуныл? Плохо, брат?

— Какой я тебе брат? — вдруг расхрабрился Родий.

— Нет у меня сестер и братьев.

— Да это дело известное, — протянула кепка. — Это ж кто не знает?

— А вам это откуда известно? — спросил любитель тайн, переходя на «вы».

— Ох, неразумные вы существа... Откуда, откуда? От верблюда, слышал такое?

— Глупости все это, — едва успел сказать Родий, как небо вдруг потемнело, стало сразу холодно, сандалии его, которые давно пора было сменить на новые, вдруг разбухли, увеличились прямо на глазах, и неведомая сила подтолкнула исследователя непознанного и понесла куда-то вверх.

— Подождите, остановите, — кричал изобретатель, все быстрее удаляясь от того места, к которому приходил, чтобы получить напутствие и чуть ли не волшебное слово. — Сделайте же что-нибудь, — вопил он страшным голосом, но его уже никто не мог слышать, так как земля отдалялась так устрашающе быстро, что ничего с этим поделать было невозможно.

Он взмывал вверх, но удаляясь, еще слышал сатанинский хохот своего нового знакомого. Или старого, кто знает!

Поднимаясь все выше и выше, он постепенно начал освобождаться от страха, душащего его с неимоверной силой. Неизбежность всего происходящего стала осознаваться им все острее, и он начал ощущать в себе странные, никогда не испытанные чувства — чувства свободы и какой-то удивительной благодарности. Он, так по-дурацки проживающий жизнь, вдруг почувствовал свою неотделимую связь и с Землей, и с тем огромным пространством, которое было перед ним, под ним — повсюду! Он летел и, казалось, не было конца этому подъему, этому оглушительному чувству, которое преобразовалось из страха в нечто другое, став вполне приятным. Он смог даже озиаться, оглядываться, рассматривая мир, открывшийся перед ним во всей своей неповторимости.

«Какой же я дурак! — думал Родий, — просто самый настоящий дурень, что так жил. Ведь черт-те как! Красоты жизни не знал, не ведал. А вот она, оказывается, вот она, лежит, аж дрожит вся, жизнь эта. От своей красоты, наверное, и дрожит. Век не знал, что над землей, что то, что мы называем небом, находится в таком дрожащем состоянии. Уже и не страшно почти».

Конечно, отчасти путешественник поневоле уговаривал себя, что не так страшно совершать полет где-то в заоблачных далях, что жизнь можно наладить, отвязаться от Серафимы, скажем, что тоже неплохо, и еще... Вот что означало это «еще», Родий сказать затруднялся, оставалось ясным одно: надо с жизнью что-то делать, и это открылось именно теперь, в безоблачных далях прекрасного летнего неба. Страх, который возник вначале, был другого рода. Когда он сам, по своей воле проделывал подобное, — результат и ощущения были совсем иными, нежели те, когда тебя кто-то, да не по собственной воле отправляет на небеса.

**На переправе — Мефистофель.
Стоит, оскалась, выжидая.
Иду навстречу, с горы спускаюсь.
И вижу издали овальный профиль.
Ну, что стоишь, надменный соблазнитель,
Моих утех беспечный совратитель?
Что так тревожит взор твой и осанку?
Неужто в поступи и взгляде ждет приманка?
Куда ведешь, бесчинствуя в разврате?
Не позовешь, подгадываешь к дате?
Совсем сразил меня твой посох деревянный.
Куда спешит герой? Он словно оловянный.
Ты проиграл, злодей, об решку свою битую,
Владей иль не владей, но карта твоя бита.
И не смотри в меня призывным алчным взглядом,
Я захватил огня и сам наполнен ядом,
Знакомы наперед твоих чертей проделки,
Вот берег, вот порог — мне не до переделки.**

Он припомнил — тоже неожиданно для себя — то озеро, на которое они ездили в детстве, когда, нанырвавшись, можно было, устав, вот так же растянуться и лечь на спинку и смотреть в небо, рассматривая плывущие облака и составляя из них картинки. И теперь он, так же устав от пережитого потрясения, перевернулся, лег на спину и не мог насмотреться на движущиеся совсем рядышком облака, до которых можно было дотронуться.

Мелькнула мысль, что на землю он от страха толком и не посмотрел. Но этого делать почему-то не хотелось, и он так и лежал, глядя на невиданные доселе картинки. Он и не знал, хотя и служил в самом главном химическом институте страны, что облака такие странные на ощупь: почти мокрые. И еще он сожалел, что не в ночное время попал на небеса: мог бы увидеть звезды, к примеру. И вдруг дерзкая мысль посетила его: не последний это полет, все еще повторится.

И в ту же секунду та же сила, что неожиданно подхватила его и понесла вверх, как-то так изогнулась,

подступилась и сжалась над ним: он столь же стремительно полетел вниз.

Когда до земли оставалось совсем немного, снова мерзкий комок страха вцепился ему в грудь. Ему казалось, что он непременно разобьется и что-то случится не менее страшное, чем неожиданный полет. Но приземление оказалось очень спокойным и легким, словно он и не улетал никуда, а так и сидел перед своим камнем, к которому пришел, чтобы попросить о чем-то. Да, о чем же? О Серафиме — да, точно, но о чем еще? Пока эта мысль достигала его сознания, он благополучно приземлился, стал на ноги, снова глянул на свои нелепые сандалии и прежде всего подумал, что следовало бы купить новые, отряхнулся и машинально сделал несколько шагов. Где он, сам еще не понял, ясно было одно: он в своем городе, только вот с улицей не вполне разобрался.

Оказывается, он был всего в нескольких метрах, буквально за углом от своего дома. Но как же не хотелось туда идти! Получается, что ничего он не выполнил: с камнем не поговорил, ничего не попросил, а встретил на свою голову полубезумца какого-то, который к тому же утверждал, что знаком с ним, да еще помнит разные детские промашки его, Родия, промашки. Эх, неужели Ритуля все знала?! Неужели тот злополучный случай, когда они провалились сквозь хлипкую крышу ее летнего душа и что затем произошло с Родием, было ей известно? Выходит, что так. А жаль. Как же нравилась ему эта девочка с загадочным взглядом голубых глаз! Тоненькая, с длинной белой косой, она походила на степной цветок, так и стоящий на ветру, подверженный страхам и гонениям. Говорили, что она неудачно вышла замуж, что родила ребенка, сына, кажется, что потом этот муж умер и появился какой-то прославленный пианист, который снимал комнату у них же за стенкой. Пианист был невиданной веры, о которой в ту пору никто ничего из детей не слышал, не знал, но все равно, говорили, что он был красив и что Риточка его любила. А дальше? Дальше все, как у всех: разве кра-

сивая любовь длится вечно? Вот так-то! И у нее она закончилась. И уехал ее музыкант в какую-то страну, о которой тоже никто не знал, так она была далеко. Бедная Ритуля! — заключил исследователь, шагая медленно и нехотя в сторону дома. «А как могло бы все быть!» — подумал он, и сердце впервые сжалось так больно, так щемяще, что он даже пожалел себя: «Так и до ручки дойти недолго, с такими-то выкрутасами. Хватит, надо плюнуть на все, на всю эту чепуху и просто работать», — подбадривал себя путешественник, но где-то в глубине его ноющего сердца все же трепетала мысль: «Нет, не все еще пути-дороги исхожены, не все тайное открылось, есть у нас этот самый порох. Только где, позабыл». Так, подбираясь к своим воротам, уговаривал себя Родий и хотел придумать еще что-то такое, что могло бы его задержать хоть ненадолго, но тут перед его глазами предстала картинка, при виде которой он поспешил спрятаться, вжаться в самые ворота, которые, к счастью, всегда были наполовину закрыты. Именно это позволило скраться за одну из створок.

Прямо на него, не подозревая, что все это он видит, двигалась его Серафима под руку с молодым прохвостом. А то, что это был именно прохвост, сомнений не оставалось: так одет был этот мерзкий франт, так держал (в летнюю-то пору!) перчатки, так нагло наклонялся к хихикающей женщине, что оставалось лишь одно: подойти и влупить ему по полной.

Однако ноги сами собой сделались ватными, сердце заныло с новой силой, и Родий, казалось, намертво влип в железную оплетку ворот. «Это надо же, Сима! И одета как! Сроду такого платья у нее не было, откуда оно? А говорит-то, говорит и смеется еще! Вот ведьма, ну, чистая ведьмага!» — заключил обманутый муж, и ему показалось, что рядом кто-то мерзко хмыкнул, ну, почти что так же, как совсем недавно у заветного камня. Он повертел головой, все еще стоя в нелепой позе припечатанного козла, но никого не обнаружил. «Странно, все это пахнет козлом Васькой, или как его там?», — подумал печально мужчина, но с места,

однако, не двинулся и все продолжал смотреть вслед удаляющейся парочке. «Змея, какая же она змея. Если окажусь у камня, первым делом попрошу о разводе», — храбро предположил Родий, забыв на минуточку о тех благах, которые аккуратно и вовремя поставлялись с Симиной работы. Он потрогал свою голову, убедился, что она цела, еще раз досадливо поморщился, вспомнив все приключения сегодняшнего дня, но потом, без всякой видимой причины настроение его стало улучшаться, и он даже с какой-то надеждой вспомнил и свой полет, и ощущения, и все то, кстати, что из всего этого могло последовать. А последовать-то могло, это точно!

И испытатель двинулся к подъезду. Причем, уже с полным облегчением, так как знал, что дома нет никого и можно будет хоть как-то отойти от сегодняшних событий. Родий и раньше-то любил подытоживать дни, отмечать свои, пусть и самые незначительные, но победы, фиксировать неприятности или просто разговоры с нехорошими на его взгляд людьми, то есть подбивать какой-то баланс. И когда он так подолгу молчал, сосредоточенно вглядываясь в прошедший день, то замечал иногда, как его Сима с нескрываемым ехидством наблюдает за ним и за его вычислениями. Мало что проходило мимо ее взора: даже молчание своего супруга она могла так разложить по полочкам и театрально так интерпретировать, что он, все так же молча, только удивлялся: какой талант пропадает в ее производственной конторе!

Не было между ними...да, собственно, и ничего не было. А когда-то было ли? Родий напрягся, пытаясь вспомнить давнее время, счет которому давно потерял, но ничего лучезарного и светлого не промелькнуло перед его взором. Тусклость, мука мученическая, ехидство и полная нелюбовь друг к другу. Вселенская, абсолютная такая нелюбовь.

И что его дернуло тогда? С горя что ли? Предатель, любил себе Риточку и любил бы, пусть и безответно, и даже без всяких там нежностей и объятий. Он и по

молодости до всякого интима не был особо охоч, а уж теперь и вовсе! Понятное дело, почему его драгоценная супружница так нежно вела своего хахаля. Змея, точно змея!

Но вот что она исполняла отменно, так это свои хозяйственные обязанности. Всегда были суп и котлеты. Последние она лепила каждую неделю. Сваляет кругляш и — на его в сковородку! Только масло и брызжет! Это уж по ее части, так загадит всю кухню, так замаслит, что он стоит потом и битый час оттирает. Ладно хоть, кормила, а то вовсе пропасть можно было. Змея!

Неужели никакого выхода нет и не будет никогда? И где теперь Риточка, жива ли, кто с ней? Вот бы ее найти! Куда там! Нет, выходило, что по гроб жизни нужно было тянуть эту ляжку со своей змеей Серафимой. А здорова она была — ну, ничего с ней никогда не приключалось. Хоть поболела бы, хоть поныла бы что ли! Нет, нет и нет! Не болела, не хандрила, исправно ходила на продовольственную службу, таскала продукты, жарила котлеты и замасливала кухню.

И чтобы эта его Серафима, да в рабочее время отправилась на свидание, да еще под носом у всей дворовой общности, да с молодым хлыщом! — ужас, один вселенский ужас и только. Но почему-то именно этому обстоятельству Родий обрадовался больше всего. Это был козырь. Пока неизвестно, зачем и для чего, но очевидно, что козырь. И когда-то он ее припечатает им.

Отложив себе это на заметочку, Родий заглянул в сковородку, хотя точно знал, что там, потом помыл руки и снова открыл крышку. Котлет, однако, не появилось, сковородка была пуста. Он себе думал, что ему, может показалось, когда руки мыл, и что котлеты загадочным образом появятся. Но их не было, как не крутил Родий головой, как не открывал холодильник, не заглядывал во все чашки-плошки в поисках съестного. Нет, есть было решительно нечего.

Нашлась в одной мисочке заваливавшаяся почти серого цвета куриная ножка, но понюхав ее, есть ее рас-

хотелось, аппетит у Родия пропал. Тогда он, не умевший поджарить даже яичницу, обнаружил в самом дальнем углу холодильника какой-то сверточек. Вытащил его, раскрыл и...обомлел: в нем лежала целехонькая банка красной икры! Ну нет, не голодным же оставаться, в самом деле, подбадривал себя оголодавший испытатель, открывая старенькой открывашкой блестящую крышку. И тут он решил: а не осмотреть ли все кухонное пространство? А, может, что-то еще найдется запрятанное?

Он так и сделал. И недаром: из глубин ящичков и полок он извлек бутылочку коньяка, банку паштета, кусок копченой колбасы и стал накрывать на стол. Вернее, разложил все эти яства, намазал жирный кусок, подложив сначала колбасу, а уж затем сверху икру, и все это отправил в рот. «Прелестно, просто прелестно», — подумал он, запивая кушанье коньяком, который налил в свой бокал для кофе. Нет, не полный, конечно, а так, только плеснул слегка. Выпивка его вообще мало интересовала в отличие от еды. Да, жаль, что сегодня не было в меню котлет, как и ничего другого тоже, но зато какой улов!

Он даже позабыл подумать, что скажет супруге, когда откроются его проказы. «А, до этого далеко», — подумал он, прикидывая, какой праздник близится первым. Выходило, что до ближайшего целых два месяца, а за это время все может перемениться, успокаивал себя испытатель. Конечно, у нас придумать могут все, что угодно: каких-нибудь геологов присобачат, доноров или просто покупающих керосин, как в его далеком детском городе. Но обычно мысли о детстве он отгонял, старался их не формулировать и отваживаться от себя подальше. Там просто было святое и чистое, а здесь его нынешняя жизнь. И свет в ней только намечался.

Отобедав и даже позволив себе вспомнить и Риточку, и весь двор, он на мгновение запечалился: надо же, эта история с его...ну, в общем, с обдelyванием. Да ладно, сто лет уж прошло, чего там?! Но сладкие мыс-

ли от непривычной истомы, разлившейся по всему его тщедушному телу, так и выскакивали одна за одной. Так и норовили достучаться до самого главного. А что же было главным? — теребил себя новоиспеченный путешественник. И выходило, что главным было не что-нибудь, а небо и сегодняшние впечатления. Тогда Родий подумал, что надо серьезно заняться своими разработками человека: что он такое, из чего состоит его душа, когда, на каком этапе соединяется она с духом, как слышал он о древних майя? И с Вадимом Петровичем поднажать, пусть раскалывается на свою идею: что там с народом у нас будет, как он жить собирается после конца своего, то есть, не жить, конечно, а существовать, переходить в мир иной и т.д. Но какой, какой этот иной мир, есть ли он, где, кто его видел или докопался до его сути? Все, планы немедленно разложить, исполнение по ним ускорить и думать, думать...

«Может, верить начать? Может, хоть это поможет? — испуганно подумал Родий, не особенно понимая, как это начать делать. — А что, с верой, может, все и случится, может, такое откроется, что никакой науке подсказать не по силам. Случилось же среди бела дня такое! Тут не то что запьешь, волком завоешь!» И на этих словах, сказанных уже вслух, он выпил еще одну неполную кружечку. Появилось ощущение, очень напоминающее сегодняшнее в небе, когда он, уже раплавшись, лег, успокоился и мог осмотреться вокруг. Первая волна алкогольного вихря прошла, утомилась, и возникло совсем иное ощущение: тихого умиротворения, когда мир становится почти подвластным и можно делать все, что захочется, и мечтать, о чем захочется. Так, иногда только пошатывало этот мир, но в общем и целом был он приятен, подвижен и приглашал к действию.

«Жить бы вот так одному, чтоб никакая собака-змея не кусала и не душила! Плавал бы себе, летал. Разобрался с человечеством, и больше ничего не надо. Это и есть счастье. Не когда тебя понимают — все это глупости заблудившегося человечества, а когда ты —

над ним самим, можно сказать, когда оно, человечество это, тебе напрямую подчиняется. Хорошо!» — шамкнул Родий и снова пригубил полбокальчика. Бутылка, между тем, была уже наполовину пуста. А мечты, то становившиеся в стройный ряд, то разлетающиеся в разные стороны, все не отпускали. Ах, как же хорошо было одному!

Однако не все хорошее хорошо до бесконечности. Все имеет предел. Наступил он и для Родия, когда в двери раздался привычный скрежет (его жена никогда не звонила в дверь) и на пороге возникла Серафима. Родий на всякий случай потрогал голову, почесал один глаз и уставился на супругу. И та — надо отдать ей должное — не сразу ринулась с кулаками, а в совершеннейшем изумлении стояла и разглядывала красочную картину. Ну, в самом деле, где еще она могла увидеть такое! Ее муж в окружении припрятанной снеди, состоящей сплошь из деликатесов, ополовинил ее кровную заначку и блаженно смотрел куда-то поверх нее. Нет, выдержать такое Серафима не смогла и молча, сжав губы, ринулась на обидчика. Сначала она вцепилась ему в остатки его волос, так тянула их и рвала, что бедный испытатель только охал, махал руками, но все было тщетно: Серафима была сильнее. Затем остатки коньяка она, мельком гнянув на бутылку, в запале радушия, видимо, и щедрости, просто вылила ему на голову, чем окончательно вывела его из себя. Он сорвался с места, вцепился супружнице в ее уложенную халу, прическу, которую она не удосужилась поменять в течение почти двадцати с лишним лет, и звонко расхохотался. Это был его конец! Серафима ловко вспрыгнула ему на колени, хоть и весила раза в два больше, ткнула его неразумную голову в остатки икры, приговаривая «ешь, ешь, сволочь», а потом и вовсе, войдя в совершеннейший раж, хватанула батон колбасы и нанесла удар по мокрой голове домашнего хулигана, покусившегося на ее добро. А то, что оно принадлежало именно ей, не было сомнений. По крайней мере, для самой Серафимы.

«Убью, гад», — приговаривала сатанистка, все более и разнообразнее используя свои продукты: то нанося ими удары, то обмазывая «исчадие ада» всем, что попадало под руку. Зрелище было превосходное! Победителей в этой битве врагов попросту не могло быть. Оба кричали и рычали, стараясь всю свою затаенную до сей минуты ненависть с таким смаком, с такой злостью выплеснуть друг на друга, что сомнений не оставалось: кто-то вот-вот должен был погибнуть.

Однако этого не произошло по одной простой причине. Неожиданно вырвавшийся мужчина завопил страшным голосом: «Все, больше не буду, прости, пожалуйста. Давай выпьем вместе!» Это было так вовремя и одновременно так неожиданно, что женщина затихла, выкапала себе остатки коньяка в рюмку, чокнулась с кружкой мужа и выпила.

**Пылает сердце, печень и башка!
Вот сверхчертковский элемент! Досада!
Язвит гораздо злей, чем пламень ада!**

Более того, потом она влезла на табуретку, распахнула дверцы антресолей, извлекла откуда-то из глубин еще бутылку и велела: «Наливай!» Муж, уже мало что понимая после напряженного дня, наполненного неожиданностями, послушно разлил такой же коньяк по емкостям, причем ему снова досталась та же кружка. Он, не сопротивляясь и не переча, хлопнул новую порцию и упал. Серафима брезгливо посмотрела на слабака, которым и считала собственного супруга, плеснула в другой стаканчик, побольше прежней рюмки, и залпом выпила. Затем намазала икрой бутерброд, соскребнув остатки красных шариков с поверхности, отрезала колбасы и все это съела. Увидев почти бездыханное тело своего мужа, она слегка поддела его каблуком, убедилась, что тело дышит, и вдруг запела. Сидя в своем цветастом платье в одной туфле, потому что вторую в порыве борьбы с домашним хулиганом потеряла, она, откусывая прямо от целого батона кол-

басы и запивая все новой и новой порцией коньяка, так вошла в творческий раж, что муж, едва сохранявший признаки прежней жизни, дыхания и воли, вдруг зашевелился и постарался сесть. Это у него не получилось, и он снова лег на пороге кухни.

А Серафима прямо-таки светилась, и пела что есть мочи. Последней было много, потому звук получался сильный и правильный. Она пела любимую свою «... А волны и стонут, и плачут, и бьются о борт корабля...». Казалось, эта песня с ее морской тематикой имела прямое отношение к женщине, так точно и проникновенно она рассказывала о волнах, творивших черт-те что. И в расколовшемся сознании товарища Жгуна всплыло вдруг воспоминание о том, что семейство его жены когда-то состояло из моряков. Не считая, конечно, чертей и всякой нечисти, которой его пугали всю предсвадебную пору. «...Растаял в далеком тумане Рыбачий — родимая наша земля». И тут Сима так высоко и чудно схватила этот самый «Рыбачий», что показалось, она только что сама оттуда и дорог он ей невероятно.

Родий почти протрезвел, так его достали нечеловеческие, сказочные звуки голоса, который, как ни странно, принадлежал его жене. Она ведь только орала или тупо, непреклонно молчала, могла неделю проходить молча. Но вот что делала все же исправно, так это варила суп и жарила свои котлеты. А стенку на кухне оттирал он.

«Как же так можно? — вопрошал себя Родий. — Такая злыдня, а так петь умеет». Наделил же Господь голосом. То орет, то вот — иногда поет. Редко, правда, да и то по пьяни». Это — выпить — и любит, и умеет его Серафима. Родий даже поймал себя на мысли, что чуть ли не загордился своей супружницей, но вспомнив ее удары и потрогав побитую голову, усомнился в искренности своего чувства.

Через некоторое время Сима замолчала, и Родий ощутил рядом какое-то тепло. Он прищурил один глаз и увидел, что Серафима сползла туда же, на пол, и при-

мостила рядом с ним. «Все, дошла, выходит, до ручки», — подытожил хозяин дома и попытался подняться. Но силы покинули его, и он покорился колючим осколкам алкогольного влияния и закрыл глаза.

Когда на другое утро он поднял голову, припомнил все перипетии вчерашнего, обнаружил рядом лежащую Серафиму, ему сделалось страшно: неужели все это было? И Васька, и камень, и полет, и потом? Потом — так он стыдливо опустил то, что можно было бы назвать дебошем и пьяным угаром.

Он вскочил и, умывшись, помчался на свою химическую службу.

А там, в своих великолепных коридорах, где он чувствовал себя хозяином, в единственном месте на свете, где его уважали и обращались к нему с разными просьбами, он преобразался. И сегодня это преобразование ощутил особенно сильно. Так, почти у входа он увидел Людочку, успел восхититься ее фигурой, сиянием глаз, хорошим настроением и подумал, что везет же людям: и тем, кто ее знает и ходит в близких друзьях, и самой Людочке за такое ее умение не поддаваться тяготам жизни. Он спросил ее, как там его чертежи, и она ответила, что к обеду все будет готово. «Здорово!» — успел крикнуть про себя Жгун и пошел в свой подвал проверять, как там его банки-склянки, колбы, реактивы и все остальное хозяйство.

Он сознательно отгонял от себя мысли о вчерашнем, в особенности о небесных делах, о путешествии. И где-то на переходе к своему убежищу успел подумать, что к камню-то надо зайти снова: может быть, на этот раз никто не встретится и не помешает. И еще! Сегодня, непременно сегодня надо разговорить Вадима Петровича и окончательно все выведать относительно духа, души и древних египтян.

Когда он, наконец, добрался до своего укрытия и открыл замок, то ошелбенел от ужаса: прямо на столе, застеленном газетой, которую он исправно менял каждую неделю, сидела бурая крыса и преспокойно смотрела на вошедшего. «Ах, ты сволочь такая, пошла

отсюда немедленно!» — прокричал Жгун, думая, что бурое существо испугается. Но крыса, словно заговоренная, сидела, не шелохнувшись. Тогда владелец кабинета схватил увесистый металлический ключ и запустил в нахалку. Никакой реакции! «Ну, сволочь», — проговорил Родий Мамонтович, не зная, что предпринять. А крыса между тем спокойно сидела и, как видно, даже не думала уходить. Тогда Родий сменил тактику. Он сел напротив и прямо посмотрел на непрошенную гостью. Та взгляда не отвела.

«И что тебе надобно? Что вы все взялись меня мучить? Нет никакой жизни! Корпишь, корпишь, работаешь, а толку — ноль! Сволочи!» — подытожил он свое размышление и пошел ставить чайник.

Чашку, которую так и не успел помыть с позавчерашнего дня, он ополоснул и протер белой бумагой, похожей на театральный леггин. Полотенца у химика не было, и он подумал, что надо хотя бы для виду повесить. После своих нехитрых приготовлений он глянул на стол и удивился снова: крысы не было. «Испугалась, дрянь такая!» — смекнул Жгун и стал наливать чай. Предстояло на почти трезвую голову осмыслить, что произошло вчера.

Однако долго это его занятие не продолжилось, так как дверь тихонько приоткрыли, кто-то спросил: «Можно ли?», и хозяин кабинета увидел на пороге своей лачужки ... Вадима Петровича. Был он небрит, смотрел как-то странно, часто мигая и видно было, что он сильно взволнован.

— Я, голубчик, вас еще вчера дождался. Так нужны вы мне.

— Слушаю вас, уважаемый Вадим Петрович. Что стряслось?

— Да видите ли, тут такое дело... Мне нужно, просто очень нужно одно вещество. Не поможете?

— Да что за химия такая? Смогу — достану, ешьте себе на здоровье. — Это была такая шутка Жгуна, о которой все знали. Что он химическое, которое доставал, предлагал так, словно снабжал сливочным маслом.

— Мне нужны, одним словом, старые грибы, их еще галлюциногенами называют. И неправильно делают. В них — самая что ни на есть жизнь. Только приготовить их надо с умом.

— Правильно, Вадим Петрович, а ума-то не у всех хватает. Правильно я вас понял?

— Правильно, голубчик. Я ставлю эксперимент, в который они должны входить...

— По продлению жизни?

— Нет, по обеспечению жизнью после того, как она у нас закончится, завершится.

— Здорово! — проговорил восхищенный Жгун. — Достану! Сам пойду собирать мухоморы. Вам когда надо?

— Мне очень срочно. Но так просто вам их никто не выдаст, ни по каким таким бумагам. Тут ум приложить надо.

— Хха, было бы, к чему прикладывать! — сказал польщенный хозяин химического хранилища.

— Вот это точно! Они называются очень мудроно и почти по формуле совпадают с ... Словом, вам всегo-навсего предстоит достать самый настоящий наркотик.

— Ого! — прикинул хозяйственник. — Да меня ж прут!

— Не посмеют, мы за вас горой. Уверю вас.

— А замдиректора в курсе?

— Что вы? Эксперимент угробят! Никто не знает. Кроме вас, конечно.

— Грибы, значит, — сказал польщенный Родий. — И охота вам с ними возиться?

— Что поделаешь, голубчик, наука!..

— Понятно. Вы идите, Вадим Петрович, а я по своим каналам кое — что посоображаю.

Он закрыл дверь, хлебнул чай и стал звонить старому приятелю, доке по части химического дефицита.

— Прохор, это я на проводе. Дело есть, можно сказать, делище! Сечешь? Да не мне, когда это мне что-нибудь нужно было? Другу тут одному, ученому нашему.

— Небось, какая-нибудь платина или яд?

— Не угадал. Яд-то он, может, и яд, но благородный, особенный. Для продления жизни, понимаешь. Понимаешь? — Родий Мамонтович, когда дело касалось его прямых обязанностей, становился на редкость деловитым и дружелюбным, мог уболтать кого угодно. А Вадим Петрович ему — вот как был нужен, ему он хоть черта лысого готов был достать. — Ну, что, Прохор, поможешь?

На том конце длинного грязного шнура долго молчали, Родий даже забеспокоился, не отключился ли его знакомый, для чего подергал шнур и подумал, как и про полотенце давеча, что пора бы его протереть хорошенько, небось, лет сто никто его в руки не брал.

— Я-то, может, и помог бы... Но вот сам посуди, зачем мне с таким связываться? Это ты у нас повернутый на науке. А мне бы ни этих грибов, никаких других и не надобно.

Но Родий Мамонтович отлично знал привычку старого приятеля именно так начинать и затягивать разговор, всячески выжывая для себя какую-нибудь выгоду. К примеру, это могли быть доски или что-то еще, что в дальнем корпусе института, где трудился Жгун, такого добра хватало.

— Так как, вагонка тебе еще нужна? И трубы, целый десяток, ну, метров, конечно, могу отгрузить. Тоже с этим непросто, как сам понимаешь. Пойти туда-сюда надо, поговорить, умаслить. Целая наука! Почисти грибов этих. Добро?

Ему ответили, что, пожалуй, к завтра что-то да придумают, и Родий стал потирать руки. Опять плеснул остывшего чаю и... вновь увидел крысу. Она снова забралась на стол и преспокойненько наблюдала за всеми действиями хозяина подвала.

— Что, собака такая, молчишь? Решила обосноваться намертво? Сиди, сиди себе. Мне что, мне не жалко, только если увидит кто... А так даже и веселей. Чаю будешь? — решил он пошутить, а сам вспомнил, что оставлял два дня назад приличный кусок колбасы. Однако его не было. — Съела, значит? Ну-ну, понятно.

Гости, гости, пока я добрый. Но есть — только то, что сам разрешу. Понятно излагаю?

Крыса повернула голову, мотнула длиннющим хвостом и скрылась.

«Пойми этих тварей: орешь — плохо, добро изливаешь — тоже. Неблагодарные!» На этой мудрой догадке Родий закончил свое чаепитие и отправился на стройку, чтобы подготовить сделку или бартерный обмен.

На стройке Родию повезло: как раз разгружали доски, и уж тут он подсуетился, подошел к главному, поговорил и вышло, что вопрос решен может быть положительно.

— Слушай, я тут по хозчасти, но кое-чего не хватает.

Мужик довольно хмурого вида сдвинул непонятное сооружение на голове, похожее на изношенную шляпу, но не со всеми полями, шмыгнул носом, и было понятно, что это шмыгание — его привычка, так как в течение разговора он шмыгал постоянно, — почему-то не смотрел на Родию и словно не слышал его. Родий, однако, выжидал, так как не слышать его, понятное дело, было никак нельзя. — Ну, что, мужик, по рукам?

Мужик наконец посмотрел на него, причем, довольно злобно, но ответил.

— А что я получу?

— Вот люди! Говорю же! Я по хозчасти, начальство, можно сказать. И туда же!

— А куда еще? Туда...

— Ладно, что ты хочешь?

Мужик шмыгнул, поправил немислимый головной убор и твердо сказал: «Пятьсот!»

— Ну, ты зверь, просто зверь, — не выдержал Родий, — такие деньжищи!

Мужик, между тем, не произносил ни слова, словно и разговора не было. Родий тоже выдерживал паузу. Наконец спросил:

— А бартер у нас не выйдет?

— А что дашь? Пробирки? — пошутил, видимо, мужик в головном уборе.

— Почему? Спирта могу...

— Давай. Литр.

— Ну, ты зверь. Зачем тебе столько? Половину!

— Семьсот грамм.

— Идет. Сейчас принесу. Жди.

— По-быстрому, сейчас уедем.

Родий побежал в свой корпус, отлил в початую бутылку светлой жидкости, глянул на свет, выходило, что осталось примерно, как договаривались, и побежал назад.

Ужас: машины не было, рабочих — тоже. Родий крутился вокруг себя, не веря, что весь его план рухнул. Бутылку он предусмотрительно запрятал за свой пиджак, который напялил, несмотря на жару. И тут его тронули за рукав. Он оглянулся и от сердца отлегло: перед ним стояла полушляпа.

— Как забирать-то будешь? Сам таскать станешь?

— Да нет, найдутся граждане.

— Давай мое. Принес же?

— А как же, на, забирай. — И Родий протянул бутылку.

Хмурый мужик забрал бутылку, предварительно осмотрев ее и только что не опробовав. Так и разошлись.

Родий Мамонтович еще раньше смекнул, как переправит доски своему Прохору и как тот, в свою очередь, добудет ему грибы почти что ядовитые и что из всего этого может получиться. Но в какой-то момент он вдруг отодвинул от себя всю эту дребедень, огляделся почему-то вокруг и быстро вышел из своей каморки. Там, наверху, он тоже посмотрел на коридор, на охранника, махнул рукой и спустился на улицу. «Черт с ним совсем, — облегченно подумал он, — хватит, надоело, все, все надоело. Надо заняться другим, самым важным!» И с этим напутствием самому себе он зашагал по улице, которая одним своим концом выходила аккуратно к особой больничке, в которую не то что попасть на лечение, — просто так заглянуть нельзя было. Просто-таки невозможно! Рангом не вышел, Родий Мамонтович!

И Родий Мамонтович направился чуть ли не бегом

к транспорту, чтобы поскорей добраться до заветного места, которое он вчера покинул и которое так притягивало его. «Ну уж нет, сегодня не оплошаю, сегодня все вызнаю», — говорил себе испытатель и сетовал, что не может добраться до камня так скоро, как хотелось бы.

Мысль о том, что не только камень притягивал его, но и происшедшее вчера, грела особенно. О полете он просто не позволял себе думать, решив, что только там, на том же самом месте все и разрешится.

Однако когда он попал на это самое место и снова увидел камень и уже готовился присесть на него, то неожиданно услышал голос: «Что, засобирался? Не сидится тебе здесь, на твердой-то почве?» Родий изумленно повел головой, не увидел никого, снова осмотрелся, и снова никто не возник перед ним, и вдруг он понял, до него, можно сказать, дошло, что это заколдованное место так и будет не только притягивать его, но каждый раз одаривать какими-то неожиданностями, сюрпризами. Вот, как теперь — в виде голоса! Но тембр, интонация, эти странные завихряющиеся интонации — все выдавало то, что голос-то был знакомым и что слышал он его совсем недавно, а точнее — вчера.

Родий посмотрел в небо, уже догадываясь, что разговора один на один с камнем не получится и что, может, это программа такая — никаких просьб, а только одни сюрпризы. И он внутренне как-то стал смиряться, понимать, что ничего с этим, видно, не поделаешь, придется принимать все так, как предлагается. Только кем? — этим Васькой Кузнецовым, чертом лысым, самым молчаливым серым известняком в виде огромного полукруглого камня или еще кем-то?

Ответа не было, но он зрел где-то в глубинах Мамонтовского естества.

**Что жметесь? Разве так в аду у нас
Ведут себя? Пусть сыплют розы кучей:
На место все, и слушать мой приказ!**

И точно: оглянувшись, он сразу уткнулся в существо низкого роста, в неизменной кепке, с хитрым прищуром выцветших глаз. Васька, это был он!

— Ах, вот ты где? — воскликнул Родий.

— Здесь, а что такое, я и не прячусь. Присаживайся.

— Ну, ты нахал, — изумился испытатель.

— Кто из нас нахал — это еще большой вопрос, — резонно заметил собеседник.

— А что тебе вообще-то нужно? Ты что тут делаешь? — спросил Родий.

— Я?? Я — ничего, тебя вот поджидаю. Ты же знал, на что идешь, куда, зачем...

— Глупости, ничего этого я не знал.

— Не смейся, знал, знал. Решил, небось, эту махину, — и он указал на камень, — разговорить. Не выйдет, не хочет он разговаривать. Видишь, молчит! — И с этими словами его новый, а, может, и старый знакомый, этот мерзкий Васька сделал что-то вроде пируэта и сел. Прямо на камень. Ужас! И что ему нужно, что ему дался Родий? Зачем?

Испытатель обернулся, словно желая удостовериться, что появился только он один, этот Васька, и больше с ним никого нет. И действительно, рядом, и правда, не то что не было никого, но более того — стояла почти звенящая тишина, и казалось, что покой просто-таки разлит в воздухе. Лето жарило по-своему: на смерть, упорно, несмотря на то, что близился вечер и дышать должно было бы стать полегче. Однако легче не становилось, а только все больше понималось, что и тишина, и покой этот — все обманчиво, что вот-вот все это может исчезнуть в один момент и вывернется нечто такое, о чем и подумать невозможно было.

Ну, к примеру, камень сможет подморгнуть неизвестно откуда взявшимся глазом, перевернуться на другой бок или еще что-то. Даже трудно предположить, что. Но тут снова выступил Васька, видно сильно уставший от препирательств и своего долгого упорного поиска компромата на давнего знакомого Родия, который все никак не хотел его признавать и вспоминать

детство. Это Васька хитрил, конечно, сам-то он не из одного только детства Родия возник, значительно раньше появился. История вражды их семейств была долгой и непростой. Их деды еще враждовали, а уж Васькин давно дал своему преемнику наказ: не отпускать ни за что из виду это поганое семейство, непременно мешать и не давать покоя. Что Васька исправно исполнял. Только до поры-до времени вел себя осмотрительно, не сильно выдавал себя, почти и не обнаруживал. Так, мелкие пакости совершал, конечно, как ему без его чертовских проявлений, но по большому счету Родию не докучал. Однако черед настал, время Родия вышло, настала пора Василия и его, Васькино триумфальное восхождение на арену действующих площадок. Оставалось только всматриваться и не упускать из виду этого выскочку со странным именем, а тому — улавливать, кто его зацепил, да еще — за что?

В какой-то момент Родию стало скучно и неинтересно наблюдать за всем происходящим, и он хотел было уйти. Сделал движение, даже и шагнул, но не тут-то было: Васька перекрыл ему дорогу, выставил ногу в такой же примерно потертой сандалии, зацепился руками за помочи, поправил свой странный головной убор и в упор спросил Родия:

— А хочешь, я тебе прямо и скажу, зачем мне вся эта чертовщина?

— Нет, не хочу, — неожиданно ответил Родий.

Однако Ваську ответ не смутил, и он, снова мерзко хихикнув, сказал:

— Дело не в нас, пойми ты, чертов исследователь человеческих душ, — затем помолчал и поправился, — или тел. Все еще до нашего с тобой появления завертелось. Дедушки наши, тьфу-тьфу, так что-то не поделили в ранней молодости, что вот до сих пор приходится расхлебывать их дела. Что, спросишь, не поделили? Отвечу — территорию, не больше — не меньше.

— Какую такую территорию? — обомлел Родий.

— А такую — и Васька сделал жест рукой, словно обводил своим грязным пальцем всю Землю целиком.

— Матушку нашу, цветущую земляшку, не больше-не меньше.

— Да что ты заладил свое «больше-меньше»?

— Жизнь диктует! — провозгласил гражданин Кузнецов.

— Ты не крути, говори, что надо?

— И скажу, за мной не убудет. Вот, уже начал, уже говорю. Я, хоть и черт, но не все мне подвластно. К примеру, душу, будь она неладна, изучить не смог. Не поддается, зараза! Тут-то ты мне и нужен. Спросишь, для чего? Отвечаю снова, вишь, я терпеливый. Отвечаю: для кооперации. Создадим с тобой артель по пошиву душ и всякому в них латанию. Мастерскую, одним словом.

— Ты спятил, Вася! — только и сказал Родий. — Какие души? Тебе они для чего?

— Лукавишь, однако, — пригрозил пальчиком Васька. — Как — для чего? Для подчинения, первым делом. Второе — для все той же территории. Все будем иметь, все нам в ножки опрокинется. Смекаешь?

— Знаешь, я хоть и не чистейшей воды бриллиант, но меру знаю: чего можно, чего — нет. Вот ты, к примеру, кидаешь меня на то, что «нет». Ясно излагаю?

— Ясно-то ясно, но глупости говоришь, это ясно еще больше.

— Возьми и изучи эти души. Сообрази, что им нужно, есть ли они вообще, или так только, одно название...

— Изучи...Сказанул! Я бы и не приставал к тебе, если бы это мне по силам было! Мне, черту, можно сказать, души не подчиняются. Ясно?

— Теперь ясно. Молчи. Я все понял.

— Погодь маленько, ни шиша ты не понял. Вишь, как я аккуратно? Не говорю «ни черта», а деликатничаю с тобой, себя самого, можно сказать, не поминаю.

— Благодарствую.

— Не юродствуй, химик! Скажу тебе важную вещь. Ты не намного опередил меня в своих гуманистических побуждениях. Я-то хоть своей чертовской приро-

ды не отрицаю, а ты крутишь и извиваешься. Ты не из чистых, усек? Ты за человечество не радеешь!

— А ты что ли радеешь за него?

— Я — за себя и за справедливость! — прокричал Васька и аж оглянулся, не слышит ли его кто?

Но никого рядом не было по-прежнему, камень все так же хмуро молчал, а Васька вошел в совершеннейший раж.

— Если приглядеться к тебе, золотой ты мой испытатель, то тебя заграбастать можно прямо сейчас, и — к следователю.

Родий смотрел на говорящего молча, так как начал улавливать, что то, о чем рассуждает сейчас Кузнецов Василий, давно волновало и самого Родия. Он даже предполагал, как кто-то, узнав о его истинных намерениях и поступках, отреагировал бы, будь он в конкретных органах. Обмены, бартеры, подмены реактивов — не всю дорожку жизнь такая будет сливочным маслом вымазана. Это на работе он, сведя брови в линейку, строил из себя неприступного и неподкупного гражданина. Справедливость — вот что было выведено на его маленьком лбу! Но это в порыве любви и восторга к себе самому думал Родий. На самом деле он отчетливо сознавал, какие такие страсти кипят в его душе. И, может быть, Васька в чем-то и прав: не так непоправимо расходятся их истинные пути и намерения! Даже, скорей, наоборот: об одном и том же оба мечтают — о подчинении целого мира, об изменении и разных манипуляциях с человеческой душой. Подумаешь, какие методы избираются при этом! Цельто остается все равно одна, и цель эта не грешит чистотой и совершенством!

«Что же делать, как избавиться от этого приставучего черта лысого?» — думал Родий, понимая, что Васька просто так не отвяжется, нужны тут иные меры. И решил испытатель пойти на хитрость. Он сказал:

— Знаешь, Василий, все твои штучки, может быть, и хороши, и даже резон в них имеется, но мне они не подходят. Я живу себе, тружусь, на благо общества,

между прочим, тружусь, а до тебя, черта, мне и дела никакого нет. И, пожалуй, больше я сюда не приду, нечего мне тут делать. И тебе не советую. Все равно мы с тобой не сторгуемся.

— Да ты что? — а полетать? Забыл? Думаешь, это в тебе такая сила неведомая торчит? Ан нет, это все я, Васенька, мои происки.

— Вот и хорошо, — примирительно начал Родий, — вот и не надо. Давай так и останемся друзьями детства, а с ними во взрослой жизни не очень-то хочется встречаться. Так выходит. Вот и мы — расстанемся, забудем обиды, мы ж цивилизованный народ! Подумаешь там — деды чего-то не поделили! Но нам что? Нам что делить?

— Да... Ты, может, и народ, но я...я, дорогой ты мой, совсем не отношу себя к гражданам. Я — единственное число, я — не быдло и быть с вами со всеми не хочу и не буду. Мой удел — протест!

— Но ты спросил себя, зачем? Зачем тебе это нужно?

— Я-то спросил и ответ имею. У меня свои, чертовские замашки. А вот тебе негоже от народа отделяться. Ты все о завоевании мира печешься! Не будет этого! Не получится у тебя! Ничего ты со своими знаниями не завоеешь!

— А как же талант, прозрение, одаренность, наконец? Что, только в образовании дело?

— Нет, не в нем, а в намерении. Ты, думаю, уверен, человек хоть и неглупый, а дурак. Знаний у тебя — шиш, намерения жуткие, не под силу тебе будут, а самое главное — печешься не о человечестве, а о себе и о своих личных интересах. Тебе наплевать на грех, на вину, наконец, тебе это — по фигу, а вот решил ты — думаешь, я не соображаю? — решил жизнь, не больше-не меньше — сделать бесконечной, нескончаемой. И перво-наперво, о себе подумал. Так жить хочешь, а, Родька? Что ты в ней нашел, в этой вашей невезухе общей? Склоки, подсиживания, ненависть! Придумали взамен всему этому любовь и носятся с ней. Нет никакой такой любви! Нет, и все тут! Понял? Все это выдумки,

чтоб себя потешить, успокоить, чтоб с грехами своими примирить, не больше.

Родий подумал в это мгновение, что все-то верно излагает черт. Одна ненависть кругом, и всех это устраивает. Какая любовь?! Взять хоть его и его Серафиму? Это что у них, любовь? Нет же. А все туда же: любит — не любит! Тьфу!

И в ту же секунду ноги его сами собой оторвались от земли и случилось то, чего он ожидал больше всего и только признаться в этом не смел: он ... полетел! Сделалось это так внезапно, так скоро и без всякого предупреждения, что он, Родий, еще какое-то время оглядывался, все так же крутил гововой, надеясь увидеть, что делает Васька и смотрит ли на него, но все это было словно схвачено одной краской, проведено единым мазком: не было видно ни Васьки, ни места того, где они только что беседовали, ни каких-то иных примет, знакомых и привычных. Все переменялось в одну секунду и стало серо-зеленым, потом сиреневым. А потом однородной толстой массой, где цвет сам уже не играл никакого значения, а приметными становились совсем непривычные вещи, такие, как, скажем, ощущения, чувства, настрой души.

И отрываясь, улетаая все выше и выше, Родий не только не мог, но и не хотел разглядывать, что там внизу, как там, нет — важным был именно он, настрой духа. Тут он подумал, есть ли разница, как уверял Вадим Петрович, в душе и духе, как это понимают египтяне, но не успел додумать, так как его подхватил какой-то вихрь и с новой силой, с удвоенной энергией устремил куда-то, в какую-то сторону, названия которой Родий не знал, да и не хотел знать.

В какой-то момент он действительно успокоился, развел руки, как и в прошлый раз. И подумал, как же он неправильно живет: все ловчит, все выпендривается, хочет чего-то доказать кому-то. Да и Симу вот.. тоже не любит. И с этим пора что-то делать. Разойтись что ли? И начать жить заново!

Но он вспомнил, что на днях ему уже стукнуть дол-

жно... господи, да сколько же ему должно? Точно, ши-занулся. Ага, почти полтинник, без одного, аккурат, года. И что? Что в этом возрасте, который не оставляет никаких надежд на совершенствование, на изучение не то что духа, но и тела, ни малейших шансов?!

И Родий зацепил себя на мысли, что вот именно в этом необычном месте, можно сказать, на небесах, подальше от земли, глядишь, и найдутся ответы на какие-нибудь вопросы, если таковые имеются. А то, что они есть, было предельно ясно.

Он думал о дне своего рождения, который не с кем было праздновать, и по обыкновению Симка напьется, как это водилось всегда, много-много лет, что старый школьный товарищ, который единственный и помнил об этой дате, в этот год вряд ли позвонит. И еще он думал о том, что, наверное, и правда, мог бы жить по-иному. Да, иначе, если бы только захотел. Но что ему мешает, что? На этот вопрос у Родия ответа не нашлось, и он, сам того не замечая, оказался в месте, которое давно его привлекало и попасть куда было невозможно. Это была та самая привилегированная больничка, куда доступа простым смертным не было. И он точно знал, что там лежат не одни господа из правительства, но и те, которые по каким-то неизвестным каналам все же туда попадают. Но по каким и кто? Ясное дело, деньги тут — не последняя самая песня, но имеют их теперь многие и многие, а вот пробраться в такую клинику —ох-хо-хо....

Так думал Родий, пока не приблизился к крыше этого почтенного заведения, а потом, поняв, что ему и это по силам, не проник внутрь. Но как быть с тем, чтобы остаться невидимым, чтобы на тебя не пялились хотя бы из-за твоего нелепого вида? Однако когда испытатель встал, отряхнулся и сделал пару шагов, то понял, что бояться здесь нечего. Его попросту не замечали. Не видели что ли? Этого он не понял, как и того, что за особая атмосфера царит в этом благословенном месте. Ну, например, все ходили по коридору, включая медперсонал, медленно и даже степенно, не неслись,

как в той больничке, куда он однажды попал с аппендицитом. Нет, здесь явно все было по-другому. И пахло совсем не так, как в той допотопной лечебнице, типа прокисших щей и неизменными сосисками. «Благородно, ах, как благородно!» — воскликнул про себя любитель тайн и стал понемногу осваиваться в непривычном месте. Он — под стать всем обитателям — степенно прошел по коридору, остановился у двери, от которой шел невероятно заманчивый запах чудной пищи, и не мог дальше сделать ни шагу. Так и стоял, как вкопанный. Однако к нему вскоре подлетела милая девушка с белыми кудряшками и приветливо сказала: «Что вы стоите, проходите, пожалуйста, еще не все поели, вам подогреют». Родий чуть не поперхнулся, слегка отстранился, а потом вежливо, как только мог, сказал: «Да-да, я сейчас», — и вошел в зал столовой. А то, что это была именно столовая, сомнений уже не оставалось. К нему снова мгновенно подлетели, на сей раз в возрасте полноватая женщина, но с милейшей улыбкой, вся словно готовая встать на пуанты, лишь бы ублажить пришедшего. «У нас на второе гуляш и беляши, на первое, ой, чуть про первое не забыла, на первое суп фасольный с корейкой и норвежский с семужкой». Она словно даже потупилась, сказав про эту семужку, словно ей было совестно, что нет перепелов и рябчиков, а осталась одна окаянная семга. «Еще кисель из плодов манго, бруквенный, ну и компот, конечно. Что желаете? Вы заказик не делали?» Родий был сражен. Заказик! Это ж надо! «На ваше усмотрение», — скромно ответил спустившийся с небес испытатель и сел у самого края стола. «Что это она про закуску ничего не сказала? Забыла что ли?»

Но тут, словно по мановению волшебной палочки, откуда ни возьмись появилась совсем другая девушка, которая несла поднос со всякой всячиной так грациозно, так плавно, словно вот-вот готовилась подняться на свои носочки и начать танцевать партию Жизели. Родий даже обернулся: не в Большой ли театр попал? Но столы стояли, балерин больше не было, а сценой слу-

жила вся большая столовая, которую и назвать-то так было неловко. Какая столовая? — роскошный ресторан! Уж по меркам-то Родия — это точно! Закуска было целых три или даже четыре, одна другой красивее и вкуснее, и его не стали и спрашивать, которую он хочет, а так все и оставили. Он было оглянулся, нет ли графинчика с вином, но снова, словно по мановению той самой волшебной палочки, откуда ни возьмись появился и штофик. Он еще позыркал по столу и действительно, перед ним стоял стаканчик, красивый, наверное, хрустальный и совершенно пустой.

Родий вздохнул и откинулся на своем стульчике. Какое же великолепие царило вокруг! Как же здесь было хорошо! «Вот бы лечь полечиться», — мечтательно протянул про себя Родий и не заметил, как ослепительная особа в белом передничке, та, что приносила поднос и готовилась станцевать партию Жизели, скромно склонилась перед ним в полупоклоне и вкрадчиво спросила, не хочет ли он чего покрепче. Родий поднял глаза, потрогал почему-то себя за ухо, покрутил пуговицу у своего выдавшего вида пиджака и глупо спросил: «А что, можно?» — «Для вас — всенепременно», — ответило ангельское создание и испарилось. Через пару минут Родий наливал в маленькую стопочку искрящуюся белую жидкость, от которой тянулся аромат розы или еще чего-то такого же неправдоподобного. «Неужели все это правда? — с некоторым изумлением все еще думал несостоявшийся химик. — А что, если погонят? Надо успеть оприходовать все это, пока не опомнились тут. Может, они меня на что-то проверяют? На бдительность какую или еще на что?» Но отвечать не хотелось, как не хотелось и тратить время на глупые переживания, когда перед носом стояло столько распрекрасной еды и выпивки.

Когда он подносил стопочку ко рту, то успел подумать, что того тошнотворного запаха, какой обычно бывает при обилии водочного ассортимента, здесь не обнаруживается. Напротив, все сопровождается не одним лишь ароматом роз и грез, но и еле слышной му-

зыкай, такой же замечательной и нежной, как то здание в голубом или белом переднике, — Родий уже забыл. Он, запив водочку красным винцом и хорошо закусив, едва не затащил свою любимую, но вовремя спохватился. «Эх, рывкнуть тут бы на всю и вся их мать свою, морскую. Да под еще стопочку, да под норвежский супчик! Э-эх!». Однако когда дело близилось к принятию второго горячего блюда и когда стопочка пополнилась еще разочек, Родий не удержался. «Плывно Амур свои волны несет, ветер сибирский им песни поет, ветер песни поет...» Эти строки Родий выпевал уже с полным осознанием того, что здесь можно все и что за это «все» ему ничего не будет! «...Широко плещется, широко плещется...» Дальше у него что-то заело с текстом, но ширилось что-то в душе, она требовала внимания и желала излиться, а потому текст уже был неважен, а главным был сам настрой. При этом вполне допускалось менять слова, тематику и выходить за пределы не то что Вселенной, но и самой цивилизации. А то, что он за рамки цивилизованного гражданина давно вышел, было совершенно ясно хотя бы потому, как за ним исподтишка наблюдала вся столовская братия: тихо так, затаившись и не высовываясь. Их и не видно совсем было, только едва слышимые смешки нет-нет да вмешивались в застольное разудалое пение бывшего исследователя морей, бывшего моряка, а ныне главного по банкам, пробиркам и всяческим растворам с премудрыми названиями, хозяина подвала одного из крупных исследовательских институтов города Москвы.

«Э-э-эх, кто бы видел! Вот бы хоть рожа какая увидела! Ни в жизнь не поверила бы!» — останавливаясь на мгновение на одной из амурских волн, думал сотрудник важного заведения. «...А волна плещется, величава и вольна...» Нет, бывает же в жизни счастье, можно сказать, почти беспредельное! И что этот камень? — вот оно, и без всякого камня как выходит! Можно сказать, плещется и переливается, как самый синий кварц, что намедни попросил Вадим Петрович,

что эта волна амурская. Побывать бы на ней, поплавать! И чего все тянуть, оттягивать? Есть же еще жизнь, да вот какая, не приведи, Господи, какая замечательная, можно сказать, сказочная!

«Девушка, счет, пожалуйста!» — крикнул забывшийся испытатель. К нему подлетела та же Жизель и сказала, чуть ли не падая в обморок от ужаса: «Что вы, какой счет?! Теперь вам в палату, там и отдохнете».

«Это что же такое получается? В палату? А как же?... А, черт с ним со всем, в палату, так в палату», — сам себе сказал изрядно выпивший мужчина в задрюпанном пиджачке и пыльных сандалиях и поднялся, чтобы покинуть это божественное заведение. Жизель мягко приобняла его за талию и тихонечко шепнула, чтоб к ужину приходил попозже, мол, будут такие вкусности, закачаешься. Прямо так и сказала — закачаешься. Родий мотнул давно нечесаной и немытой головой, крикнул еще строчку про волны и махнул рукой: веди-те, мол, согласен.

Его и повели. К Жизели в коридоре подсоединился бравый дядька, Родий даже подумал, не бывший ли это их боцман, хотел его об этом спросить, но мысли почему-то запутались, и только одна, насквозь пропитанная волнами Амура, все еще билась и не давала лечь прямо здесь, посреди коридора.

В палате было почти так же, как и на сцене-столовой, только сразу же почему-то куда-то подевалась Жизель. А бравый боцман был хотя и любезен, но не настолько, чтобы вести с ним душещипательные беседы о прошлом моряков. Родий только спросил, любит ли солдат песни, а в особенности «Амурские волны», но ответа отчего-то не получил и оказался в постели, тоже мягкой и воздушной, прямо как продолжение того же балета, где главная героиня, так прекрасно потчевавшая героя, неизвестно куда запропастилась, наверное, ушла в царство мертвых. Этот сюжет Родий знал досконально, хотя бы потому, что на корабле, где он служил, чуть что — показывали балет, и поэтому все перипетии бедной сельской девушки он знал, сочувство-

вал ей и только никогда не мог понять: если она, как и ее подруги, оказывались в таком неприятном месте, почему они все же продолжали танцевать? Не горевать, сидя, скажем, на пенечке или еще где, а в белых платьях, с ангельскими крылышками все взлетать и взлетать над сценой, сложив ручки, как и подобает мертвым? Ну правда, почему?

Однако балет делал свое дело, приобщая разгадывателя тайн к возвышенному, и он не то что «Жизель», знал и другие балеты, которые показывали исключительно к важным, можно сказать, переломным для страны, датам. Но те не трогали его озябшую, чуть ли не задеревеневшую душу. А вот «Жизель» с его нехитрой сюжетной линией, где, как водится, обман становится ключевым событием для развития действия, вдохновлял его особенно. Он и сам бы не смог сказать, почему эта странная девушка, так быстро и по самой безобидной причине сошедшая с ума, так волнует его. Но где-то в потаенных уголках своей памяти он все же выискивал истинную причину своей неодолимой тяги к событиям драмы и понимал, что его Рита, Ритулька из далекой юности, так и не дождавшаяся своего Родьку с морских учений, — вот она и есть настоящая вдохновительница. Она и определяла его увлечение столь тонким и изысканным искусством. Потому что в том времени, в далекой юности именно она все уши ему прожужжала своим балетом и тем, что станет, когда-нибудь да станет великой балериной. Она так и говорила в свои тринадцать лет, что еще не поздно и что все еще впереди. Когда ей возражали, что, мол, поезд ушел и все балерины ее возраста давно делают всякие там арабески и всюю танцуют, она упрямо продолжала верить, что через год уедет из своего Николаева, отправится в Москву и вот там-то уж непременно станет балериной. Великой балериной!

Правда, она танцевала так, что дух захватывало не только у Родьки. Все мальчишки, вся округа собиралась смотреть на эту тонюсенькую Ритку, которая кружилась так, что однажды одна бабуля, пришедшая с

внучкой, не выдержала, да как крикнула: «Миленькая, остановись, упадешь же, сердце сломишь!» Все засмеялись, но правду бабулькиных слов учуяли — слишком быстро и слишком неистово кружилась Ритка, чтобы сердце смогло вынести такую нагрузку. Оно и не выдержало, как в том рассказе Максима Горького про Нунчу, который задавали в школе и который пришлось все же прочитать, она занемогла, захворала, а потом смогла только еле закончить школу и работать в их районном продмаге, где выпивохи по старой памяти еще посмеивались и все пытались подначить Ритку, заводя ее на прыжки и вращения. Она же только молча смотрела на них, ничего не отвечала. А в душе, наверное, как та Жизель, давно перешла в царство мертвых.

Такая история. Свою Ритулю Родька помнил всегда, даже когда женился на своей Серафиме, когда орала она на него, не приведи, Господи, как. Когда спал с ней, когда пытался завести ребеночка, а он все не получался и когда, наконец, этот окаянный сыночек все же родился, и когда он, уже плюнув на все, все же смотрел иногда по телевизору балет и представлял на месте Жизели ее, Ритулю.

**История! Уж не любовь ли это?
Огнем каким-то тело все согрето,
Я чувствую едва, как горячо
В затылке жжет... Прелестные творенья!**

В мягкой белоснежной постели Родий не то что балет, вспомнил и такое, о чем давно и навсегда запретил своей памяти даже знак какой давать: не было этого и все тут. И пока мужик, похожий на боцмана, ставил ему капельницу, Родий поддался-таки искушению и вспомнил. Из далекого детства выплыла картинка, где он, Родий, сидел на земле, чертил вокруг себя прутиком кружочки и другие фигурки и думал о самом прекрасном, что только могло быть в жизни в двенадцать лет. Но именно тогда, в это его безмятежное состояние

души вторглось нечто такое, о чем и запретил себе вспоминать нынешний пациент высококлассной клиники.

Он поднял голову и увидел, что перед ним стоит соседский мальчишка Васька и писает прямо в его круг, который он только что начертил. Как же он возмутился, взъярился-таки! А тот нагло смотрел на Родия и продолжал исполнять свое дело.

— Ты что, псих совсем? — спросил Родий.

— А это не твоя территория! Она общая! — привел сокрушительный для того времени довод наглец.

— Ну и что, что общая? А писают в уборушке.

— Вот и ходи в свою уборушку, а мне и тут хорошо, — продолжал нагличать стервец.

— А ну-ка иди отсюда! Как дам тебе сейчас!

— Попробуй, может, что и получится, — подначивал соседский оборванец.

— И дам! Ты не по-божески поступаешь, — привел на свой лад не менее убедительный довод совестливый начертатель кругов.

— Ах-ха-ха! В усмерть насмешил! Это как — по-божески? Бояться что ли всех?

— Бога не бояться, а любят. Все, кроме тебя, наверно. И уважают, — прибавил Родий.

— Глупости! Нет никакого Бога! Дурак ты, Родька. Был дураком и помрешь им.

— Нет, не ври, замолчи сейчас же. Не смей такое говорить! Это неправда, неправда!

— Правда. И, если захочешь, могу и доказать.

— Нет, не хочу.

— Эх, ты, трус. А вот, смотри. — И с этими слова поганый Васька сам отскочил от приятеля, затем почему-то оббежал его, затоптал ногой круги и... взмыл вверх. Прямо на глазах у Родия. И уже оттуда, поднимаясь все выше, закричал: — Видал, дурачок? А ты так не сможешь. Вот согласишься со мной, тогда и сам слетаешь.

— Никогда не соглашусь, — выкрикнул что было сил громко Родий, а у самого замерло сердце. И от страха,

и от страстного желания оказаться там, наверху, вместе с Васькой.

— Хочешь же, хочешь, — дразнил и строил рожи наглец. — Откажешься, тогда полетишь!

— Нет уж, ни за что не откажусь! — уверенно сказал Родий, вставая и словно пытаясь дотянуться до поганого мальчишки, который в один момент почему-то изменился в лице, стал вовсе даже не похож на самого себя, а напомнил Родию кого-то из страшной сказки, которую читал ему отец. Родий испугался так, что хотел было бежать, но ноги не слушались, и он повторил то, что совсем недавно проделывал на середине двора наглый Васька — описался.

— Ха-ха-ха! — раздалось сверху, но голос, казалось, был совсем другой, не похожий на Васькин, какой-то взрослый, да и лицом этот Васька стал совсем похож не на человека даже, а на... ой, Родий даже боялся вымолвить, на кого. — Вперед, мой юный друг, все еще впереди, как и познание мира, и он сам. Смотри, не бойся ничего и ни во что не верь!

И тут Родий окончательно убедился, что Васька стал совсем не Васькой, а почти чертом лысым и взрослым. Страшным и все же увлекающим. Как же он искушал! И Родий почти уже поддался искушению, уже чуть ли не побежал вслед за улетающим Васькой, но тут услышал неожиданно спасительный крик: «Родька, домой!» Это и впрямь спасло его — он оторвался, наконец, от места, к которому был прикован, и побежал домой.

Когда он увидел склонившегося над ним мужчину, похожего на боцмана из его юности, который ставил ему капельницу, то подумал, что вот оно, то давнее детское воспоминание, от которого всегда хотелось заслониться, убежать. Выходит что? Выходит, что как только Родий и сам отправился в полеты, подтвердилась мысль Васьки о неверии? Теперь уже о его, Родия, неверии? Что только преступивший мог вот так, поправ законы земного притяжения, отправиться в путь в небеса? А следом неслась еще более страшная мысль: значит, о вере, о настоящей вере и речи быть не мог-

ло? Значит, все, что было до этого полета, — жизнь, нелюбовь, рабочие притязания, заведование пробирками — все это зижделось на чем угодно, но только не на вере?

Выходило, что так. Выходило, что никогда Родий и не задумывался над этим вопросом, жил себе и жил, не вникая в божественные, вечные вопросы. Просто ходил на службу, сверял отчеты, писал бумажки... Но нет! Начал же он теперь захаживать к Вадим Петровичу! Стали же его волновать проблемы духа, души! Все же это не просто так! Неужели...неужели грех этот, грех, который вот только теперь, сию минуту, можно сказать, стал ощущать почти пятидесятилетний мужчина, возьмет, да и повернет в его голове что-то? Вдруг? А как же полеты? — тут же осек он сам себя. Что же, и не полетать? А если и то, и другое? Ну, и вера, и эта безумная возможность? Вместе, так сказать? Годится?

На этом непростом для себя размышлении господин, чудом очутившийся в классной клинике, понемногу стал терять ощущение реальности, времени, понимания того места, в котором ненароком оказался, и все больше погружаться в стихию странного, почти безумного мира, где правили что угодно, только не здравый смысл и совесть.

Однако его приключения на этом не закончились, а, напротив, очень даже стали развиваться: капельница делала свое дело. Его сильно клонило в сон, но он самым краешком сознания понимал, что спать нельзя, что за этим непременно что-то последует, чего стоит опасаться. И поэтому противился, как мог, действию лекарства. Но с ним не поспоришь, и Родий медленно, но верно погружался во тьму. Трудно сказать, что это было: мир реальный, фантастический, навеянный его воспоминаниями, или тот, что действительно существует, только тот, который не хочется замечать, знать, что он есть и что он-то и есть самая голая правда.

Там были разные существа, временами похожие на людей, но только похожие, с набором примет то птиц, то рыб, то неизвестно вообще каких ископаемых. По-

падались хвостатые, с огромными горящими глазами, но почему-то не хищные и злобные, а скорее, обходительные. И не скажешь сразу, что это были чудовища. Картинки насакивали одна на другую, мешались, перетасовывались, и начинало казаться, что безумный мир, который ему кто-то показывал, словно приглашал его войти, освоиться и погостить.

Но Родий сопротивлялся, как мог, до самого конца. Он то взбрыкивал, то хватался руками за полотенца, которые неизвестно, по какой причине, крепили его туловище, матерился, сплевывал, но все глубже и глубже впадал в состояние, которому не было определения в его лексиконе, а главное — памяти. То ли был, то ли галлюцинация, то ли жуткий сон с моментами пробуждения и возвращения в реальность. Он не мог бы в точности ответить на эти вопросы, так как не знал. Попытки сопротивления становились все более слабыми и безнадежными: он улетал — теперь уже не в реальности и не осознанно — куда-то, откуда неизвестно, возможно ли было вообще возвращение или нет. Кто всем этим управлял, что заставило случиться всему тому, что происходило, он не знал, не ведал — летел себе и все.

Единственное, чего он боялся, когда краткими мгновениями к нему возвращалось сознание, это страх снова встретить Ваську. Он не боялся ни чудовищ, ни хвостатых людей, а вот встреча с чертом Василием была для него страшна и нежелательна. «Эх, в свой бы подвал сейчас, да зайти к милому человеку, Вадим Петровичу! Все бы он рассказал, объяснил, даже и не осуждал бы. Глядишь, и про Египет этот все пояснил бы, наконец. Надо бы туда разок смотаться, самому убедиться, что есть что. Поближе бы подступиться к этим самым местам, принюхаться, вдохнуть их ... что только? Душу, дух? Но все равно, надо бы, на месте и разобрался бы!»

И в это самое мгновение лежащий в белоснежных простынях мужчина с завязанными полотенцами руками вдруг понял, что оторвался от чудищ и оказался

совсем в другом месте, очень напоминающим то, к которому стремился уже не первый год. Сомнений быть не могло, это точно были пирамиды, а значит, где-то поблизости те самые волшебные, недостижимые просто объекты, которые не назовешь ни усопшими, ни бывшими людьми, но которые несомненно источали какой-то дух. Может, сами они и были воплощением этого духа, а все остальное, включая их внешность, рост, облик, напридумывали люди, археологи? Надо же им, в конце концов, оправдывать свое существование в профессии!

Как же тепло и привольно дышалось на этих египетских просторах! Почти как на корабле под Николаевым, который уходил из своей бухты в открытое море, и начинали бежать мурашки от сознания абсолютной, такой доверительной и щедрой свободы, которая одолевала, накатывала и становилась едва переносимой. Не сама, конечно, но то чувство, которое посещало. Точно, почти как в Николаеве, где была его армия, где он служил в морфлоте! Здорово! А дышалось, дышалось как! Один раз только в жизни он испытал такое у бабки под Рязанью, куда его лет в десять привезли на лето и где он чуть не задохнулся от пряного воздуха.

Подойдя поближе к самой главной пирамиде, так ему, во всяком случае показалось, что она-то, огромная и устремленная гордо вперед, и есть самая главная, так вот, подойдя поближе и задрал голову, он вдруг услышал знакомый звук. Это был явно писк котенка, который, как оказалось, стоял подле Родия и смотрел на него умным взором.

«Тебя-то что сюда занесло?» — обратился исследователь к маленькому существу. Он и не ожидал, естественно, получить ответ, однако, не тут-то было. «Иди за мной, не пожалеешь», — сказала существо о четырех лапах и уверенно прошествовало вперед.

«Чудеса! Чудеса, да и только!», — успел отметить происходящее почти пятидесятилетний мужчина, но послушался и зашагал за пушистой тварью.

А она, между тем, и не оборачивалась, а важно и со

знанием дела бежала к чему-то, только ей известному, и вскоре они оказались у самого входа в пещеру, куда и пригласил котик, мотнув небрежно головой. «Иди уж», — так это могло звучать. Родий шагнул и... провалился. В крошечной темноте он пытался нащупать хоть какой-нибудь выступ, что-то твердое, за что можно было ухватиться, но его несло все дальше, увлекая все ниже и ниже. «Где же киса?» — только и успел подумать испытатель, как в то же мгновение возник откуда ни возьмись свет, прорывающийся сквозь мощнейшие кладки странного камня, котенок сидел возле ног и смотрел на своего спутника.

— Что, устал, небось? — по-отечески нежно спросило божеское создание.

— А ты как думал? Устал... Не то слово! Где мы, ты хоть знаешь?

— А как же? Вот, в самом главном месте. Идем, тебе интересно будет. — И с этими словами пушистый хищник увлек Родия еще глубже.

Родий, будучи человеком выше среднего роста, вынужден был пригнуть голову: так низки были потолки в том узеньком туннеле, по которому они пробирались. Котик все так же храбро шествовал впереди. Наконец они приблизились к какому-то повороту, завернули и оказались у странного сооружения. Родий, хотя учился и плохо, все же догадался, что это и есть главное достояние подземелья — могила фараона. И еще он твердо знал, что все происходящее нехорошо, так как можно заболеть и даже умереть. Это уже рассказывал Вадим Петрович, а ему Родий верил. То есть нехорошо то, что они проникли вглубь пещеры, а теперь и вовсе оказались у самого священного, можно сказать, места.

Пока Родий стоял, вспоминая все известные ему сведения относительно гробниц и фараонов, то не сразу заметил, как мумия, находящаяся в одном из захоронений, неожиданно пошевелила своей костью руки, или тем, что от нее осталось, и послышался еле различимый треск: так скрипят старики, когда их неожиданно

поднимут и они пытаются встать с постели, а потом и идти. Такой вот характерный хруст костяшек. Родий опомниться не успел, как то, что называется мумией, вдруг село, раскрыло свои невероятно большие глаза, даже сделало попытку обмахнуть себя этой самой кистью-скелетом и... заговорило. «Теперь все, кому не лень, разговаривают. От котов до усопших», — подумал испытатель, боясь повернуться к хрустящему существу. Или похрустывающему, все равно.

— Жарковато тут, — произнесла мумия, на которую оторопело смотрел недавний пациент высококлассной клиники. Он потрогал себя по голове, провел рукой по лбу и мгновенно взмок.

— Ну и дела! — только и проронил.

— А вам не жарко? — продолжала мумия. — В Москве, кажется, сейчас тоже не холодно. Лето там у вас паршивое: то дождь, то влажная жара. Это не то, что здесь. — Мумия огляделась. — Благодать! — произнесла она с чувством, от которого Родия замутило.

— Вы... вы...

— Не тушуйтесь, продолжайте, — подбодрило существо со странными скелетными руками.

— А чего я? Я — ничего!

— Оно и видно! А жаль! — воскликнула эмоциональная усопшая, и Родий одернул себя: он не знал пола, поэтому надлежало называть то, что перед ним в среднем роде.

— Вы — Клеопатра?

— Вот еще! — возмутилось существо. — Какая Клеопатра? Эта развратница? Да вы плохо историю знаете, таких в этих местах не хоронили. — И для пущей убедительности мумия обвела все той же хилой рукой свои владения.

— Нет? Но вы тоже красивая.

— Что было, то было, — кокетливо отозвалось существо и попыталось поправить то, что считается прической.

— А вы не могли бы сказать...

— Смелей, мой друг, мой пришелец из таинствен-

ной страны! Я все могу! Я еще очень, очень могущественная!

— Так я... это, изучаю душу. Вы вот, скажем, кто или что: дух, душа чья-то или на самом деле?..

— Что значит — дух? Я, как изволите видеть, говорю, мыслю, стало быть, существую. Так, кажется, у вас учат материальному пониманию мира? Существую! — вот что главное. И, заметьте, много-много тысяч лет. А это не шуточки.

— И вы... это, всегда поднимаетесь, ну, при виде посетителей?

— Да, я вежлива и хорошо воспитана, но скажу вам, что чаще всего все же лежу и делаю вид, что ничего не вижу и не слышу. Но замечаю все! Уверяю вас!

— А я как, на ваш взгляд, нормальный или, может, мне все это только кажется?

— Ха-ха-ха! Что такое нормальный? Есть ли та грань, которая разделяет эти понятия? Ее нет, мой дорогой, и быть не может. Вот вы, к примеру, думаете сейчас, что я тронулась или вы — какая разница? А на самом деле все проще: мы просто обмениваемся тем, что знаем о мире, попали неожиданно в общее временное пространство. Ну и что? Слышали про порталы? Так это все ерунда, бредни ваших уфологов. Есть более сакральные вещи. Их немного.

— Что же это?

— Что? Да всего-навсего человек и этот мир. А это уже и не так мало, как может показаться.

— Человек?

— Представьте себе!

— Да я вроде понимаю, только в толк взять не могу, как это такие мудрые (он пытался подобрать слово) люди, такие фараоны мысли не могли повлиять на этот мир? Неужели трудно было что-то подсказать, помочь? Вы же все знаете. Лежите тут себе (храбрел на глазах испытатель) и все про все знаете. Только нас дурачите.

— Знаете, дурачок, что я вам скажу? Те, кто хочет, чтобы их дурачили, очень даже и дурачатся, а те, кто не хочет... ну уж, не взывайте!

— Это как?

— А так! Кто понимает, что загадки, тайны нужно разгадывать достойным путем, путем анализа и размышлений, пришли к очень интересным выводам. А кто просто любопытничает, того ждет кара.

— Что же, и меня что ли?

— Как знать, как знать? Вы только на пути к знаниям. Сами-то — почти неуч, только выскребаетесь из оков невежества. Желаю учиться, учиться и учиться! Тут ваш вождь пролетариата был прав, как никто. Прощайте!

И с этими словами существо улеглось в свое вечное хранилище, сделанное из чего-то такого, что Родий и назвать бы не смог: неуч, он и есть неуч!

В ту же минуту он открыл глаза и очень опечалился: лежал он хотя и в высококлассной клинике, но странное дело, почему-то именно в ней случились превращения, которые очень пахивали психлечебницей. Однако ошибиться Родий не мог: именно в эту знаменную больничку он всегда стремился попасть, хоть одним глазком увидеть то, что там происходило и кто были ее обитатели.

Но почему с ним приключилось такое, он понять не мог, как не мог бы объяснить и того, что за путешествие он совершил только что, куда, кстати, подевался маленький котенок. Нет, всего этого Родий не знал, поскольку лежал привязанный полотенцами к кровати с металлическими прутьями.

«Надо же, сама кровать какая красивая, современная, а прутьики-то все равно железные. Не убежать, выходит, из плена старого». Он подергал руки, они не поддавались, попытался подняться — не смог. Однако в ту же минуту перед ним вырос все тот же боцман, только какой-то подобревший, отоспавшийся что ли и спросил, что желает пациент. Так и сказал — пациент.

— А нельзя ли меня, уважаемый, это... отпустить?

— А вас что, кто-то держит? Вставайте, если охота.

— Так вот же, — Родий хотел показать на полотенца, но они в одну минуту испарились сами собой, а он, уже не в больничной одежде, а в новой клетчатой ру-

башке, но в своем потрепанном пиджаке сидел на краешке кровати и рассматривал свои сандалии. И снова подумал, что пора бы их починить. — А скажите, любезный, сейчас в Москве жара?

— Еще какая!

— Это что же выходит, я не один день здесь? Вчера вроде не было жары?

— И вчера была, и сегодня. Лето! — объяснил боцман и Родий подумал, что, может, сделать еще попытку спросить его, не служил ли он в городе Николаеве. Но почему-то поостерегся: вдруг вопрос медработнику не понравится и Родия снова привяжут? И счел за лучшее молчать.

— Так что вот, выходите, сумочка ваша тоже здесь, продукты там, как вы и хотели.

— Я-а? Разве?..

— Да не беспокойтесь вы так. Вадим Петрович распорядился, мы и рады. До свидания, приезжайте еще. Или, — он прищурился, — прилетайте. Счастливо!

Родий почувствовал легкость и еще словно все его тело напитали незнакомой, неведомой доселе энергией. Так ему было хорошо, здорово, что он подскочил, схватил сумку, которой до того у него точно не было, и пошел к выходу. Уже у самых дверей он встретил котенка, очень напоминающего того, из страны Египет. Он на мгновение замялся, потом решил больше не искушать судьбу и толкнул дверь с красивыми ручками. И услышал, как вслед раздался слабый писк, и он даже различил слова: «До скорого, прилетай еще».

«Вот попал!» — думал Родий, идя по знакомой улице, на которой и находился его институт, мимо которого он прошел, не останавливаясь и даже решив, что какое-то время вообще туда не пойдет. «А, может, и совсем плюну. Есть дела поважней», — такую мысль осваивал испытатель, но только не знал, что делать с беседами умного и приятного Вадима Петровича. «А он, часом, не причастен ко всему этому? Вроде что-то такое говорил, смотрел как-то?» Но свои полусны, полувидения Родий хотя и запомнил, но не настолько,

чтобы отчетливо отделять каждую деталь. «Да, значит, и он повязан. Вот чудеса. Как же я теперь с ним говорить-то буду? Ну, если он видел меня там? Если и сам, значит, находился в тех же краях. Вот откуда он все про эту страну знает, да про ее обычаи и всякие там ее премудрости. Хх-а, тоже бывал, выходит? Ох, уж мне эти заумные граждане! Все снуют туда-сюда, все им дома не сидится. На худой конец, в своем институте. И что они все желают узнать? Как эта скелетная дамочка сказала, человек и мир? А что это значит, мир? Вокруг что ли который? Да кроме дерьма с остановками и нервными гражданами и нет ничего в этом мире! Колбаса, так ее теперь сколько хочешь. Давятся, давятся! А за все: за карьеру, за носки, за очередь на квартиру, за публикации, за реактивы, за все, ну буквально! И что им неймется? Человек! — саркастически повторил Родий, — и что вам этот человек? Только гребет все под себя, и зачем ему столько, даже и сказать не может. Надоели, ох, и надоели эти граждане. Думал, прознаю все про дух! Какой там! Выходит, что главный знаток духа тоже любитель попутешествовать по небесам и неведомым просторам. А еще о материальности рассуждал, обманщик. А, может, привиделось, и он в том числе? Да нет, очень уж запоминающийся вышел образ, не ошибся. И прищуривался еще, гад такой. Ну, погоди, встречу я тебя, попросишь ты у меня натрия с магнием, да платины кусочек! Фиг вам, господин хороший, не получите!»

Злые эти мысли несколько поуспокоили рассерженного испытателя, который и сам толком не знал, чего он хочет больше всего: знаний о мире или движет им простое наглое любопытство? Тоже мне, благородной идеей загорелся! А силенок-то хватит? И что этот дух, зачем он, с чем его едят, да и где может сгодится такое знание?

Мысли, одна злее другой, так и бежали следом за Родиём, когда тот, не глядя на родные ступеньки, соби-рался гордо прошествовать мимо здания. Но не тут-то было!

— Родий Мамонтович, что ж вы мимо нас? Стойте!
— Это был такой знакомый голос, что Родий слегка опешил: замедлил свое стремительно движение и невольно глянул в сторону кричавшего. Господи, это был все тот же, только что упомянутый в мыслях, Вадим Петрович.

«Ну, нелегкая, видать, решила меня повсюду сопровождать. Сладу никакого с ней. И чего прицепилась? Как убежать тут? Может, вид сделать, что не слышу?», — размышлял работник института, но его снова окликнули, и деваться было уже некуда: навстречу чуть ли не бежал к нему сам Вадим Петрович.

«То не дозовешься, то еле на здрастье твое отвечает, а тут бежит со всех ног. Что я ему дался-то?»

А запыхавшийся Вадим Петрович и впрямь, хватаясь за сердце, семенил к ответственному работнику подвала. Он бежал так, что Родий на секунду усомнился, все ли с ним в порядке, да и с самим научным заведением. Но глянув в сторону здания, ни пожара, ни еще чего-то страшного не обнаружил.

— Голубчик, ну и напугали же вы нас! Где вы ходите? Ни дома, ни на службе — нигде нет. Что случилось с вами, вы здоровы?

— А что такое? — живо поинтересовался прогульщик. — Кому это я понадобился так?

— Да волнуемся, и жена звонила. Три дня вас не было, а тут, смотрю, идете себе, да мимо нас. Не захворали?

— Да нет же! Что вы такое говорите?! Вот он я. Могу природой полюбоваться? Закатом солнца, к примеру?

— Можете. Только какой сейчас закат, когда полдень на дворе, я на обед бегу.

Вадим Петрович действительно жил неподалеку и исправно каждый день ходил к своей Зинаиде Игнатьевне на обед.

— Ну, так полдень, какая разница? Все равно — природа!

— Это вы верно заметили, — сказал, немного успокаиваясь, научный сотрудник. — Но все равно, как-то тре-

можно. Вы всегда такой обязательный, за столько лет ни одного пропуска. Нет, скрывать изволите что-то. Где были-то, раз здоровы? — хитро улыбнулся ученый и наклонился почти к самому уху Родия. — Ох, сдаётся мне, я кое-что знаю. Догадываюсь.

— О чем? — испуганно отодвинулся от него недавний пациент клиники. — Что вы такое говорите?

— А то и говорю, что мне кажется, я вас намедни видел!

— Намедни — это когда? Не понимаю.

— Ха-ха, не понимаете! А зря, зря вы так, дорогой мой. Ещё зайти хотели, поужинать вместе, обсудить наши проблемы...

— Про Египет что ли? — сморозил Родий и сам себя укорил за это.

— И про Египет, да не про только. Там много чего разного, согласны?

— Откуда мне знать-то? Не знаю я ничего! — отмахнулся Родий, на что ученый снова таинственным голосом сказал:

— А вот и неправда ваша! Многое, ох, многое вы уже знаете, не все обладают такой информацией. Вам крупно повезло!

— Да о чем вы? Что я такого знаю? Оставьте эти ваши тайны, мне не до этого теперь! — отшатнулся бывший пациент, но не тут-то было.

— Странно, очень странно вы себя ведете. Не следует так упираться. Лучше тихонько идите себе и обдумайте все.

— Нечего мне обдумывать.

— Это только дуракам нечего, а вы — далеко не дурак. Всего хорошего. Надеюсь, завтра увидимся. А, может, и сегодня. — И снова как-то странно глянул на Родия. Неприветливо так.

«И чего, спрашивается, бежал так? Себя надрывал? И что он знает? Ну что он во все суется? Пора завязывать с этой египетской душой. Со своей разобраться бы!» — подумал Родий, спеша к метро.

Уже на подходе к дому, у Родия неожиданно екну-

ло где-то в области сердца: не хотелось переступить порог, и все тут. Но делать нечего, войти надо было, как и объяснять потом, что произошло и куда он запропастился на целых три дня. «Ага, — подумал испытатель, — значит, три дня отсутствовал. А впечатлений, событий — словно месяц где-то шлялся».

Пока он сбрасывал свои штiblеты и в который уже раз сожалел, что так и не выбрался их починить, к нему подлетела его Серафима и звонко хрястнула по щеке. Она собралась и дальше бить по его хрупкой фигуре, но он ловко извернулся, как научился это делать за все годы и снова — неожиданно для себя и для супружницы — обнял ее. Она как-то сразу обмякла, не понимая, однако, что происходит, но бить перестала, а только жалобно спросила, что случилось. И он — надо же! — снова неожиданно для себя ответил:

— Не ори, Симуль, все будет хорошо! Ты какое там пальто все хотела? Ну, помнишь, говорила еще той весной? Так я, это, обязательно... В том смысле, что куплю.

С Симой чуть ли не сдался припадок, так она изумилась услышанному, но подобралась, выпрямилась и подтвердила:

— Хотела. Коричневое такое. С воротничком меховым. Кролик или кто-то. Не страшный такой.

— Вот и отлично, что не страшный. Значит, купим.

— Что с тобой, Родинька? Ты горюшь весь. У тебя, случаем, не бред?

— Да что ты всполошилась? Какой бред? Я здоров и полон сил. Чего и тебе желаю. Как, силы имеются? — хитро подмигнул он Серафиме, намекая на то, что между ними называлось «в силах или не в силах». — Я в силах! Поняла? Вот так, доложу тебе. А что улетел, то есть, отбыл в неизвестном направлении, так это надобность такая была. Задание, соображаешь?

— Родь, какое такое в наши дни задание? — тоже кокетливо, отвечая на его «в силах», ответила супружница, покручивая пуговицу на его пиджаке.

— А такое, милая моя! Сам не поверил бы, если б

чуть ли не всю Землю не облетел. Слышь, чуть не всю! Улавливай, это не всем выдается.

— Что ты такое мелешь, Родька, какую такую Землю? Видели тебя у нашего старого двора, и еще... Я тут целое расследование провела. Думала, что ты с этой, ну, с Риткой закрутил.

— Соображаешь? Где Ритка и где я?!

— А где она, где? — не унималась Серафима.

— Да черт ее и знает, где, — сказал супруг и чуть не подпрыгнул на месте от ужаса: такое имя произнес. Оно нынче и не имя даже, а пароль, можно сказать, позывные. Не приведи, Господи, как услышит! Чур-чур-чур!

— Ты что за глупости тут бормочешь? Так идем, если ты потерпишь не есть. Картошку твою любимую пожарила. На сале, — добавила Серафима, а сама все увлекала и увлекала мужа в дальнюю комнату. Ее так и называли — дальней, хотя, по сути, она была просто второй проходной комнаткой в десять метров. Именно там стояла здоровущая кровать величиной чуть ли не во всю ширь этой комнаты, и там-то предполагалось, что у Родия наконец-то найдутся силы. Она этих самых сил не видела давным-давно и даже позабыла, когда это он отваживался еще на силы эти. И еще думала, что все, кончилась его сильная мужская жизнь. Но пока она раздевалась и стаскивала с Родия незнакомую ей рубашку, и даже думая, что непременно надо будет спросить, откуда это такая обновка, ее муженек стал снова понурым и смотрел больше в сторону окна, чем на свою жену.

— Родь, ну ты что? Вспомнил что? Так потом, после расскажешь, давай, охорашивай меня.

Это тоже было одно из ее любимых словечек, которое действовало на супруга возбуждающе. Но тут пришлось потрудиться: она и ластилась, и гладила, и всячески демонстрировала свои прелести, изрядно пообвисшие, и на разные лады называла его, но дело сладилось с большим трудом, после чего Родий мгновенно уснул и дом огласил мощный храп.

Когда около шести утра Родий пробудился и пошел в ванную, то там с нескрываемым изумлением увидел в зеркале совсем новое, непривычное лицо. Он даже присел, слегка согнулся и принялся его разглядывать. На него смотрел совсем еще не старый мужчина, которому вот-вот должно было стукнуть пятьдесят, но дело было вовсе не в этом. Он вдруг обнаружил, что морщины, буквально таранившие его лоб, как-то поослабили свой натиск, а на щеках не было щетины. Наоборот, борода, которую он никогда не отпускал, неожиданно появилась и ровненьким клинышком легла на его подбородок. «Вот это чудеса! Не иначе, как происки египтян!» — заключил мужчина, все еще неотрывно разглядывающий себя в треснувшее зеркало. Он обвел взглядом свою ванную комнату и тоже ужаснулся: насколько же она была уродливой, с облупившимся потолком и кривыми стенами. «И как они только держатся?» — снова удивился хозяин квартиры и подумал, что и вся она, его двушка, представляет собой унылое зрелище. И что давно пора было приступить к ней с ремонтом.

Он снова глянул на себя и снова изумился: глаза, которые всегда ему казались карими, теперь отчего-то стали серого цвета, и однозначно трудно было сказать, чего же прибавилось, кроме бороды, конечно, и что стало лучше. Да и лучше ли? «Что на работе скажут? А вдруг и не заметят вовсе? Вот, Симка-то не заметила, ничего не сказала!» Так, уставившись и не отводя глаз нового цвета от своей персоны, Родий с ужасом заметил, как прямо на него в зеркало стал смотреть совсем и не он даже, а совсем другой мужчина, кого-то ему страшно напоминающий. «Уж не Васька ли это?» — снова с ужасом подумал Родий, но немедленно отогнал эту мысль. Однако она снова возвратилась, и снова на испытателя уставилось какое-то новое, не его вовсе лицо. И что самое страшное — так это то, что прямо в минуту, можно сказать, в одно мгновение, у него на лбу выросли два маленьких рога. Сереньких таких, небольших. Ужас!

«Да, ужас, ничего не скажешь!» — возопил про себя Родий, оглянувшись и увидел, как на него тоже с ужасом смотрит его суприужница.

— Боже мой, что это? — спросила она, прикрыв от страха рот рукой и вытаращив на мужа глаза.

— Не знаю, — был ответ.

— Как не знаешь, сволочь? Где тебя носило? И я еще, дура, приставала к нему!

— Да помолчи ты... Не до тебя.

— Ах, не до меня?! А до кого, гадина ты такая? До кого, говори!

— Да ни до кого, отстань!

— Нет уж, не отстану. Говори немедленно, что это, откуда? — и она потянулась, чтобы дотронуться до рогов.

И в ту же минуту, как она сделала движение, рога словно испарились, словно их и вовсе не было. Серафима отдернула руку, попяtilась, закрыла глаза и завошила.

— За что мне такое наказание, за что? Что я такого в жизни сделала, говори, что? Ирод, самый настоящий ирод. Всю жизнь только и мучил меня, только и издевался. Ни радости не видела, ничего. Одни глупости да завиральные идеи. То переезжаем, то «хочу в Египет», то этот гребаный институт со всеми склянками и неизвестной никому душой. Вздумал, видишь ли, душа ему понадобилась! И что она тебе? Зачем? Кому это вообще нужно? Дурак ты, вот ты кто, да и только! Да над тобой все смеются, ничего ты не добьешься, кроме этих обоев — она обвела рукой вокруг себя, словно показывая и убеждая, в какой мерзости они живут — вот все, что мы, по твоей милости, имеем. Вот ты кто! — и она со всей силы звезданула своего недавнего рогоносца по шее.

— Ты что? Больно же! С ума совсем своротила? Это не я, это ты мне всю жизнь загубила. Жил бы я в своем Николаеве, любил бы Ритулю, на балет ходил бы, а тут ты нарисовалась! Век бы тебя не видать! Москва, Москва! Что тебе эта Москва? Вот она — перед тобой!

А что ты с нее имеешь? Куда ходишь, с кем общаешься? Кто к нам приходит?

— Да кому мы нужны? Как тебя увидят, все и бегут!

— Нет уж, это кто тебя увидит, так и сбегает. Эх ты, дура ты, Симка, скажу я тебе. Ничего-то ты не знаешь! Вот где, по-твоему, я, к примеру, был? А ведь ни за что не угадаешь.

— Ага! Был! В Египте, небось.

— Точно! Откуда тебе известно? Ну, ты и баба! Ладно, не дури, два десятка прожили, что уж тут поделаешь? Ну на, хрястни, если хочешь, я не против. Бей! Да бей же, говорю тебе! — и Родий схватил руку суприужницы, чтобы приложиться к своей шее. Однако она дернулась, изогнулась, да как прыгнет! Прямо на газовую плиту, которая, по счастью, не была зажжена. И как завопит: «Урод! Юродивый! Жила бы себе и жила, явился на мою голову! Чтoб тебе в аду гореть, чтoб рога твои так и торчали!» — И с этими криками она вдруг сделалась такой тоненькой, почти неузнаваемой фигуркой, прямо-таки кукольной. Потом очень скоро стала на глазах растворяться, от нее пошел даже дымок, что-то такое серое и с приятным запахом, как ни странно, а потом ее и совсем не стало. Ну, то есть вообще!

«Чудеса! Что это такое творится? Жил себе и жил, и вот на тебе, такие напасти! То Васька, то эта теперь... Что делается?!» Размышляя так, Родий отодвинулся от плиты, вышел из кухни, где происходила вся сцена, и схватился за голову. Но нет, рогов или там еще чего-то непривычного, не было! Пусто было!

«А что, если она и вовсе... ну, того, испарилась? Эх, вот бы повезло! Нашел бы, непременно нашел бы Ритулю, если что, и отбил бы ее, если надо, а потом... потом женился. Да, женился. А что? Что я, хуже других что ли? Может, и про душу все узнал бы? А если и не узнал бы, то и не надо, сама Рита на ее место и встала бы. Э-эх!»

Во время своего монолога, который Родий произносил про себя, он заметил, что в комнате сделалось что-

то не так. По крайней мере, он сначала учуял незнакомый запах, затем присутствие какого-то третьего лица и резко обернулся. На него смотрела ничего не выражающая физиономия Васьки. «Черт!» — только и успел подумать мужчина.

А между тем именно Васька постарался, чтобы возникшие таинственным образом рога у Родия так скоро исчезли; именно он, Василий, сумел и зажечь искру между супругами и вконец погасить ее. Наконец, именно он, черт Вася загнал супружницу друга детства на плиту. Зачем, спрашивается? А ответ прост: все для того, чтобы как можно больше, шире и круче раскрутить внутренности приятеля. Не желудка с мозгом, конечно, а что-то такое, что составляет энергию души, ее движение, поиск ее и рост. Куда двигалась душа Родия, да и была ли в ней та ширь, которая могла раздвигаться, множиться, расти, трудно сказать. Но ведь стремился же он к ее поиску хотя бы, делал же какие-то, хоть и примитивные шаги. Значит, что-то такое было!

Но все же, справедливости ради, стоит заметить, что душонка эта была у Родия хлипкая и нестойкая, словно так и прожила чуть ли не полста лет на сквозняке.

А обладатель ее хотел другого: чтобы и познать ее, и изменить, и взрастить до чего-то такого хорошего и доброго, что названия этому так и не находилось в его лексиконе. В его, скорей всего, понимании жизни. Одно он знал твердо: не сделай он тогда, давно, в юности еще ошибочки, не брось свою мечту о Жизели-Рите, все могло сложиться по-другому. Изменил! — вот в чем дело. Да и тут — как рассудить: кем бы он стал при ней, при балерине своей? Только зрителем, любителем балета? Никем, что ли? Нет, выходило иначе: останься он при Жизели, сама жизнь засветилась бы. Как на сцене софитами, с двух сторон, а, может, и побольше, чем с двух. Но вот ведь — не вышло! И кто виноват? Выходит, что сам, некого тут в обвинители записывать. И где она теперь? Вот разыскать бы! А что, если...

На этой душераздирающей ноте его и остановил друг Васька, предложив сыграть в игру.

**Вы нас как падших ангелов браните,
А между тем сознаться б вы должны,
Что сами вы прямые колдуны:
Вы и мужчин и женщин соблазните!**

— Давай, — говорит Васька, — поменяемся. Ну, ты будешь мной, а я за тебя на работу твою ходить буду. Прямая выгода, скажу я тебе.

— В чем же тут выгода?

— Тугодум, как есть, тугодум. Во-первых, ты будешь — на время, конечно, — делать все, что тебе заблагорассудится. Ты можешь быть, кем хочешь, лететь, куда ноги понесут, воплощаться в кого угодно. И, заметь — в любое место нашей матушки Земли попадать. Да и не только ее одной. Словом, — хитро подмигнул Васька, — все то, что с тобой недавно приключилось, может дойти до пределов, тебе неведомых. Пока ты так, просто попробовал. А вот захочешь, к примеру, на Ниагарский водопад — получайте! Придет тебе мысль повернуть его воды в обратном направлении — извольте; печешься ты о своей старой зазнобе, которую вдруг вспоминать стал, — нате вам, вот и встреча. Да что я за тебя тут фантазирую? Небось, сам мастак на всякие выкрутасы! Я это уже давно заметил. Так как, идет?

— А тебе это зачем? На мою, скажем, хилую работу ходить? Чего ты-то там не видал?

— А-а, нет, не все так просто. Я хоть и могу черт-те что, но все же это так, фокусы, можно сказать. А мне хочется пожить твоей жизнью, твоими мыслишками попитаться, по фантазиям пробежаться. В твоей шкуре — это совсем другое дело! Перевоплощение! За одним этим сдохнуть можно. Но... сдыхать не надо, а надо попытаться взять от жизни все!

— А мне, может, ничего и не надо? — сказал неуверенно Родий.

— Вот именно — «может»! А надо без этого «может». Надо всегда точно знать, чего хочешь, зачем, кому насолить собираешься и все такое. Улавливаешь?

— Ох, Васька, плохой ты.

— Угу, ты у нас больно хороший. Кому ты за последние лет сто что хорошенького сделал? Пробирки достал, всякой там отравы реактивной? Так как иначе было? — это твоя работенка, не я тебе ее выбирал. Вот и крутился ты, как мог. Бывало, хорошо крутился, даже бедного Вадим Петровича надувал. Да-да, не пьялся, знаю я. Но он не так прост, как ты думаешь. Тоже, из наших будет.

— Из каких из ваших? — спрашивал Родий, а сам припоминал недавнюю встречу с ученым и его взгляд, в котором прыгающих бесов не заметить было невозможно.

— Да, все, кто имеет дело с переходами металлов, с атомами, с разными их воплощениями, — все они из наших. Еще древние говорили, чтоб не нарушались три вещи: чтоб в космос не лезли, чтоб атомом не занимались, ну, а третье...

— Что, что третье?

— Забыл. Напрочь забыл. Может, потом вспомню.

— Хитер, ну и хитер же ты, Васька. А я ведь ничего не знаю о тебе. Кто ты, что ты... Нет, что черт — знаю; черт он и есть черт. Но как ты жил, что делал, где учился? Любил, может, кого?

Тут раздался неподдельно веселый смех Васьки, который никак не мог остановиться и все повторял «учился, любил».

— Да мне по должности этого ничего нельзя, — наконец остановился плут и даже промокнул глаза. — Ты еще не знаешь, что я за фигура!

— Так откройся, скажи.

— Это еще заслужить надо. «Откройся!» Не все так просто, дорогой мой. Не все.

— А есть ли что простое и ясное? Ну, там любовь, счастье?

Васька подскочил к Родию, потрогал его лоб, хмыкнул и, довольный, сказал.

— Есть, если тебя это так интересует. Есть, сам видел, сам знаю.

— Но не испытал же, нет?

— Да на кой ляд мне это нужно? Я что, человек что ли? Это вы, глупцы, все за химерами охотитесь. То им счастье подавай, то душу отыщи. Нет этого ничего, запомни! Нет, и хватит сохнуть по разным глупостям.

— Врешь! Ох, врешь, Васька! Сам, небось, не прочь был бы влюбиться. Скажи?

— Тьфу! И влюблялся, и даже женат был, чуть мальчика не заделали. Но все это — бредни, происки сатаны, говорю тебе, ничего этого нет. Разве сам ты, агнец наш дорогой, по правилам жизни живешь? Все по чести? Не ловчишь, жену любишь, заначки не затырываешь? А? То-то!!!

— Да в чем эти правила, сам-то знаешь или только так, провоцируешь больше? Где они, правила?

— Вот и я, Родинька, то же самое говорю. Нет их, правил. Все шерстят, все свирепствуют, все лгут и прелюбодействуют. Но при этом, при этом, заметь, все хотят остаться хорошенькими, выглядеть как пионеры. Не самим чтоб честь отдавать, а чтоб им отдавали. Кто чем — взятками, девочками, побрякушками, бутылками. Но более всего, разумеется, денежками. Без них в вашем к матери мире — никуда. Пропадешь!

— Вась, ну а сам ты, сам как живешь? Тебе не осточертело так выхлестываться, так на чужое западать, козни строить? Согласен, никакой я не ангел. Говно и то лучше пахнет. Но я же не уродую никому жизнь, да и взятки — ты что, Вась, окстись, — не беру.

— Да кто их тебе даст-то, взятки? Да и на что? Ты разве по размаху живешь, так, как душа твоя просит, как в детстве мальцом мечтал, по радости томился? Вьючное ты животное и больше ничего! Никакой ты не человек высокого рода.

— А назови мне, предствь высокого. Ну, рода. Да и есть ли таковые?

— Представь себе, — почему-то запечалился Васька, — есть. И к ним не подберешься. Это тебя, бедолагу, можно было легко скрутить. А их...их на понт не возьмешь.

— Ну кто это, Ленин что ли?

— Какой Ленин? Дурак ты! Ну, беспробудный, можно сказать. Ленин! Там только ставки круче были.

— Понятно, стало быть, нищие, бомжи разные.

— Ближе уже, но и они не люди, почти нелюди. Ясно?

— Но не теми, кто же это?

— А ты и знаешь одного такого...

— Ага, попался, значит, не все дегтем мазано, не весь мир? Попадают отдельные личности?

— В основном это поэты. Кому до жизни настоящей никакого дела нет. Придумали себе свой мир и торчат там. И на разные лады его пропевают. Или пропивают, у кого как. Они живут в катастрофе, у них что ни день — трагедия. Но и они — такие хитрецы, что за своей вроде драмой, все равно свет видят. Этим и питаются. В смысле светом. Иной раз он реденький, только поблескивает, они сразу лапки на полку и давай помирать. Бывает, что радость у них от какой-то глупости такая, что как стахановец в тридцатые годы, готовы такого наворотить! И пилят, и строят, и по чиновникам мытарятся, и столбы со светом нет-нет, да устанавливают. Все могут, ну, все! Одна беда — не надолго эта блажь у них. Потом снова катастрофа, упадок, к уходу из жизни готовятся. Почти всю жизнь и готовятся. Но вот они и есть, можно сказать, почти люди. Но не из людского числа. Даже взятку, к примеру, за светоточку могут не дать, а на высшие темы говорить, пробуждать к лучшему и высокому. Ну, чиновник видит — шизик перед ним, себе дорожке тягаться с таким и, как ни странно, подписывает. Лишь бы от укоров совести освободиться, представляешь?

— Выходит, лучше всего юродивым?

— Не то что лучше, они просто мир этот меньше пакостят. От виршей их беды большой нет, а так — пусть себе мечтают, даже весело.

— А ты и их... ну, того, смущаешь? Лезешь к ним?

— А как же? Святое дело — тьфу-тьфу! К ним — одна сплошная радость. Не обругают, не пошлют, все спишут на превратности человеческой судьбы, природы, высших сил и собственной непригодности.

Если б не они, давно бы вам сдохнуть. Нет, правда, не выжили бы. Вы — все по правде. А они — по вере и мечте. Улавливаешь разницу?

Родий почему-то опустил голову понуро, замолчал.

— Что, брат, не нравится? Правда, говорю, не нравится?

— Да черт совсем с твоей правдой! Пристал, тоже мне!

— А вот это нехорошо, это очень даже некрасиво поминать мое имя вот так, запросто! Ты его побереги-то, пригодится еще. Еще сам в мою шкуру влезешь, узнаешь, каково там. И обижают, и посылают, никакого вдохновения, творчества! Сами и создают условия, чтобы им гадить, да спицы вставлять во все места.

— Ты что же, хочешь сказать, что люди сделали твою жизнь несносной? Не ты им, а они тебе?

— Вот именно! Да! — оживился Васька. Хорошо, что ты меня понимаешь. Это говорит о том, что сработаемся, а, может, и...

— Что, говори!

— А, может, и мир этот слегка встряхнем? Надоело уже корпеть в грязи и вони. Хочется света и чистоты. Можешь понять? Как там твоя Жизель, думаешь еще о ней? Молчи, знаю я все. Найдешь, если сильно упреешься. А вообще...

— Что, что?

— А вообще, на кой это тебе? Уже под полтинник, какая Жизель, какие тапочки?

— Ничего ты, черт лысый, не понял в жизни, хоть и сто лет толкаешься по свету.

— А-а, ты про мечту, небось? И живи с ней, ради всего... ради всего хорошего, так даже и лучше. Знаешь, всякое осуществление — это разочарование. Ты же знаешь. Давно сам нашел бы ее, но думаешь, зачем? А вдруг?... И все такое прочее. Боишься, одним словом.

Помолчали, Васька даже голову почесал, за уши себя подергал, а потом попить попросил. Так это Родию не

понравилось, но что было делать? Подумал, что плюнет, да и выбросит ту чашку совсем.

— Глупости, не заразный я, в вас паразитов больше, чем во всей нашей родне.

— А много вас вообще-то? — поинтересовался Родий.

— Хватает. Пока нечего об этом, и так много чего сказано. Лучше готовься. — Он подошел совсем вплотную к Родию и неожиданно произнес: «Из тебя, может, еще не поздно что-то толковое сочинить. Посмотрим». Сказал и испарился.

Родий тупо смотрел прямо перед собой и никак не мог сообразить, что это было: действительно ли с ним только что говорил сам черт, или все это было плодом его больного воображения.

«Выходит, что, — спрашивал он сам себя, — и Египет, и больничка, и счастливое исчезновение Серафимы — все это происки Васьки, не более? А как же мои собственные фантазии, способность к...», — тут он запнулся, так как не знал, способностью к чему можно было назвать все то, что с ним приключилось в последнее время. А действительно, к чему? И какова его собственная роль во всем этом? Он что, только инструмент и не больше? А как же индивидуальность, вера в чудеса и прочее? Есть это или... Снова «или». Выходит, что сам ты ни черта и не значишь, так только — шурупчик, да и только. А приходит какой-то там черт и способен вытворять такое! А, может, не стоит ему верить? Ну, правда: и больничка, и Египет — все это могло быть и без Васьки. Разве нет? А с чьей тогда помощью? Ну, скажем, спал, увидел во сне, побывал там-то и там-то. Не-ет, не сходится что-то. Ведь реально же котенок вывел, было же, было! Реально мумия говорила, да наставления еще давала. Было ведь! Что, все это Василий сотворил? Черт-те что!!!

Родий провел рукой по плите, увидел, как она загажена, какие на ней многомесячные наросты от их нескучной пищи, которую все таскала и таскала его супружница. И они все ели ее и ели, забывая при этом, что существует чистота и приятный запах. Родий потя-

нул носом и ужаснулся: из всех щелей его жилища тянуло чем-то несвежим, затхлым и уж никак не способствующим отдохновению и радости. Какая тут может быть радость? Как солдат: туда — сюда; съел-выбросил, уснул-встал. Даже сны, и те Родию не снились. Какой уж там Египет во снах?! Нет, не приснился он ему, тут что-то другое.

Родий медленно прошел в комнату, огляделся, словно видел ее впервые, и его осенило: а что, если он, только и исключительно он, обладает таким невероятным свойством, как перемещение в пространстве, полеты, встречи с запредельным? Что, если это действительно именно так? Может, сам того не ведая, Родий получил почему-то такое право и возможность? Но за что, за какие такие заслуги перед миром и небом?

А что, если не измерять все это заслугами, а просто поверить, что чудеса возможны и что они случаются и даже с таким, как он, Родий? Ах, эта бесконечная вера в чудесное и сама потребность в нем! Что с этим поделаешь? Хочется Египта, хочется в шикарную больничку, хочется... Да много чего хочется!

Может, как раз он, Родий, из того малого числа небожителей, которым позволено больше других, а скорей всего, и невероятно много? Разве не может такого быть? Ну почему? И при чем тут этот нехристь Васька? Как, как от него избавиться?

Он глянул на себя в зеркало и вдруг снова увидел на своей голове подобие неких шишечек. Маленьких таких, изящных. Провел руками и ужаснулся: они действительно были, и Родий вспомнил, о чем только что говорил его приятель: о том, чтобы поменяться местами. Поиграть, так сказать. Что, началось что ли?

Это что ж получается: можно и на службу не ходить? А что подумают? Как потом-то быть? Ведь до пенсии еще ого-го! Не схлопотать бы чего! А, может, так сделается, что и этого не заметят? И что, все возможно, все позволено? И костюм, наконец, и штиблеты, и санаторий у моря? Э-эх, была — не была, начнем, пожалуй! Куда сперва-то отправиться? А что, если

прямо к морю? До чего эта слякоть вечная осточертела! А там!..

Едва Родий успел додумать, что «там», как неведомая сила подхватила его и понесла. И летел он с такой скоростью, так прощмыгивал мимо разных там городов и железнодорожных путей, мимо кладбищ и лесов, что оглянуться не успел, как врезался в шершавый песок, горячий и сыпучий.

Он плюхнулся, мигом сбросил свои мерзкие сандалии, затем пиджак и ткнулся носом в песок. Бывает же на свете счастье! Вот оно, желтое и горячее, все под руками.

Через несколько минут он поднял, наконец, голову и заметил, что на него пристально смотрит крашеная блондинка в желтом купальнике. Она смотрела так прямо и неотрывно, что создавалось впечатление, будто она вот-вот спросит его, который час или как дела дома. Всем своим видом она давала понять, что смотрит она не просто так, а что между ними кое-что есть. Так, во всяком случае, можно было расценить этот взгляд.

Родий завис на нем, затем слегка шевельнулся, опять же потрогал свою голову, убедился, что на ней ровным счетом ничего нет, даже несчастной кепки какой-нибудь, а потом неожиданно для самого себя спросил: «Вы что-то сказать хотели?» Незнакомка улыбнулась, сладко потянулась, поиграла песочком, не говоря пока ни слова, а потом и вовсе отвернулась. «Ну и дела!» — выдохнул про себя приземлившийся на песок мужчина, однако, знакомка в тот же момент произнесла: «И чего людям дома не сидится? Все едут и едут. Можно подумать, что здесь меда больше, чем песка», — и на этих словах она снова посыпала песочек вокруг себя, словно сооружая некое подобие стены или барьера. И Родий осмелел.

— Сами-то что же изволили прибыть? — спросил он витиевато и, как ему казалось, очень мудрено.

— «Сами», — передразнила блондинка. — Сами тут-

то и проживают, ехать больше некуда, — уже совсем недружелюбным тоном отозвалась молодая женщина.

Поскольку сидела она по-прежнему спиной к Родию, он успел заметить, что спина у нее ровная, без нависших шмотков жира, как у его Симки, и что прическа с белыми кудрями ей явно к лицу. Разве мог он понять, что пергидроль давно уже сделал свое дело и волосы у блондинки еле-еле расчесываются, такие спутанные и ломкие они стали от этих красок.

— А вы возьмите, да и слетайте куда-нибудь, — храбро предложил Родий, явно намекая на свою причастность к подобного рода путешествиям.

— К мумиям что ли? — издевательски произнесла женщина, по-прежнему не оборачиваясь к соседу.

— Можно и к ним.

Она оглянулась и всмотрелась в его лицо. Он тоже напряженно вглядывался в ее глаза, стараясь вспомнить, где именно видел эту особу. Но ничего не вспомнив, вздохнул и подтвердил:

— Да, можно и к мумиям. У них не соскучишься.

— Здесь же тоска, и что вы к нам все едете и едете?

— Тоска — она и в Египте тоска. Нужно уметь от нее отходить, откальваться, так сказать. Миг тоски ничуть не хуже, чем тот же миг радости, — проговорил Родий, не узнавая сам себя, от чего слегка сделался красным, а потом и вовсе вспотел.

— Нет, дорогой мой, — нагло заявила блондинка, — тоска — она тоска и есть. А здесь ее — вон, целое море. Хлебай — не хочу.

Причем говорила она все это, по-прежнему не обращаясь к Родию, а только так, изредка вскидывая на него свои зеленые глаза, чем все так же заставляла мучиться воспоминаниями: где он мог и при каких обстоятельствах видеть эту дамочку?

Неожиданно она развернулась, блеснула зеленым глазом и хитро спросила: «А в больничке мы с вами не встречались? Я еще супчик хороший вам подала. Да и салатик тоже. Может, ошиблась?»

— Наверное, ошиблись, не был я ни в какой боль-

ничке, — сказал Родий, а сам подумал, что вот и начались происки Васьки. Стало быть, уже поменялись. Ну, всем, чем можно.

— Ох, и врите! Память у меня — о-ох! Пиджачок вот ваш помню, башмаки эти, — она брезгливо поморщилась. — Пора бы и сменить, на курорт все же прибыли. Так как, отпираться будете или...

— Вы меня путаете, а на ваш курорт я прибыл случайно, у меня еще и номера нет.

— Это понятно, какой там номер!

— А что вам понятно?

— Да все! — выпалила дамочка, совсем не похожая на давешнюю Жизель. Та была настоящая балерина, а эта просто крашенная вобла с голой спиной.

И Родий решил не общаться, не отвечать на вопросы, и сам их не задавать. Однако не тут-то было. Дамочка была явно не из пугливых и деликатных и решила продолжить вяло текущую беседу.

— Сдается мне, вы упрямец еще тот. Но ничего, скоро заговорите. Так что, негде остановиться? Ко мне пойдем, у меня — как в Греции — есть все! — И с этими словами она снова глянула на Родия, но уже не так зло, а словно испытывая его, затем встала, отряхнула песок с колен и стала облачаться в халатик, который лежал тут же.

«Ну, и bestия! — подумал Родий, и дама тут же засмеялась, словно услышала его и даже погрозила пальчиком: «Шалить изволите?» А Родий снова решил, что она bestия.

— Никакая я не bestия, — нагло заявила крашенная дамочка, и Родий чуть ли не упал снова на песок, с которого успел подняться.

— А кто же вы?

— Я? Сами знаете, — сказала bestия и почему-то привычно уже погрозила пальчиком.

— Черт-те что! — только и мог воскликнуть Родий, не зная, что его ждет дальше.

— А дальше... дальше все будет хорошо, — по-прежнему словно читая его мысли, произнесла блондин-

ка. — И номер, то есть комната, у вас будет, и вид самый лучший. В смысле на море и ваш собственный. Да что там говорить, считайте — крупно повезло! Как, идете, или шнурки завязывать будете?

— Нету у меня никаких шнурков, — вспыхнул прилетевший на море мужчина и с ужасом подумал, что какая-то сила втягивает его в неведомые игры, что неизвестно, кто он на самом деле и что будет дальше. И опять подумал, что Васькины номера — дело нешуточное. И что все только впереди.

Он наконец окончательно извлек себя из песка, стараясь отряхнуть все, что на нем налипло, и при этом успевал потрясти головой, как бы желая удостовериться: нет ли там мерзких рогов, неизвестно и зачем появившихся на его голове и исчезающих так же внезапно. Рогов и впрямь не было, а было море, которое шумело, плескалось, нежилось на солнышке, и песок был все так же желт, горяч и колюч.

Родий успел отметить, что отдыхающих почему-то совсем немного, так, всего два-три человека, не больше, и то расположились они все в сторонке от того места, где находился мужчина, только что прилетевший из Москвы.

«Куда они все подевались? Почему их так мало в самый разгар лета? Солнце, конечно, не в пример московскому, но и там тепло, даже очень. Он почему-то с грустью вспомнил свой город, много раз и по делу руганный им, свой институт, в который бегал каждый день вот уже почти двадцать лет, свою халупень, где проживал с супругой Серафимой и которая так внезапно испарилась. «Вот ведь, даже не знает, где я теперь. Ладно, хоть отдохну от нее. Может, и правда, все к лучшему?» — задал сам себе вопрос испытатель, но ответа не вышло, так как его мужчина попросту не знал.

Дама небрежно поправила свой сарафан, взяла сумку, почему-то очень большую, в которую так ничего и не положила, а только проверила, закрыта ли она, и задала вопрос.

— Интересно, что теперь в Москве?

— В каком смысле?

— Ну там... тепло или как?

— А вы давно там были?

Дама хмыкнула и бросила:

— Да тогда же, когда и вы. Что, забыли что ли?

— А что я помнить должен?

— Что-о? Ой, не знаю, ой, многое.

— Вы меня интригуете.

— А как же, как иначе? У вас вот память поотшибало. А я помнить за вас должна. Вы суп ели? Вкусный был?

— А при чем тут суп, что вы к этому супу прицепились?

— При том! — неопределенно ответила блондинка и уверенно пошла по тропинке, ведущей в город.

— Знаете, я, пожалуй, останусь, осмотрюсь, что-то не хочется никуда идти, — заартачился мужчина.

— Еще чего! Не пойдет он! А куда вам деваться, уважаемый? Что вы без меня делать будете?

— Что значит — без вас?

— А то и значит, что без меня вам ни купаться, ни плавать, ни... ни или не, впрочем, наплевать. Вперед, мой чертовски привлекательный мужчинка!

Родий расправил плечики, осмотрел свой прикид и решил, что не так уж все плохо, что есть еще шансы. На что — он, правда, не уточнял, только почему-то чувство уверенности и какого-то внутреннего покоя вдруг окутало его, подхватило и понесло. Он выскочил на тропинку впереди своей проводницы и пошел так уверенно, словно многие годы жил в этом городе, названия которому до сих пор не знал.

— А правда, этот город, — думал он, как бы так спросить о главном, чтобы не вызвать ее лишних вопросов. — Этот город — он как, очень большой? Какие тут достопримечательности? А граждане, любят ли сюда ездить? Почему-то на пляже их было раз-два и обчелся.

— Вот именно, обчелся. Все на работе. Работают граждане, неужели понять трудно?

— Так лето же, какая работа?

— Кому лето, а у кого и осень. В Москве что, забыли разве, какая погода?

— Да нет, помню. А вы-то откуда знаете?

— Я все знаю. Или почти, — подумав, уточнила спутница Родия, шедшая позади него, и, по всей видимости, уже очень утомившаяся.

«Приперся! Делать было нечего! Сидел бы сейчас с Вадим Петровичем и слушал про человеческие души. Про такое, что знает только он один. И свалился на мою голову этот черт!» — успел посокрушаться Родий, и в ту же секунду его больно ущипнули сзади: «Чего разнылся? Давай, бери от жизни все! Потом еще пожалеешь. Душу ему надо! А где она была у тебя, когда институтское добро тырил? Или когда волочился за Тamarкой, лаборанткой твоего Петровича? Душу он захотел! Сперва пойми другое, потом, может, и к ней приступишься!» Таков был жесткий вердикт вездесущего Васьки, который и здесь изловчился проникнуть сквозь все слои пространства воды и суши и сказать свое словцо. Ничего не попишешь, может, так отстанет? А вообще-то он прав: разве не интересно познать мир, людей, в конце концов, с другой стороны?

Когда они вышли на какую-то улицу, а затем повернули еще на следующую, то в скором времени оказались на площади, судя по всему, была которая самым центром города. И стало понятно, куда подевался народ с пляжа. Здесь, на довольно внушительном плацу был раскинут шатер, на манер циркового, вокруг висели плакаты, стояли рекламные щиты, а со всех сторон все это благолепие окружали люди. Их было такое количество, что Родий усомнился: как это они все помещаются в таком небольшом городке?

И в ту же секунду его прорвало: он растолкал граждан, проник в самую сердцевину циркового пространства и, вспомнив, кто он на данный момент есть, громко заявил: «Граждане, с каждого по пятьдесят рублей. Иначе за эту проволку не выйти. Слышите? У кого есть больше — милости просим, берем и по сто! У кого всего тридцать, просьба исполнить самостоятельный номер.

В смысле, спеть или станцевать. Понятно излагаю? Готовьте ваши купюры, помощники начнут вас обходить».

И действительно, откуда-то появились два молодца крепкого телосложения с коробочками из-под обуви и стали обходить стоящих. Люди реагировали кто как мог. Кто стал возмущаться, и ропот пробежал по рядам; кто — засмеялся и тут же стал вынимать деньги; кто тут же стал напевать, решив съэкономить, выступив на площади города в качестве артиста. Словом, движение граждан началось весьма активное, и Родий-черт руководил всем этим процессом. Коробки, полные купюр, ему вручили лично, а кто-то уже стоял на середине, и баянист подбирал мелодию под куплеты, которые распевал новоявленный артист. Оживление на площади достигло своего апогея в тот момент, когда неожиданно из-за занавески темно-вишневого цвета с какими-то драконами и змеями вдруг выскочил непонятного вида зверек, очень похожий на тигренка, но только пицавший как кошка. Сразу стало ясно, что угрозы от выбежавшего зверя не последует, а что он — только часть какого-то смешного представления, которое так неожиданно и празднично вдруг началось на середине площади.

До этого люди просто стояли и глядели, надеясь хоть увидеть каких-нибудь артистов. А тут — такая везуха: прямо сразу, без всяких там билетов и залов, — спектакль. Да еще с участием самих же зрителей. Это нашло отклик в сердцах затосковавших граждан, все галдели, площадь превратилась в гудящий улей, в центре которого сначала скакал непонятный зверь, взобравшийся по канату на самую верхотуру шатра, а затем и на столб с проводами. Там он утомился, наконец, и стал наблюдать за происходящим отсюда.

Самое удивительное, что спутница Родия, мгновенно откликнувшаяся на ситуацию, тут же вписалась в происходящее, оценила план мужчины и вылетела на самую середину в ослепительно белом наряде, наверное, завалывшемся в ее необъятной сумке. Но что поразило еще больше, так это то, что она проявила себя

как самая настоящая гимнастка, в одну секунду взлетевшая на каких-то проволках прямо в высоту, и остановилась только тогда, когда зверь, которого народ тут же окрестил Пушей, протянул ей лапу и увлек на дерево рядом с собой.

Дальше происходило вообще что-то непередаваемое. На середину высыпали звери и в таком количестве, что народ сначала попятился, потом, осознав, что опасности не будет, притормозил и стал с восторгом наблюдать за представлением. Родий только успевал объявлять, кто выступает, с каким номером и как его зовут. Потом всем стало ясно, что это лишние хлопоты и никому нет дела, кто перед ними и как его имя. Поэтому номера следовали один за другим, мощь и энергия их были такой силы, что само небо засветилось непонятным сиреневым светом. Действительно, что-то там, рядом с солнцем засияло, забрызгало, даже и звуки стали издаваться какие-то, и все окончательно поняли, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Но это и увлекало, и радовало!

Родий вылез с трудом из плотного окружения людей, неся под мышкой большую коробку с деньгами. Вторую, которая была тоже наполнена, он почему-то оставил у входа в шатер, и сам не смог бы объяснить, зачем он это сделал. Как-то не по-человечески, что ли. «Ладно, черт с ним со всем», — думал Родий, оглядываясь и силясь увидеть свою новую знакомую. А на душе было так хорошо, что он и не смог бы вспомнить, когда это с ним подобное случалось. Все всегда было либо плохо, либо никак, серенько. И выходило, что и жил он, как серенькая мышка, тихо и незаметно. Все только мечтал о чем-то таком, о чем другие грамотные люди перестают размышлять еще в школе, точно понимая, где душа, а где плоть, и что одно с другим путать не стоит. А он все стрался докопаться до таких тайников, где были бы спрятаны все ответы на мучающие вопросы, где гнездилась бы такая правда-матка, что, наконец, само солнце стало бы светить иначе: ярче и приветливее, а небо сделалось доступнее и светлее. И всегда

оставалось таким. Не как в этой вечно мокнущей Москве! И он взял, да и оставил и вторую коробку с деньгами прямо посреди дороги. Пусть кто-то порадуется, найдет!

«А что, если переехать? Убраться, скажем, в маленький городок, где ни одна собака о тебе не слышала. Купить дом с садом, завести собаку, можно и кошку, еще даже кого-нибудь, но кого угодно, кроме, разумеется, Серафимы». Она в этот его пейзаж счастья не вписывалась никоим образом. Э-эх, ну и жизнь! Ну почему нельзя в этой жизни жить так, как хочется? И что это за свобода такая, когда каждый день только и думаешь, что надо сделать, во сколько и... А вот действительно, зачем и почему — эти вопросы посещали реже всего. Именно сделать, именно успеть, но никаких там мотиваций, как теперь говорят. Кому, на фиг, все это нужно?! И на черта?!

Шел таким образом Родий со своей ношей и рассуждал о жизни, обязательствах и свободе, которую никогда, наверное, не сможет испытать в полной мере. «Вот, сейчас, когда я могу все, что угодно, все равно думаю о работе, как там Вадим Петрович, как мои реактивы, что с подвалом, не хватились ли меня? Да и Серафима тоже. Куда она так внезапно подевалась? Что вообще будет из всей этой затеи? Выходит, мысли, эти поганые червяки, так и скребнутся, так и не дают покоя, все норовят протиснуться в твою башку. Нет на свете той свободы, о которой мечтаешь и которая снится тебе, нет и быть не может. Ее попросту нет! И откуда ей взяться, если свобода эта постоянно фиксируется на замок, закрепляется разумом или чем-то таким еще, что к самой свободе не имеет ни малейшего отношения. Кабала! Сплошная кабала! Вот сейчас, к примеру, могу и город поджечь, и наводнение устроить. А только зачем? Что из всего этого последует? Ну, победит народ, крику не оберешься. А дальше? Или еще. Полечу на Ниагару, все переверошу, вода назад всколыхнется, станет вспять подыматься. А вопрос — зачем? Чтобы силищу свою дурную измерить? Нет, прав-

да, что бы такое сотворить, чтобы запомнить себя в образе, не на всю жизнь который дается? Ну что??? Раздать денег, снабдить продуктами, шмотками, квартирами? Так это обман, все в скором времени откроется, вернется назад, а народ только в искушении встретится, приблизиться к чему-то такому заповедному, что сам себе не рад будет. А потом что — труба?! Нет, пожалуй. Ни черта моя фантазия не работает. Что сделать, кому сделать, на кой ляд это нужно?»

Так, размышляя и злясь на самого себя, Родий подошел к какому-то домику, который стоял как-то очень особнячком от всех остальных. И садик был при нем, и заборчик, и весь он был такой нарядный, что захотелось немедленно проникнуть внутрь. Только он так подумал, как сразу в прихожей и очутился. Спросил хозяев, никто не откликнулся. Позвал снова, вышла собака и встала, помахивая хвостом и глядя на вошедшего. Однако не лаяла, а только приветливо смотрела. Именно приветливо, отметил Родий. «Что, друг любезный, где твое начальство? Куда подевалось?» Собака помолчала, потом сдвинулась с места и направилась в комнату, но таким образом, чтобы и гость последовал за ней. Оглядывалась, махала хвостом, даже, как показалось Родию, улыбнулась.

В комнате был порядок. Но такой, от которого слегка тошнило. Все стояло по местам и не было ни малейшего изъяна, нарушения в неукоснительности этого стопроцентного чистоплюйства. Нигде ничто не выпирало, скатерть не свешивалась, ваза — строго по середине стола, стулья — в обличку и на равном расстоянии. Не жилище, а какой-то музейный выставочный зал. Хотя ничего дорогого и музейного по-настоящему в доме не было. Просто какая-то тягостная чистота и выверенность предметов, расстояний, цветов. Здесь явно не жили. В такой стерильности это было просто невозможно!

И тут на стене Родий заметил фотографию, к которой и подошел. На него смотрело напряженное лицо человека в форме, у которого только что не было вид-

но ружья или нагана, так он был готов к обороне, нападению, словом, к каким-то действиям явно военного характера.

«Вишь! Воюет! Висит себе, а все воюет. Да успокойсь, я тебя не трону», — миролюбиво сказал Родий и оглянулся. Но в комнате по-прежнему никого не было, и тогда он, осмелев уже совсем, подбодрил сам себя: «А не выпить ли нам с тобой, господин служивый?» И в ту же секунду произошло невероятное: господин с фотографии чмокнул, покрутил ус и... вышел в комнату! «Вот это по-нашему, по-чертовски будет!» — успел подумать Родий и на мгновение отключился. Когда он открыл глаза, над ним уже хлопотала давешняя его знакомая, имени которой он до сих пор не знал, а за столом сидел военный, с хитрой ухмылочкой поглядывавший на гостя.

— Василиса, давай, накрывай на стол, не тяни, — сказал военный блондинке, которая управлялась в этом доме как у себя, словно жила там многие годы. Она живо откликнулась.

— Да, Тимофей Ильич, я мигом, — вдруг преобразилась женщина, ставшая в один момент не занудой с замашками провокаторши, но открытой и очень искренней хозяйкой. Такого радушия, по крайней мере, у своей Серафимы Родий вспомнить бы не смог.

— Да, милая, ты и сама все знаешь. А к окорочку хренка не забудь. И в погребе поосторожней, вечно ты падаешь.

— Не волнуйтесь, Тимофей Ильич, я мигом, — снова повторила блондинка, и Родию даже показалось, что цвет ее волос несколько изменился, став более естественным и благородным. Точно, так и было, она совершенно преобразилась, став более симпатичной, задорной и смешливой. Родий даже услышал, как она полезла в подвал и там запела.

«Чудеса!», — подумал про себя мужчина, все никак не желавший поверить в такие невероятные превращения, которые с ним стали происходить. Они и прежде-то случались регулярно. А тут — ну просто одно за другим!

Когда стол был уже окончательно сервирован, военный, вышедший на глазах Родию из рамки с фотографии и время от времени покручивавший ус (почему-то всего один), который все больше обращался не к Родию, а к женщине, наконец откинулся на стуле и изрек:

— Ну так что? Как ваши дела? Все крутите или... Небось, Булгакова поначитались? А, скажите честно? Зачем вам понадобился весь этот цирк со всей его благородной вроде бы затеей? Думаете, денежки оставили, так всех осчастливили? Так не бывает, любезнейший, нет! Все надо протопать, все заслужить.

— Это-то мне известно. А вот вы... Как это понимать?

— А что тут понимать? Взял и зашел к вам. Что, плохо что ли?

— Да нет, я очень рад, но как-то, ей богу, странно. Вы не считаете?

— А мне и не положено ничего считать. Я уже там, представьте, где никто ничего не считает. Ясно?

— Вполне. А вы кто, хозяин этого дома?

— Сообщаю.

— А кто же здесь убирает, если так все вылизано? Вас же нет? Правильно?

— Как сказать, знаете ли? Как сказать? Нет-то нет, а вообще-то и есть. Вот так! Непонятно? Скоро поймете!

— Столько загадок! Хотя я, можно сказать, и сам не промах. Надеюсь, вы это уловили.

— Как же, как же, наслышан. О вашей благотворительной акции в центре нашего милого городка. Знаю, да и как не знать, когда вас все уже знают и почитают за счастье общение, знакомство с таким человеком.

— Да что вы такое говорите! Какой человек?

— Вы хотите сказать, что вы, может статься, и не человек вовсе, в том смысле, что не божеское создание?

— Ну-у...

— Вот, то-то и оно! Так я и думал: не божеское. Человек божественный вряд ли начнет направо-налево деньги раздавать. Да и откуда они у вас в таком ко-

личестве? У нормального, опять-таки настаиваю на этом, божественного человека, таких денег быть не может. Где вы их взяли?

— Вот так вам и ответь! Сами люди и отдавали, разве не понятно?

— А как вы думали? Сидите тут, едите-пьете, закусьваете, а про деньги, про то, можно сказать, из-за чего на земле вечный сыр-бор, и слушать не желаете?

— А можно я сам вас кое о чем спрошу?

— Ну...

— Так вот, вы в каком звании ну... того, почили?

— А-а... Ясно. В звании полковника, с вашего позволения. И случилось это как раз на исходе войны. Вот-вот уже должна была закончиться. А тут и случилось. Такое случилось, что опомниться уже не смог. Да и выжить тоже.

— Загадками, однако, говорите.

— Какие загадки? Сдал меня один. Наш, скажу я вам. А время, знаете, какое было? Чуть что — в расход. Вот и меня... пустили, так сказать, в это, в расход, одним словом.

— Но что, что вы такое сделали?

— А ничего! Ровным счетом ничего, уважаемый, тьфу-тьфу! Да в то время и делать ничего не надо было. Махнули бумажечку и все, жизнь твоя или набекрень, или ее вообще изымали. Ну, жизнь эту! Вот и мою, скажу я вам, тоже, изъяли. И стала моя славная военная биография одним далеким воспоминанием. А смерть — наоборот — главным событием жизни. Это уже после пятьдесят шестого меня и реабилитировали, и наградили, и домик вот этот вернули. И... хозяйку приставили. — Он покосился на блондинистую женщину, которая внимательно и уважительно вслушивалась в слова полковника.

— Что же за жизнь такая, что смерть важнее нее становится? Неужели все у нас так?

— И все и со всеми. Вы разве не знали? А я вот что вам посоветую. Вы, в новом-то своем обличье, возьми-

те, да придумайте что-нибудь такое, чтобы глупые эти законы изменить, — изрек военный.

— Видите ли, в чем дело... Дело в том, что я, можно сказать, приставлен, временно, конечно, сотворять одни только не богоугодные дела. Пакоstitь, одним словом, измываться. А на деле получается иначе. Получается, что из меня не чертовское, а наоборот, человеческое только и прет. Даже когда я в своем, ну, как вы выражаетесь, божественном обличье был, не совершал благородных дел. Не приходилось, что ли? А тут... Тут так и несет что-то такое исполнить, чтобы людям... ой, даже сказать не решаюсь...

— Да валяйте, чего уж там!

— Чтобы людям как можно лучше было.

— Вот даже внутри меня такое чувство, что хочу радости не только себе, но и вам, и Василисе вашей. Да даже, чтобы вы вообще... чтобы воскресли, например.

— Ну, вы загнули!

— Ничего я не загнул. Слушайте меня! Я знаю, я, кажется, знаю, что надо делать

— И что же? Зелье какое-нибудь дадите?

— Зачем зелье? Я так могу, только руками немного потрясу, пошепчу всякого, да мысли напрягу, ум, можно сказать.

— Ум — это хорошо! Хорошо, если есть, что напрягать.

— Да не такой я дурень, уверяю вас. Кое-что соображаю. И даже больше того, вот только о душе и думаю.

— Да, в вашем нынешнем прикиде о ней только и возможно печься!

— А что прикид? Может, меня на вшивость жизнь высматривает? Прикидывает, одним словом?

— Может, все может! Но вы же сейчас не человек! Вы черт с рогами, вот вы кто! И это следует признать откровенно!

— Да вам-то откуда это известно?

— А мы, усoppiе, и не такое знаем!

— Я вам честно скажу, не стану я вас к жизни возвращать. Не мое это чертовское дело. Не по уму. Не жизнь, не смерть — это не моего ума дела.

— Верно, вот это хорошо, правильно. Мне и на том свете неплохо.

— Перестаньте, я все понимаю. Совестно как-то.

— Слушайте, неужели вы в вашей мирской жизни так же стыдливы и совестливы?

— Да что вы, какой там!

— Вот и мне что-то не верится! Я вот вишу себе на этом портрете и ни на что не жалуясь. И даже обратно не желаю. А вас все что-то распирает, все-то вы не по-людски живете. Сами себя обременяете, да и другим от вас не весело. Согласны, нет?

— Может, вы и правы. Да только что делать, не знаю.

— А вы это... схитрите. В том смысле, что этот ваш прикид используйте в другом направлении.

— Как это?

— А так! Поверните свою жизнь, действительно станьтесь не абы кем, а человеком. Со страстями, желаниями. С любовью, наконец. Без нее — никак, уверяю вас. Только она и спасает. И даже там... — Он неопределенно махнул рукой в сторону рамки, где висело его фото, которое временно ожило, материализовалось и исчезло со стены.

— И вы сильно, ну... любили?

— А как же? Вот она, любовь моя — Василиса. Она осталась. Так и навечно останется молодой.

— Что, совсем не умрет? Никогда?

— Эх, куда вы загнули! Все умирают. Мир — не иллюзия какая-нибудь. Но прожить — вот в чем суть — прожить надо так, чтобы не было мучительно больно.... Помните вашего, нашего социалистического классика? Так и жить надо — по заповедям. А вы как хотели? — только так, не иначе. Так что, призываю: берите голову в руки и становитесь до конца человеком. Больше в жизни и не требуется ничего. Только человеком. А в каком качестве — ученого, кладовщика — совершенно не важно. Главное, чтоб не чертом. Только человеком. Запомнили, божественным! А иначе и жить незачем.

— Считаете?

— Да нет, вы еще не дошли до предела, до последнего самого понимания. Понимания главного. Иначе уверенности в вас было бы куда больше!

Сказав это, полковник с усами, один из которых он покручивал и дергал, неожиданно поставил свою рюмку, крикнул, как и в самом начале знакомства, и... снова оказался в раме. При всем параде и с большим достоинством. Но и оттуда, как показалось Родию, успел-таки подмигнуть хитрым глазом.

Когда Родий вышел из невероятной чистоты домика, к нему снова подошел пес, посмотрел совсем не собачим взглядом, прислонился, и Родию показалось, что он услышал: «Ничего, все еще будет!» Не оглядываясь на сад и на его обитателей, Родий спешно зашагал прочь.

Опять кипит! Опять пылает!

Ступай, утешь ее, глупец!

Чудак, всему уж и конец

Он видит, чуть лишь нить теряет.

Кто вечно смел, хвалю того;

Ты ж, с чертом столько дней проведший, —

Ты что? Нет хуже ничего,

Как черт, в отчаянье пришедший!

Он дошел до железнодорожной станции, посмотрел, есть ли, в конце концов, название этому городу, но так ничего и не увидел. Тогда он вспомнил, что в руках у него была коробочка полная денег, которую он в порыве человеколюбия оставил прямо посреди улицы. Но не поворачивать же назад! И в ту же секунду он ощутил какое-то похрустывание в левом кармане пиджака, который по-прежнему привычно болтался на нем. Он сунул руку и — о, ужас! — там были деньги. Ни их происхождения, ни количества Родий, естественно, не знал, как и не мог понять, например, почему, получив чертовское обличье, никак не может приступить к содеянию бесовских дел. И зачем вообще, с какой такой целью, может, даже наивысшей, дано было ему такое испытание? Что за этим стоит? А, может, кто?

Ответов на эти вопросы не находилось, но почему-то все больше хотелось скинуть с себя это невидимое глазу тряпье, оказаться в Москве, в любимом институте и наконец встретиться с Вадим Петровичем. Что это он столько времени все собирается, собирается, а никак не приступит к главному разговору? Видать, и сам Вадим Петрович не так прост, как кажется. Вот ведь, давешняя встреча на улице неподалеку от института! Что-то тут не так!

Мысли эти не самые радостные прервал неожиданно возникший человек. Он подошел вплотную к Родию и молча посмотрел на него. Был он небрит, неухожен, на плече моталась такая же неряшливая сумка, чем-то туго набитая. И Родий подумал: «И что это за город, где все молчат, включая собак, или наоборот, орут при любой возможности, как в цирке, а то и того хуже: вылезают со своих законных мест из рамок со стен? Что за традиции такие? Зачем они, кому нужны? И снова, что за всем этим стоит?»

Ответа, как водится, не было, и Родий тоже уставился на незнакомца. Недобро так уставился. Думал: «Этот-то чего хочет? Я ему на что понадобился?»

Незнакомец хмыкнул, потер середину своей немой и нечесаной головы (видно было, что это его излюбленная привычка), снова присмотрелся к Родию и неожиданно схватил его за лацкан пиджака.

— Ходишь тут, народ мутишь? Что из себя возомнил? Ангел, бес, кто?

— Отстаньте от меня, — отбивался Родий, как мог, но мужичишка накрепко вцепился в него и отпускать не торопился.

— Нет, не отпущу! Не отпущу, пока не скажешь, за чем деньги народу оставил? Зачем зверя выпустил? Перед кем хвост выставляешь?

— Отстаньте, какой хвост? Нет у меня ничего, — сказал Родий и почему-то оглянулся назад, да так, чтобы увидеть, что там у него пониже спины. И что же? Там точно мотался мерзкого цвета облезлый хвост, похожий на вконец измочаленную мочалку. — Кошмар ка-

кой! Откуда? И что я такого сделал? — кричал вне себя Родий, зайдясь в крике так, что народ на вокзальной площади стал прислушиваться и собираться, подходя поближе.

— А это откуда? — издевательски спросил подошедший, дергая за хвост и пытаясь его оторвать. — А, не скажете?

— Да черт его разберет, откуда это! И сам не знаю!

— А вот и врете-с! Все знаете. И мы знаем. И сейчас побьем тебя, — сказал дядька со странной внешностью, переходя на «ты». — Понаехали тут всякие! А мы, значит, пропадай?

И с этими словами он развернулся и со всего маху ударил испытателя. Потом наподдал еще, а разгоряченный народ, уже вовсю обступивший парочку, стал еще ближе приближаться, круг становился все уже, и наконец граждане не выдержали и ухватили новоиспеченного беса кто за что мог. Все орали так, что слышно, наверное, было в соседних деревнях. Все пытались дотянуться до хвостатого мужчины и сказать при этом самое обидное, самое гадкое словцо. И, конечно, били, били сильно.

Родий закрывался, как мог, при этом что-то невразумительное мычал, но вырваться не мог: это при таком скоплении народа, обступившего его, было нереально. И все же в какой-то момент его невиданная чертовская сила помогла ему, видимо, он извернулся и сам закричал, что было сил.

— Остановитесь, граждане! Я все скажу! Я не сам, уверяю вас, не по доброй воле, я — жертва, больше ничего! Только жертва! — выкрикивал вне себя от гнева и боли Родий, все более и более начиная понимать, что такое гнев людей и на что способна разъяренная толпа. В какой-то момент он особенно удачно извернулся, низко присел и ... в одно мгновение оказался в поезде, который шел так скоро, как только мог, и при этом пыхтел, был красив и даже не дымил.

Это было так неожиданно, так вовремя, что Родий едва смог очухаться, отдышаться и осмотреться, что-

бы удостовериться, что находится в безопасности и что город, в который он попал не по своей воле, наконец-то отпустил его.

Он обнаружил, что находится не в каком-то там плацкартном вагоне, и даже не в купейном, а в СВ и рядом с ним на полке расположился симпатичный гражданин с приятными манерами, такой же приятной внешности, с усиками. «Везет мне в последнее время на усы!» — успел подумать Родий, а попутчик отложил свою газету, немножко потянулся, но опять-таки весьма деликатно и сказал, словно ехали они вместе целую вечность: «А не перекусить ли нам? А то до места еще ох-хо-хо, сколько!» — «Сколько же?» — осмелел Родий, на что гражданин вежливо ответил: «Часа четыре еще!» — «Ну, это немного», — подумал про себя путешественник и согласился, что можно и перекусить. «Только при мне и нет ничего», — заметил он извиняющимся тоном, на что его новый знакомый снова весьма миролюбиво заметил: «Ах, какая беда! А я-то, признаться, думал, что у вас в вашем ридикюльчике одни только шашлыки!»

Он улыбнулся, полез в свою сумку, вытащил оттуда большой пакет, набитый снедью, и стал его разворачивать. При этом запах, наполнивший купе, был более, чем замечательный.

— Прошу вас, вот, отведайте. Жена сама пекла. Она у меня мастерица. Такие пироги делает, пальчики оближешь. Не стесняйтесь. Вы с чем больше любите: с мясом или с грибами? Есть еще вот, с картошкой, с капустой, словом, всякие-разные. А потом и сладкое будет. Ну как, вкусно? — спрашивал незнакомый вежливый гражданин, наводя порядок на маленьком столике и, успев подмигнуть, вынул еще один сверток, глядя на который становилось ясно: его продолговатая форма говорила сама за себя. И Родий не ошибся: это правда была бутылка.

Незнакомец вдруг спросил: «А имя-то ваше как будет? А то едем, едем, а так и не познакомились. Меня, к примеру, зовут...»

Родий моментально перебил его и сам ответил: «А зовут вас я знаю, как. Игорем Матвеевичем. Правильно?» Попутчик даже перестал распаковывать свои бесконечные свертки и пакеты и уставился на Родия. «Откуда вам это известно? Я, кажется, не назывался? Или ошибся?» — «Да нет, не ошиблись, все правильно, не назывались. Я сам догадался». — «Странное дело. И как же вам это удалось? Загадка, в самом деле!» — «Точно, загадка. И для меня тоже», — признался Родий, а сам с удовольствием откусывал кусок прирога с грибами.

— А вот скажите, Игорь Матвеевич, — спросил Родий, причмокивая от удовольствия, — не встречался ли вам на этом свете, хотя, ха-ха, на каком же еще? На этом свете черт? Ну, или чертик, скажем? Нет?

— Почему же нет? Встречался, да еще как! В каждом из нас нечто похожее сидит, да еще при удобных обстоятельствах вылезает.

— А сейчас, скажите, какие обстоятельства, удобные?

— Кому как. Мне, к примеру, очень даже. Вам — не знаю.

— Вот и считайте, что вам крупно повезло. И вы едете с самим... как бы вас не спугнуть... с самим чертом! — И Родий хотел было в доказательство представить свой мочалистого вида хвост, торчащий из-под штанины.

Однако когда он просунул руку, чтобы убедиться в его наличии, то не нащупал его. Он повозил руками позади себя, что со стороны выглядело совсем неприлично, но ничего не мог обнаружить, хвоста там не было! И тогда несколько удрученный путешественник все же сказал:

— А знаете, я, может, и пошутил, кто знает. Вам ведь смешно, скажите? Ну, в самом деле, какой в наше время может быть черт, да еще едущий в шикарном вагоне из... — Тут он запнулся, потому что не мог знать, откуда едет. То, что в Москву, выяснилось совсем не-

давно, и было ему на руку. — Мы с вами в каком городе были?

— Ну, голубчик, что значит, в каком! Сами, небось, знаете, — ушел от ответа Игорь Матвеевич. — А, впрочем, какая разница! Едем себе, закусьваем и... да вы выпейте, полегчает, уверяю вас. Для расслабления организма очень иногда нужно.

Родий сидел весьма сконфуженный и не знал, что вообще-то происходит. То хвост появляется, то исчезает таинственным образом. Эх, скорей бы встретиться с Васькой и закончить это мутное дело! В смысле, поменяться обратно.

— А хотите, мы в обратную сторону поедим? — напрыг свое изображение псевдо-черт.

— Вы закусывайте, закусывайте. Наверное, устали очень, — миролюбиво ответил попутчик, имя которого так легко далось Родию. Понятное дело, насмотрелись всякого. В особенности, по телевизору. Чего только там не покужут, какой мути! Согласны?

— А я его редко смотрю, все некогда. Да и у Серафимы моей все больше сериалы в интересе.

— Так то и происходит в сериалах, нечисть разная. Всякий стыд потеряли, все теперь доступно. Вот и вы, взрослый мужчина, а туда же, — уже недовольно заметил Игорь Матвеевич. С этим, скажу я вам, не шутят. С этим шутки плохи!.

— Да уж какие тут шутки?! — запечалился Родий, и в ту же минуту поезд сделал резкий рывок, что-то упало сверху, кто-то закричал, возник шум, раздались голоса, и пейзаж, который пассажиры наблюдали, вдруг стал пятиться вместе с едущим в обратном направлении поездом.

— Ну, а вы не верили! «Взрослый человек!» Сам знаю, что взрослый, А толку? Вот, обличье у меня какое, — уверенно сказал Родий и покосился на свою спину. Хвост был на месте! — Извольте убедиться! — весело и радостно произнес испытатель, с достоинством показывая свой чертовский атрибут.

Игорь Матвеевич на мгновение замер, положил не-

доеденный кусок пирога на столик, вытер о салфетку руки и только потом сказал.

— Этого не может быть! Как же так? Вы... Что же... вы?...

Он не мог закончить фразы, так как находился в сильном волнении. — Это что же, Боже мой, мне плохо, плохо, совсем...

— Да подождите вы помирать-то! Некогда пока! Успеете. Поважнее дела есть. Давайте вот, выпейте вашей настоячки. — И Родий поднес к губам попутчика стаканчик с темной жидкостью.— Да пейте же вы!

Однако Игорь Матвеевич смотрел стеклянными глазами на Родию и все не хотел верить, что он видит на самом деле...нет, не мог он произнести слово, означавшее, кого именно он видит.

— Скажите, что вы пошутили, что это театральный какой-нибудь атрибут. Что все неправда, в конце концов.

— Ну и скажу, и что? А поезд? Куда вы денете поезд? Это ж я его повернул!

— Бросьте так шутить, очень вас прошу!

— А я и не шучу! — уже зло крикнул Родий, затем вскочил на полку, изогнулся и крикнул что было мочи: — Выметайтесь, граждане по добру— по здорову, сейчас поезд примет такое ускорение, мало не покажется. Прыгайте, говорю вам, выметайтесь, — совсем озверел Родий, все больше и больше наливаясь сатанинской силой. — Вон отсюда! Мои владения! Все — мое!

И действительно, поезд неожиданно стал набирать скорость и уже через пару минут мчался так быстро, что виды за окном перестали проявляться и слились в одну общую стену зеленого цвета, что могло означать одно: они едут все же по железнодорожным путям и вдоль леса. Пусть и в другую сторону.

Пейзаж начал раздваиваться, по-прежнему являя единую темно-зеленого цвета картину, поезд громыхал, и вместе с ним все так же гремел неумный гражданин в странного покроя пиджаке, вовлекая пассажиров в какую-то стихию разбоя и протеста. Против чего он

протестовал, оставалось загадкой, но кричал он действительно страшно. Движение же поезда делало свое разрушительное дело, и вскоре началась паника. Люди вскакивали со своих мест, метались, кто-то пытался выбраться наружу, кто-то лез в окно, надеясь спастись. Но от чего, от кого? Эти вопросы не задавались, так как граждане все как один подпали под влияние мужчины с перевернутым именем, никак не совпадающим с истинным обозначением одного из самых сложных элементов менделеевской таблицы.

Родий, а не Радий (что было бы правильнее) бушевал, и стала, наконец, вырисовываться линия, движение, которое манило его и вело сумасшедшей дорогой. Он не то чтобы стремился сбить с толку пассажиров, нет, он преследовал иную цель: для него было важно не только смутить их, но дать почувствовать силу, которой он обладал. Уверить их, что и один человек способен создать лавиноподобную ситуацию, когда воля и разум человека приглушаются, здравый смысл спит и он готов на все. Магия толпы! Страшное дело! Неужели некому противостоять в этой схватке? Неужели так падок человек на всякого рода провокации?

А испытатель, заодно и искатель человеческих душ входил во все больший раж. Он влез на нижнюю полку, держась одной рукой за верхнюю и кричал, неистово кричал. «Спасайтесь, смертное вы племя! Убегайте, кому это еще под силу! Осталось два часа, нет, даже меньше. И все, конец! Больше не будет ваших распрей, битв, обид и убийств. Вы все, понимаете, все исчезнете. Просто испаритесь с лица земли. Не будет ничего: ни земли, ни неба, ни ваших друзей, врагов, ни этого поезда! Все, абсолютно все пропадет. И на этом все! Только не молитесь, это вам не поможет. Ничего не поможет. Только одно! Одно! — кричал озверевший владелец подвала.— Ни покаяние, ни раскаяние, нет! Мне, именно мне, вашей изнанке души поклонитесь и попросите прощения! Мне, вы поняли? Я — дьявол, я воплощенное черное место вашей жизни. Ваших мыс-

лей, мечтаний. Вашей души, что самое главное. Клянйтесь, и, может, кого-нибудь я помилую!»

На этих словах возникло какое-то замешательство, скрип поезда стал просто невыносимым, и в это самое мгновение все увидели, как на проповедника дьявола набросился какой-то человек, схватил его сначала за руки, потом стянул вниз, вскочил ему на спину, вынул руки и громко приказал: «А ну, молчать! Кому я сказал? Заткнись, нечистая сила! Нашел чем пугать!» — приговаривал мужчина нехилого телосложения, не побоявшийся самого черта, как становилось ясно из происходящего. «Граждане, чего вы, с ума что ли походили? Все, видите, поезд, успокаивается, едет, как и положено! Чего вы? Этого полоумного напугались? Да он же просто сумасшедший. Но, конечно, опасный шизик, ничего не скажешь. Не надо его слушать, успокойтесь», — кричал, перекрывая рык Родия, мужчина, связывая полотенцем, потом и простынями самого бойца. Тот вырывался, пытался спорить, кричал, что его силы хватит на то, чтобы запалить не то что этот поезд, но и весь мир, всю землю. На что храбрец, невесть откуда появившийся из толпы, только улыбнулся и просто сказал, что видал таких недоумков, были такие во все времена и что по-настоящему они страшны только в один момент: когда начинается паника и люди поддаются ей, не вникая в суть воплей шизофреника, теряя здравый смысл и реальное понимание происходящего.

— Ничего ты со мной не сделаешь, я вечен, — орал Родий, но уже не так истошно и не так громко: силы его постепенно иссякали.

— Сделаю! Не я, так кто-то, но все равно сделаем. Ты такой старый, просто старый, как этот мир! Как Мефистофель, как вообще кто-то второй. Везде был второй. Всегда! В литературе, в жизни, был! Но не он, понимаешь ты, не он побеждал!

— Отстань от меня, я вечен, говорю тебе.

— Мне смешно сейчас это слушать — «вечен»! Глупо-

сти да и только. Я растопчу тебя. Я сильный. Ты не представляешь, какой я сильный.

И тут он обратился к стоящим рядом людям, которых набилось столько, что они еле умещались в вагоне. «Ну, чего молчите, чего вы? Что стоите, что стоите, — сказал он, изменив ударение, — разве это соперник, настоящий враг? Успокойтесь, все, он уже не опасен. Видите, как сник? Да он весь липкий, черт этот полудысь. Толку от него — ноль. Он и сам не знает толком, чего хочет. И это здорово!» — уже весело заключил храбрец, утирая пот полотенцем и садясь на полку, где скрючившись, сидел молча, и не глядя ни на кого, недавний боец.

Постепенно смятение стало уходить, паника понемногу улеглась, но люди все еще пребывали в страшно взволнованном состоянии. Слышалось, как кто-то всхлипывал, кто-то матерился. Словом, покоя еще не было. Но отрадным было то, что поезд все же двигался в нужном направлении, а не наоборот, что вещи, попадавшие с полок, сами собой, да и с помощью граждан, заняли свое прежнее положение и все, казалось бы, стало приходить в норму. Пришел начальник поезда, стали писать акт, опрашивать людей, началась та будничная серость, которой и не избежать было при сложившейся ситуации и которая ко всему прочему заставила отключиться от чрезвычайного события и начать заниматься обычными, характерными для дороги, вещами: пить чай, валерьянку, убирать постель, смотреть в окно, наконец.

На ближайшей станции вошли люди в белых халатах и вывели бунтаря. Но сделали это аккуратно, без подначек и всяких там оскорблений и злопыхательств. Тихо сделали. А другие люди, уже не в халатах, задавали вопросы пассажирам и — более всего — главному храбрецу, переломившему ситуацию. Им оказался житель Фирсановки, что в паре десятков километров от Москвы, Григорьев Павел Дмитриевич, тридцати пяти лет от роду, прошедший армию, дискотеки, бытовуху в коммуналке и прочие прелести околосоличной

жизни: с драками, поножовщиной, дружбой до гроба, любовью и другими событиями. Он прошел то, что проходит обычный рядовой гражданин довольно часто в таком возрасте. Кто-то при этом утрачивает ценностные ориентиры, кто-то, напротив, что-то важное приобретает, закаляясь в борьбе на коммунальной кухне и в соседних парках.

Оказалось, что данный гражданин не только дрался с ребятами из соседнего района, но и побывал в Чечне, и даже был удостоен награды. Говорил он об этом как-то нехотя, словно кто-то чужой вторгнулся в его светлую частную жизнь. И он не хотел ранить память этой жизни.

— Скажите, вы в каком году посещали эти края? — Имелась в виду Чечня.

— Да какая разница, в каком?! Был — и все тут! Просто страшно, что народ наш такой пугливый. Несчастный какой-нибудь чертяха способен испугать население целого состава, да еще сам поезд повернуть в обратном направлении. Черт-те что! — изумился было Павел Дмитриевич, нисколько не думая о том, что сам принял не только участие, но и поспособствовал тому, чтобы переломить ситуацию, чтобы этот самый состав и двинулся по правильному пути, а граждане утихли и продолжали ехать. А поганый чертяха, коим он на самом деле и не являлся, был связан и препровожден в местную сельскую больничку.

Во все время и потасовки, и стреноживания буйного пассажира, и прихода важных чиновничьих лиц попутчик буяна сидел, скрючившись, как и совсем недавно Родий, в самом углу, и только лапка обглоданная курицы так и зависла в его руке. За все время страшных событий он не произнес ни слова, а сидел, едва дыша и не представляя, чем закончится эта страшная поездка. Куски пирогов валялись по всему купе, на столе был невообразимый беспорядок, а гражданин с хорошими манерами, доброжелательный и, как видно по всему, не жалеющий денег на себя, был похож на замороженного цыпленка, готового отойти в мир иной. Он все не

мог опомниться, пока, наконец, не услышал окрик: «Да придите же вы, в конце концов, в норму! Сколько можно бояться? Вы же человек, а какого-то черта испугались!» Это снова произнес Павел Дмитриевич, как он сам и представился. По всему видно было, что история эта занимает его ровно на столько, на сколько она стала центром внимания всей вагонной общественности, не больше. А вообще-то, если без этой самой общественности, то и вовсе бы не занимала: мало что ли он навиделся за свою жизнь разного рода уродов!

Но он терпеливо отвечал на вопросы дознавателя, или как там его величали, смотрел в окно, время от времени отряхивался, успокаивал по ходу граждан, а сам думал, когда же, наконец, начнет приближаться его заветная Фирсановка, в которой он родился и вырос, где закончил школу, откуда отправился в армию, и с этой платформы ездили в Химки, чтобы подраться и отстоять свою территорию.

До Москвы оставалось всего ничего, и граждане понемногу стали соглашаться с доводами Павла Дмитриевича, который сумел-таки убедить их в том, что видели они никакого не черта, а почти сумасшедшего, который просто приладил к своим штанам подобие хвоста. И когда сосед по купе все же вякнул, что хвост был настоящим, Павел Дмитриевич и на это ответил, что скорей всего эта часть туалета буяна была буафорская. Попутчик Родия совсем успокоился и стал дожевывать свою курицу.

А между тем участи Родия можно было не завидовать. Ну, во-первых, его отвезли сначала в кутузку, где долго пытали, кто, что, почему и куда едет. Составили и там бумагу, убедились, что у гражданина что-то совсем разладилось здоровье и повезли в местную больницу. Вел себя Родий смирно: так устал от всех перипетий последнего времени, что сил не оставалось уже ни на что. Он все сносил молча, отвечал на вопросы любезно, и весь его вид, поведение, сама манера общаться говорили о том, что не такой уж он черт, каким хотел казаться, а просто приболевший человек,

которому в крайнем случае нужен просто покой. Вот его и везли за этим самым покоем. В области, понятное дело, психлечебницы не было, до города было не с руки, и решили стареющего бойца железнодорожного фронта упечь не в психушку, а в обычное неврологическое отделение местной больнички. Правда, наказали, чтоб за пациентом строго присматривали — мало ли чего натворит!

Родий успел подумать, как часто за последнее время он попадает в клиники, причем, самого разного масштаба и пошиба. От высококлассной и предназначенной для особых граждан, до примитивной, где от хворей лечатся самые что ни на есть простые люди. А в его отделении в основном те, кто страдает особой привязанностью к вышивке и прочим нехорошим соблазнам.

В палате, куда его поместили, уже находилось пятеро, две койки были свободны. Сама комната так была накрепко утрамбована кроватями, что не сразу можно было понять, как к каждой пробираться. «Это тебе не отдельные покои с капельницами, шкафами и ванной!» — пришел к выводу Родий, но его не особенно смущало отсутствие комфорта. Он сразу лег и принялся ждать, что с ним сотворять будут дальше.

Удивительное дело, но и здесь в скором времени что-то прогремело, и показалась девчушка в белом чистом халате, которая внесла штатив с бутылкой, на которой что-то было нацарапано еще и от руки, наверное, фамилия Родия.

— Давайте руку. Как у вас с венами? Ой, просто замечательно, — похвалила девчушка протянутую руку и улыбнулась. — Не бойтесь, совсем не больно. Вот, видите, у вас вены, как у раба, очень хорошие. Лежите смирно и не шевелитесь. Если что — зовите. Я пошла. Скоро же праздник. Отдыхайте пока.

С этими словами медсестра вышла, и Родию постепенно становилось так хорошо, так покойно, как не было даже в той шикарной больничке. Глаза сами собой стали закрываться, и он понял, что засыпает и что

скоро будет совсем хорошо, если не сказать, прекрасно! Все страшные превращения и приключения, случившиеся с ним, стали понемногу рассеиваться и память уносила их в свой безбрежный полет, в нужный момент обязуясь представить их вновь и почти в неизменном виде. События, связанные с Васькой, тоже растворялись, уступая место воспоминаниям, к которым Родий обращался крайне редко, можно сказать, в самых исключительных случаях. А таких в его жизни было всего два. Первый — это женитьба и посетившее его воспоминание в первую брачную ночь, когда образ Ритули затмил шикарную широту фигуры Серафимы, и когда все потом происходящее напоминало сон, пусть и не особенно радостный, но с которым приходилось считаться и даже жить.

Второй случай был не так давно, в той самой особой больничке, куда он попал совсем недавно. А без дела он свои лучшие воспоминания жизни и не смел тревожить и не обращался к ним, не вынимал их из своего загатника памяти. Вот и здесь она, эта память, услужливо подсказала ему, что есть другая жизнь и что была она не так уж запредельно давно и что к ней вообще-то можно и вернуться. Только вот как, каким образом, не сказали!

И как тогда, очень давно, почти что двадцать пять или больше даже лет назад, Родий вспомнил, как Ритуля однажды сказала, накручивая на пальчик свой локон совсем белого цвета. Она вообще напоминала ему девочку из сказки, только он никак не мог припомнить, какой именно. Ему так мало читали этих сказок, что все они, четыре или пять, слились в одну-единственную, где одним из главных персонажей была девочка. Красивая и белокурая и которая вот так же накручивала свои локоны на пальчик. Может, это, и правда, было только в сказке и ему казалось, что так делала Ритуля? Может быть. Но он зато четко знал, что уж слова, которые она тогда сказала, были точно произнесены ею.

«Какой же ты все-таки глупый, Родька», — сказала

Ритуля и потом добавила: «Я точно буду балериной, вот увидишь!» Как он мог это увидеть, Родий не знал ни тогда, ни — тем более — теперь. Но почему-то откуда-то выползшее, осторожно так, исподволь, знание о том, что когда-нибудь это случится, стало обволакивать его и проникать в самую глубину его не очень-то духовного организма.

«Ритуля, — думал он, все дальше и дальше отлетая от реальности, — где ты? Разве это не ты идешь с васильками? Какие они синие, я и не знал. Ты стала, как хотела, балериной? А я вот...». Он не знал, что еще можно сказать почти принцессе, так она была хороша, так недоступна. И он решился: «Рит, а давай пойдем в наш двор? Помнишь?»

Хотя его подруга детства ничего не ответила ему, он, тем не менее, оказался снова в своем дворе, где еще недавно хотел спросить у камня, что сделать, чтобы быть сильнее и могущественнее всех. Он направлялся к камню, а сам думал, что вот она, жизнь, черт-те что! Хотел — пожалуйста, получил! Ни радости не приобрел, ничего, одни неприятности только. И Васька — туда же. Что толку от этого могущества? Ниагара, реки, землетрясения, звери в неведомом городе — зачем они, если на душе все тот же мрак, а на третьем этаже все та же Серафима? Зачем, если с душой не произошло ничего такого, что изменило бы унылый взгляд на всю эту жизнь, с ее подвалом институтским, вечным доставанием чего-то такого, что приносило бы маленькие финансовые барыши, с могучей Симиной фигурой, которая тоже тащила со своего комбината все подряд и ела, ела так много, что с каждым годом становилась все толще и толще. Зачем?!

Когда Родий, лежа на своей койке, окончательно улетел в неведомые края, где все было хорошо, иногда даже настолько, что хотелось жить, становиться большим ученым, помогать Вадим Петровичу, выбраться из подвала на второй, скажем, этаж, уйти от Серафимы, начать ходить в библиотеку и непременно в тот

зал, который посещал сам Вадим Петрович. И при все при этом он не встретил Ваську! — вот уж точно победа! А еще...

На этом самом месте он сквозь сон отчетливо услышал: «Размечтался! Фиг тебе!» И голос, этот мерзкий голос принадлежал не кому-нибудь и даже не Ваське, а его благоверной. Сима! — ну не черт ли это в юбке? Тьфу, аж тошно! Ну ей-то что нужно, ей? Уж Васька, и тот не проявляется, а тут снова она! Нет, снова туда, назад, в сон!

Смирили дурака!

Теперь пора убраться нам приспела:

Тут будет шум и крик наверняка.

Хоть мне возня с полицией легка,

Но уголовный суд — иное дело!

Слава Богу, это все был только сон, а не реальность, возвращаться в которую совсем не хотелось. И мыслей, отчетливых и законченных, тоже к счастью, не было. Была розовая сказка, в которую вот-вот должна была заглянуть и ее главная героиня. Но ее все не было и не было. Куда же она подевалась? Так, по крайней мере, думал, или хотел так думать Родий.

И еще один образ, который в реальности частенько тревожил его, посетил больного. Он вспомнил своего родного деда, который наградил его таким диким именем. Что за Родий, откуда он это взял, почему решил, что Родий — это и есть тот самый химический элемент, главнее которого нет? Чудеса и глупости. А сидел дед, возложив ногу на ногу, в кепочке, с серьгой в ухе, был важен до смешного, говорил медленно и с расстановкой. Все для него, вероятно, имело смысл и значение. А уж имя дорогому внуку — тем паче! И Родий не только видел деда, но даже слышал свой собственный плач, которым самозабвенно наслаждался его предок. Слушал так, словно играл величайший симфонический оркестр! Очень фигура деда смахивала на персонаж тоже из книги или из старого кинофильма: в красной

рубашке, в жилетке и с этой серьгой! Ну вылитый герой из какого-нибудь цыганского табора!

В какой-то момент он различил над своей головой голос, веселый, приветливый такой. «Просыпайтесь, больной, уже утро, даже день. А вы все спите и спите. Завтрак уже проспали, не добудиться было!» — так говорила хорошенькая сестричка, что и была давеча, но только ростом словно стала выше, да и лицом еще лучше. «Надо же, — подумал больной, — никак не хуже, чем в элитной клинике. Интересно, что у них было на завтрак?» И эта здравая мысль, простая до банальности, успокоила его: он понял, что находится все еще на белом свете, что рядом лежат, ходят какие-то мужики, что говорят нормально и даже ласково и что солнце светит во всю мощь.

Он поднялся, посмотрел все на тот же неряшливого вида пиджак, понял, что в первую же получку купит новый и что вообще новое будет теперь сопровождать его жизнь. «Все поменяю, все изменю! Брошу к чер..., — только хотел произнести поганое слово, как его словно торкнуло что-то. — Нет, просто брошу, — поправился Родий и почувствовал такой прилив сил и энергии, которых не ощущал давненько. — А не сбежать ли? Чего я тут париться буду?» Этот вопрос, заданный самому себе, навел и на другие мысли, не менее важные: как осуществить побег, да и охраняется ли эта местная больничка. «Да кому я нужен?» — резонно спросил Родий сам себя, и ответ нашелся весьма скоро: «Да никому!»

И точно, когда он поднялся и направился в коридор, его окликнул сосед по палате и сказал, что завтрак хотя и остыл, но есть его все же можно, вон, стоит на тумбочке. Родий поблагодарил, но подходить к тарелке не стал, а так, голодным, и отправился к выходу. По коридору совершенно мирно расхаживали люди. Были они одеты странно, под стать одежде самого Родия. Вообще атмосфера была спокойная, даже можно сказать, что дружелюбная. Никто не бегал, не следил, чтобы вошли в палату и лежали, из чего путешествен-

ник заключил, что он не в психушке, а в самой обыкновенной больничке, только персонал в которой никак не походит на районный злобный медобъект. Он даже решил спросить, правда ли, это обычная больничка, а не психушка. Но сделать это деликатно, чтобы не обнаружилось, что он малость того, ничего не помнит, не ведает, где находится.

Как раз по коридору шел, не торопясь, молодой человек с книжкой, и Родий решил пошутить. «Чего читаете, молодой человек? Небось, фантастику всякую?» Юноша поднял брови, при этом очки, которые были на носу, сползли так низко, что пришлось их поправлять. «Почему же фантастику? Ее в реальности хватает. Нет, это книга о природных ресурсах. Называется «Проблемы современной геологии». Не интересуетесь?» Родий обомлел: перед ним стоял их сотрудник, который никак не хотел признавать в Родии того человека из подвала, который раздавал реактивы и от которого зависели опыты ученых и лаборантов. «Неужели не припоминает? А ведь сто раз заходил ко мне. Это что же получается, все же психушка?» — задал снова вопрос самому себе Родий и уже собрался было спросить, где это они находятся, как молодой человек сам продолжил разговор.

— Вот, отдыхал, можно сказать, в деревне, неподалеку, да приключилось что-то с сердцем. Говорят, стенокардия, давление. Нужен покой. А здесь его предостаточно. Вы не находите?

— Очень даже нахожу. И сколько вы тут лежите уже?

— Да не так уж и давно, всего... всего недели три.

— Ничего себе недавно. Целая вечность в такой глуши. А я вот всего-ничего, дня два всего, думаю.

— Что вы! Это вам так кажется. Я о вас уже слышал, говорят, вы что-то такое в поезде натворили. Наверное, тоже приступ случился. Бывает. Не употребляете? — он приложил руку к шее.

— Бывает, — в тон ему ответил Родий. — Но тут совсем другое дело. Мне показалось... да что там! Все

прошло, я здесь, все хорошо, правда же? — он заискивающе глянул на собеседника и подивился, как у того изменилось выражение лица. Оно стало угрюмым, неприветливым, и Родий снова испугался, что находится совсем не в обычной больничке, а в специализированной клинике. — Не знаете, какой номер у этой больницы или как она называется? Хочу вот жене сообщить...

— Знаю, конечно. Она просто под номером, а находится в ста примерно километрах от Москвы.

— А почему под номером? Она что, засекреченная?

— Никак нет, — засмеялся человек в очках. — Это так, для порядка скорее. А жена ваша уже была, обещала к вечеру зайти еще.

— А вам это откуда известно?

— Ну, вы же вообще личность приметная, все вас знают, пекутся о вас, можно сказать. Завтраки прямо в палату носят.

— А электричка отсюда далеко? — отважился на главный вопрос Родий.

В ответ молодой человек хитро посмотрел на собеседника, захлопнул свою книгу, наклонился к нему поближе и шепнул прямо в ухо.

— А поезда здесь вовсе не ходят. Придется вам так, пешком шагать. Но только как вы выберетесь, это большой вопрос.

— Так что, здесь охрана что ли? — не унимался Родий.

— Да не охрана, нет. Так, стоит один. Но думаю, вам не стоит этого делать, — прозорливо изрек реалист и добавил: — Вас же все равно найдут. Отыщут и посадят.

— Куда посадят? — испугался совсем испытатель. — Зачем вы так? Что я такого сделал?

— Вот именно, все так говорят. А выходит, что сделали, много чего сделали. Помните, как я просил вас найти мне сложный реактив, да навесочки еще, а вы в позу! Не захотели! Теперь помучайтесь, полежите, покушайте кашки! — сказал насмешливо улыбаясь МНС,

что означало младший научный сотрудник, и отправился вдоль коридора дальше со своей книжкой.

«Выходит, признал, — екнуло сердце у Родия. Выходит, не такая уж обыкновенная эта больничка, раз все так сложно. Но, может, попробовать все же? Попытка не пытка?» — уговаривал сам себя пациент районной больницы и не знал, как поступить: то ли бежать сразу, то ли обождать вечера. Да и как он побежит, если у него ни документов, ни денег, ничего, ровным счетом?

Но спасительная мысль настигла очень скоро: «Какие, к таким-то чер...ой, опять за свое, ну, прошу прощения, — сказал Родий, не обращаясь ни к кому персонально.— Жить захочешь, и так убежишь, без всяких бумажек. Но что это он сказал такое, как это Серафима могла прознать про него? Неужели и впрямь так долго тут околачивался? Значит, сообщили, как же еще? Не ведомая же сила на крыльях ей эту весть принесла! Ну что сделать, чем заслужить прощение? Как сбежать? Как скрыться ото всех сразу?»

Вечер наступал так медленно, так неохотно, что Родий начал, было, думать, что день никогда не закончится и что превращения и мистификации последнего времени, не ровен час, коснулись и самой Вселенной, перепутав дни и ночи, пространства и времена.

Он пожевал неохотно обед, потом вечернюю кашу, съел полагающееся яблоко и снова вышел в коридор. Но давешнего знакомого не встретил, хотя пробыл там довольно долго. Чуть ли не руки заламывал, чтобы не сбылись слова МНС о Серафиме и чтобы она не заявила. Однако стало темнеть, а супружница не приходила. К Родию тоже ни врач, ни сестра не заходили, таблетки лежали на тумбочке, расписанные на бумажках по часам приема. Больные смиренно лежали в своих железных койках и, странное дело, никто особенно не лез к нему с расспросами, советами: каждый был занят своими мыслями. Было очень тихо, как бывает, когда люди или совсем больны, или уже идут на поправку, но боятся спугнуть хорошее свое состояние. Так

и прислушиваются к нему: правда ли?

Вот и в этой палате, похоже, пациенты не казались особенно занемогшими, говорили вполголоса, мирно ели свои продукты, общались с родственниками, которые заходили сюда же, в палату, но тоже вели себя примерно, не говорили громко, а все больше наклоняясь к своему человеку. Из этого Родий заключил, что такое свободное посещение больных — хороший знак, что не такая уж неприступная охрана стоит у дверей. Да и чего их караулить? Что они, преступники, в самом деле? Подумаешь, наорал, набедокурил в поезде? Так это он не нарочно, поезд сам изменил ход, пошел в обратную сторону. Разве Родию за всем уследить можно было? И так еле избавился от хвоста этого. А, собственно, как, каким образом? Неужели отсекли? Он потрогал свое мягкое место и обнаружил, что там что-то налеплено, типа повязки. Точно, резали. Значит, силу эту чертячью убирали скальпелем. Вот откуда такие благодетельные мысли, отсутствие агрессии, желания с кем-то спорить, сводить счеты, грубить, находить фантастические проявления в самой что ни на есть реальности! Вот откуда — иссякла, значит, эта сила! Что же, она вся в хвосте, выходит, была? Не густо, не густо! Ну, и черт с ней!

Только произнес эти слова пациент далекой больнички, как следом же услышал прямо над своим ухом: «А будешь кочевряжиться, и не такое случится!» Все, конец! Этому мирному течению событий, этой лучезарной сказке не сбыться, не состояться, раз все еще над ухом раздаются мерзкие голоса! Опять, выходит, он, гад-Васька! «Но нет, после стольких мучений ни за что не поддамся, не надо ни камня, ни силы необыкновенной, ничего. Даже и документов не надо, гори все синим пламенем», — уже зло решил испытуемый.

И в то же мгновение Родий и другие пациенты почувствовали запах, который не спутаешь ни с чем: это был запах дыма. А значит, что-то горело, причем, совсем близко.

**Проклятье! Стыд! Болваны и каналы!
Мои все черти вверх ногами стали,
Летят мои уроды кувырком
И в ад кромешный шлепаются задом.
Купайтесь же в огне вы поделом, —
Я здесь стою, расставшись с этим стадом.**

Спокойно лежавшие пациенты в одно мгновение вскочили, схватили кто что мог и выбежали из палаты. Родий, естественно, последовал за ними. Горел коридор, но пламя еще не полностью заполонило пространство, еще были отдельные просветы, сквозь которые и просочились больные из мужской палаты. Поднялся, как водится, гвалт, снова, как и совсем недавно возникла паника, и люди бежали, причитая и выкрикивая одни только междометия. Было страшно. Но оказавшись на улице и поняв, что спасение возможно, граждане стали говорить хотя и много, и часто, но уже все же как-то иначе: они понимали, что находятся не в самой опасной зоне, а это ракрепощает язык, но позволяет чувствовать себя изолированно от опасности. Она, эта опасность, оказывается, только рядом, но человек сам не внутри нее, он освобожден от страшного, он, может, и плачет, и ругается, и взывает о помощи, но все же некая отстраненность такого состояния очевидна. Человек спасся, он вне огня, вне чего-то такого, что могло стать причиной неминуемой гибели. И тогда постепенно он начинает вдумываться и сострадать, и принимать меры. Таскать воду, совершать броски в здание, чтобы вызволить застрявших. Он действует, но уже не хаотично, но ведомый благородным чувством спасенного, убереженного человека. И он готов к помощи, он ищет себе применение и идет на многие жертвы, чтобы оказаться полезным и опять-таки благородным. Это чувство никто не отменял, оно зачастую оказывается такой важной движущей силой, что вопреки опасности и здравому смыслу человек готов на подвиг, сам почти не осознавая этой причастности к подвигу. Он просто идет, спасает, и это его примиряет

с самой опасностью. Он оказывается нужен, а это так важно!

Вот и Родий, несмотря на готовящийся побег и стремление как можно скорее покинуть это странное лечебное заведение, спустя минуту после выхода на свободу не побежал прочь, а ринулся снова в лабиринты больницы и стал кричать, чтобы граждане больные как можно скорее покидали палаты. Одного застрявшего он просто-таки ухватил за рукав и стал тащить его со страшной силой к выходу. А почему с силой, так это уже по части специфики больницы: гражданин никак не хотел покидать заведение и считал, что испытание, посланное Всевышним, только во благо и что его нужно достойно пережить. Он так и орал: «Отстаньте от меня, так надо, значит, так надо! Господь все видит! Оставьте меня умирать. Я должен, я должен искупить...!» Что он был должен искупить, оставалось неясным, и по одному этому Родий понял, что еще находится в своем уме, что память и здравый смысл не покинули его и что драпать, и правда, нужно. Он с трудом вытягал сопротивленца на улицу, ему помогли, уложили мужчину на лавку, благо, погода позволяла, и стал осматриваться, в какую сторону податься. С одного края были маленькие домики, поодаль стоящие, чуть правее виднелось просто поле, за которым скорее всего начинался лес. А вот со стороны, которая была как бы позади больнички, шла дорога. Ее было отчетливо видно, и это обстоятельство очень обрадовало путешественника. Он пригнулся, осмотрелся еще раз и... двинулся в путь.

Ему даже не пришлось ползти, останавливаться, укрываться за отдельными деревьями, так как все население больницы, включая вечерний медперсонал, было занято ликвидацией пожара и помощью людям.

«Неужели это снова происки... ну, этого, этого гада? Неужто никак не успокоится?» Но это предположение почему-то уже не сильно пугало Родия. Он даже забыл о своей недавней способности перелетать с места на

место. Он просто шел в надежде добраться до Москвы каким-нибудь образом.

По ходу движения, когда мозг работал в усиленном режиме, он размышлял о том, что пришлось испытать в последнее время. И нашел, что все события, все перипетии, случившиеся с ним не по его воле, имели все же какой-то странный обрывочный характер. Завершались, не успев продлиться, не имели сколько-нибудь законченного развития и продолжения. Так, сплошные обозначения, не больше. Наверное, таким пунктиром ему показывали, что только могло бы быть, имей он к этому охоту и большое стремление погрузиться в авантюру. Но почему-то такого страстного желания остаться наедине с усатым с фотографии или в объятиях его странной девушки с белыми крашеными волосами, или гнать поезд все дальше и дальше в неизвестном направлении задом наперед, или хвастать своим хвостом, который, к счастью, удалили (и он снова обернулся и даже потрогал свое место, к которому еще недавно был прикреплен этот атрибут чертовской силы), или — того хуже — властвовать над людьми, забирать деньги (может, и раздавать их), сводить их, граждан, нос к носу, то есть каким-то образом иметь превосходство, — нет, не надо, избавьте, не нужно и бессмысленно. Но даже своим не очень-то просвещенным умом Родий понимал, что просто так ничего не дается, все надо оттопать, заслужить. За все поплатиться. А даром? Да кому потом объяснишь, как это досталось, каким образом? И так ли радостна сама победа, когда вот так, ДАРОМ?

Родий шел уверенно, разговаривая сам с собой и пытаясь понять, что же все-таки послужило переломным моментом, когда он решил отказаться от всех соблазнов и посулов и Васьки, и сказочно чудесного камня? Что произошло, когда?

И он вдруг вспомнил, как там, в поезде, его скрутил молодой мужчина простоватого вида, но крепкий. Сильный, с каким-то жестким стержнем. И похоже, стержень этот был явно стальным. Ничего и никого не испугался, ни криков Родия, ни его явно воинственного

вида. Более того, он не сдрейфил перед очевидно материальными, вещественными, так сказать, проявлениями Родькиной силы: самого хода поезда и... хвоста! Ни-че-го!!! Схватил и скрутил. И был таков! Вот это мужик! Не остановило его даже то, что Родий в пылу своего чертовского угара перепутал времена и, матерясь, ерничая, велел молиться на него самого. Угрожал не только расправой, но чуть ли не концом света. А тому все одно: не страшно!

Значит, выходит что? Что один нормально мыслящий дядька, без особых образований и печати интеллекта обуздал такое бесовское создание, в которое так выразительно и убедительно рядился Родий? Выходит, что так. Печально было сознавать, что вся его чудесническая сила, псевдомогущество, данное так ненадолго, испарились в один момент, что простой парень из Подмосковья уразумел всю ситуацию и поставил все по местам. Такая простота решения и обескураживала, и придавала сил: значит, не все потеряно, значит, все поддается смыслу и деятельности ума? Что не одни бесовские наклонности и возможности какого-то Васьки способны сокрушать равновесие мира? И что мир этот стоял, да и будет себе стоять вопреки всему и вся. Значит, так. И ничего больше.

Так, раздумывая обо всем, что с ним приключилось, Родий подобрался к окраине города и там встретил рассвет. Никогда прежде, даже в детстве, он не знал, что есть такое ясное, такое умиротворяющее действие, такое волшебство, как встреча солнца и пробуждение дня. Как пятнадцатилетний мальчишка, Родий смотрел на солнце, которое настойчиво и упрямо все больше и больше заполняло собой зелень неба, и не мог понять: как это он мог в течение почти пятидесяти лет не знать, что существуют чудеса? И что они возникают не по воле какого-нибудь Васьки, а сами собой, по закону и велению природы, повинуюсь своему, давным-давно установленному порядку на земле и на небе. И именно от них все дышащее, трепещущее и только собирающееся жить, наливается силой, энергией и еще

чем-то таким, чему слова Родий подобрать не мог. По-нимал только, что добро — это вещь вполне осязаемая и ее можно потрогать: провести рукой по воздуху и вот она, в руке!

Каким-то непостижимым образом его пропустили в метро, не попросив проездного. То ли вид человека свидетельствовал о том, что ему очень, ну просто очень нужно и что платить нечем, то ли тетушка, непохожая на своих злых, как правило, коллег, сжалилась, увидев все тот же жалкий пиджачишко и небритого дядьку, который, однако, все же внушал доверие, — трудно сказать. Во всяком случае, он доехал до своей остановки, увидел, что народу на ней пока не так много, час пик не подоспел еще, и вышел.

А дома все было по-прежнему. Или почти по-прежнему.

Вещи Серафимы валялись где попало, впрочем, как обычно. Холодильник ломился от продуктов — тоже как всегда. Постель стояла не застланная — ничего нового. То есть дом отличал тот привычный беспорядок, к которому Родий давно привык, но который теперь показался ему ужасающим. Он, по дороге придумавший свой план, быстро собрал некоторые вещи, сложил их в синюю сумку, которая всегда выручала, если доводилось куда-то ехать, убедился, заглянув за шкаф, что, как и предполагал, чертежей и рукописей там нет, исчезли, и он даже понимал, кто к этому приложил свою бесовскую лапу, явно не супруга, затем, уже в последнюю минуту посмотрел на свой выдавший виды пиджак, подержал его на весу, а затем бережно повесил в прихожей на гвоздик. Не на общую вешалку, а именно на гвоздик, который сам и заколачивал когда-то. Затем он облачился в темно-коричневый костюм, в котором двадцать лет назад расписывался с Серафимой, нашел даже галстук, который тоже болтался на другом гвоздике, поправил полы пиджака, убедился, что смотрится этот пиджак значительно лучше прежнего, помедлил и все же взял ручку, валявшуюся на окне. «Сима, в моей смерти прошу никого не винить.

Спасибо за все!» Затем подумал и подписал: «Родий». Поставил дату, сложил листок вдвое, затем помедлил и расправил его снова, уплотнив его на столе сахарницей. Больше его ничего не задерживало в этом доме. Он еще раз огляделся, проверил зачем-то краны и вышел из квартиры.

Удвойте шаг! Спешите, господа!

Рогов прямых, рогов кривых немало

У нас! Вы, черти старого закала,

Пасть адову несите мне сюда!

Спускаясь не на лифте, а по лестнице, он приложил руку к грудному карману пиджака, убедился, что паспорт и деньги, которые он хранил отдельно от Симиных, были тоже на месте, и вскоре оказался на улице. Он шел уверенно, зная, чего хочет и куда держит путь. Привычным маршрутом доехал до института, в большом, просторном холле поприветствовал милиционера, несшего вахту, не ответил на его удивленное замечание по поводу своего долгого отсутствия, в гардеробной оставил сумку и направился напрямиком в кабинет к Вадиму Петровичу.

Тот был на месте и на стук приветливо отозвался: «Заходите, кто там?» Родий вошел, поздоровался и сел напротив ученого. Возникла пауза, которую нарушил хозяин кабинета.

— Давненько вас не видел, Родий Мамонтович. Где изволили пропадать?

— Так, дела, — уклончиво отвечал недавний путешественник. — У меня к вам вопрос.

— Говорите, где ваш вопрос? — улыбнулся хитрой своей улыбочкой знаток тайных знаний о человеке. — Что вас так беспокоит? Должен вам сказать, что этот костюм вам очень идет.

— Да, наверное, — отвечал Родий, готовясь к главному своему вопросу. — Мне необходимо знать... — Он помедлил, затем решительно продолжил. — Мне необ-

ходимо знать, у каждого ли есть душа, где помещается, что она такое? Зачем она?

— А говорили, всего один вопрос. Вон их сколько!

— Мне это нужно!

— Понял. Что вам сказать? Даже затрудняюсь... Так неожиданно. Но ладно, извольте, — добавил Вадим Петрович излюбленное свое словечко.

— А воды мне можно? — перебил ученого посетитель.

— Конечно, — даже обрадовался неожиданной паузе Вадим Петрович. — Пейте, пожалуйста. Знаете, про душу можно говорить не один день, тема бесконечная. Но я вам так скажу: все мы можем иметь похожий вес, рост, быть одного с кем-то цвета волос и т.д. и т.д. Но вот повторить душу — нет, это невозможно. Как линии руки, как просто индивидуальность человека, с его энергией, силой духа, заблуждениями, словом, всем тем нематериальным, что не вмещается в физические константы, не имеет их даже, но они, тем не менее, существуют. Они, извольте знать, дышат, живут, протестуют. С чем-то соглашаются! Все вместе олицетворяет душу, но и в то же время ею не является. Она — сама по себе, ее уловить почти невозможно. Вот, говорят все — душа, душа болит. Где болит-то? А человек знает, знает, что душа болит, хотя и показать, может, не готов местечко-то. Но она болит, радуется, испытывает боль, страдает, жаждет и еще много-много чего делает и желает.

Но самое главное — не стоит ее тревожить. Не стоит бередить душу. Слышали, может, такое выражение? Вот и вы... зачем вам все это? На уровне исследований, формул, то есть чистой науки вы к этому разговору не готовы, а что касается ее художественного воплощения, да и не только его одного — я вам, пожалуй, все сказал. И потом... — Вадим Петрович помолчал, поднялся, походил по кабинету, словно не решаясь приступить к чему-то такому, что было важным, значительным. — Не хотел об этом, но все же придется. Я кое-что знаю, в том смысле, что тоже могу пересту-

пать границы. Это знание стариков, наверное. Вы не простой гражданин, с биографией, можно сказать. В особенности, она стала приобретать какие-то новые черты, штрихи в последнее время. Вряд ли вы, Родий, вряд ли сумеете совсем отказаться от искушения влезать в чужую шкуру. За это приходится платить. Иной раз круто! Такие деньжищи! Но я не о них! — Вадим Петрович подступился ближе к посетителю иных времен и миров и опустил на стул. — Вы почему-то отвергли в жизни все то, к чему были призваны. Словно законсервировались. Отсюда — фантастические глупости, от которых ваша голова в последнее время просто закипает. Бросьте все это! Живите себе, думайте! А вы все больше по бесовскому ведомству... — Он не стал уточнять, по какому именно, а Родий и не стремился подсказать. — Что еще добавить?! Совет, если не возражаете, один, и он прост: делайте свое дело, и все сладится. Не стремитесь выйти за пределы. Они есть, эти пределы, не стоит на них покушаться. Это опасно. И тот разлад, что накрыл вас с головой, и который я наблюдаю в последнее время, уйдет, все разрешится. Вы и так теперь пережили много! Потерялись вы как-то, с лица вот даже спали. Словно через себя силитесь перепрыгнуть. А это нехорошо. Все знать вряд ли нужно. Древние греки, знаете, как говорили? «Что пользы в знании, если от него одно только горе?» Не всегда знание помогает, оно должно попасть на подготовленную почву. А тому, кто к этому не готов, приходится плохо. Брать надо столько, чтоб помещалось. Кстати, и в голове тоже. А что ж прихватывать то, что выпадает из рук?

Вадим Петрович замолчал, затем снова поднялся, прошелся по своему кабинету, постоял у окна и вернулся к столу. Уже оттуда, глядя сквозь стекло, заметил: «Душу лучше всего понимает любовь. Или наоборот. Все тогда улаживается».

Родий поднялся, одернул свой новый пиджак, потрогал за чем-то галстук и сказал: «Спасибо, Вадим Петрович. Я буду думать. А любовь — это правильно,

это хорошо. Только не все знают, да и я тоже, что это». На этом он попрощался и вышел из кабинета.

Не спускаясь в свой подвал, ни к кому больше не заходя, Родий, забрал свою синюю сумку и покинул здание института. Он шел привычной дорогой, но вела она на этот раз не в сторону его дома. Спустился в метро, перешел на другую сторону платформы и стал ждать поезда, который шел опять-таки совсем не в сторону его дома.

Когда через несколько остановок он вышел и направился к вокзалу, то успел заметить сразу две вещи. Что прямо на него двигалась, не останавливаясь и не меняя скорости старенькая зеленая «Волга», и он почему-то не делал никаких усилий, чтобы противостоять этому ходу приближающейся машины. А второе, что бросилось в глаза — это светловолосая женщина, переходившая дорогу в неположенном месте и направлявшаяся напрямик к нему. В этой походке, развевающихся, как тридцать лет назад волосах, в улыбке, а главное в том, как крикнула эта женщина «Родий!», было столько того старого, давно прошедшего, что он хотел было ответить и даже двинулся ей навстречу, но что-то резкое и шершавое резко взвизгнуло совсем рядом, пытаясь остановиться, избежать такого страшного, что могло означать лишь одно — последнее обстоятельство жизни человека, и все же гражданин в темно-коричневом, почти новом костюме успел подумать: «Есть, вот она, пришла, эта самая любовь. Ри-точ-ка-а-а!» — рвалось из его груди, или ему так казалось, что он кричит на всю огромную площадь. «Рита, любовь моя!» — все кричал и кричал падающий мужчина, к которому бежали люди, и бежала та, к которой он так и не успел доехать, о которой не успел додумать, та женщина, которая могла бы стать балериной.

11 сентября 2009 года – 11 марта 2010 года

СОДЕРЖАНИЕ

ФАНТАЗИЯ ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ. <i>Эссе</i>	3
Игра как короткий путь к фантазии	5
Оркестр моей памяти	7
Образ мира в игре	14
Фантазия и мечта	17
Скрипка. Детство.	18
Фантазии на тему комедии и комического	27
Фантазия как сон, или Фантазия и сновидение	31
Что «вытесняет» фантазия?	35
Детское дерево мечты	37
Актер: где я и где он?	42
Скрипичное соло: игра воображения	51
По ту сторону	61
Игра в пространстве представления	65
Вымышленное и реальное	69
Представьте себе	73
Как пишут писатели свои произведения	83
Дон Кихот: миф или реальность	90
Есть ли что реальнее самой смерти? А может, она лишь наша фантазия?	97
Всегда ли жизнь противостоит смерти?	106
Мистика: фантазии против действительности	114
РАССКАЗЫ	
Совершенно грустный рассказ	123
Тюрьма	129
Исключительность	135
Лекарство от хворей	142
Официант	147
Соло старой скрипки	154
Все плохо	159
Трагическое мироощущение	163
Две точки опоры	170
Мужское достоинство	177
Пахло сиренью	183
Когда закрылся занавес	190
Жили-были старик со старухой	196
Душа	202
ФАНТАСМАГОРИЯ. <i>Повесть</i>	209

Оригинал-макет *О. Комиссарова*

Сдано в набор 30.08.10. Подписано в печать 06.09.10.

Формат 84x108/32. Гарнитура «Баскервиль».

Тираж 500 экз. Заказ

Печать офсетная. Усл. печ. л. 42.

Научно-издательский центр «Академика»

127254, Москва, ул. Гончарова, 15

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии ФКП «НИИ «Геодезия»

141292 Моск. обл., г. Красноармейск
проспект Испытателей, д. 14